

П. И. КРАСНОВ

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРДА
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ

ВСЕСЛАВЯНСКОЕ
ИЗДАТЕЛЬСТВО

ТОМ 2

П. Н. КРАСНОВ

**От Двуглавого Орла
к красному знамени**

РОМАН В ЧЕТЫРЕХ ТОМАХ

ТОМ II

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ

Всеславянское Издательство

1969

**FROM THE
TWO-HEADED EAGLE
TO THE RED FLAG
1894 - 1921**

**BY
P. N. KRASSNOFF**

In Four Volumes

Vol. II

PARTS THREE AND FOUR

Published by All-Slavic Publishing House, Inc.

New York

1969

ОТ ДВУГЛАВОГО ОРЛА
К КРАСНОМУ ЗНАМЕНИ
1894—1921

Все книги издания Всеславянского Издательства
выходят при благосклонном участии и поддержке
князя С. С. Белосельского-Белозерского

ТОМ II

ТРЕТЬЯ И ЧЕТВЕРТАЯ ЧАСТИ

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

I.

Любовин ехал с правильным пассажирским билетом до самого Вержболова, с заграничным паспортом, мало того, — Коржиков достал ему и передал на вокзале удостоверение от сталелитейного завода в том, что он мастер и командирован в Берлин для выбора каких-то особенных стальных сверл, но чувствовал себя так скверно, как никогда не чувствовал, когда ездил без билета -- „зайцем”. Всякий раз, как отворялась в вагоне дверь и входил контроль, он вздрагивал и бледнел, но кондуктора не обращали на него внимания. С соседями Любовин не разговаривал, заявивши, что у него нестерпимо болят зубы. На станциях Любовин не выходил и более суток ничего не ел.

Он сидел, забившись в углу отделения, закрывшись с головою пальто, повешенным на крючек, и старался заснуть. Но сон не приходил к нему. Мерещился убитый Саблин, растрепанная, небрежно одетая Маруся. Совесть мучила его. „Да, хорошо ли я сделал”, — думал он, — „вот и Федор Федорович как будто не одобрил совсем. Поступил я по-господски, а не по-пролетарски. Ну что в самом деле — побаловалась девчонка. Вон как Коржиков на это высоко смотрит. „Женюсь”, — говорит. Сидит, значит, во мне буржуазная мораль, крепко сидит. А откуда она? Как будто и неоткуда ей взяться? Отец... Отец действительно в господу лез, хотел,

чтобы как у бар было, вот и вдолбил. Что Маруся теперь будет делать? Догадалась ли выскочить и убежать с квартиры? Да, всё одно. Найдут... Обличат, по следствиям, да судам тягать будут. Господи, сраму-то, сраму-то сколько. Не оберешься скандалу. Отцу-то каково будет?"

Любовин откидывал пальто с головы и широко раскрытыми глазами смотрел кругом. Поезд стоял на станции. По всему вагону шел густой переливистый храп. Тускло горели свечи в фонарях, наполовину занавешенных серыми занавесками. Сосед старался во сне устроиться поудобнее, и ногами в высоких сапогах всё толкал прижавшегося в углу у окна Любовина. Верхние полки были подняты и против Любовина на разостланном пледе лежала молодая девушка. Она крепко спала, дыхания ее не было заметно и только во сне под пристальным взглядом Любовина хмурились тонкие, темные брови.

„И чего стоит так долго“, — думал Любовин. „Господи! ну и чего стоит! И шел бы да шел бы. А может быть задержали нарочно? Ищут. По телеграмме. У них ведь сыск. Они всё знают“.

Опять воображение рисовало ему жуткие сцены ареста. „Арестуют, так беспременно по шее вдарят, это уже всегда так“.

Он поджимал шею, точно ощущая удар тяжелого кулака.

Дверь открылась, Любовин вздрогнул, съежился и быстро закрылся полами пальто. Он подглядывал в щелку, кто вошел, не за ним ли, обдумывал что будет говорить. „Вызовут Любовина“, — думал он, — „ну, а какой же я Любовин? Я Станислав Лещинский, слесарь, да... по поручению завода еду в город Берлин, что же особенного?“ Ему казалось, что сейчас кто-то крикнет — „есть здесь Любовин?“ — и боялся, что ответит невольно: — „я Любовин“. Было страшно. Сосед потянулся, уперся в него ногами, зевнул протяжно, заметил съежившегося Любовина и сказал: — „извиняюсь“.

Вошел истопник в шубе, запорошенной снегом и с цинковым большим чайником в руках. Сосед Любовина посмотрел на него мутными глазами и спросил:

— Чего так долго стоим?

— Букса в багажном загорелась, так заменяли. Сейчас тронем.

— А не опоздаем?

— Должно нагоним.

„Как он может так спокойно говорить”, — подумал Любовин, — „и не боится ничего. Я бы слова теперь не вымолвил. До ужаса страшно. Федор Федорович всю дорогу, как по Обводному шли, твердил: — надо переродиться, надо переродиться — вы теперь Лещинский, Станислав Казимирович Лещинский, нет у вас другого имени, поняли?” У завода Келлера остановился, показал на маленький двухэтажный домик розовой краской покрашенный, Любовин хорошо его запомнил, внизу трактир был, и извозчики чай пили и их лошади с санями стояли у дверей. — „Вот вы здесь во втором этаже живете, запомните номер”... Любовин номер забыл, а дом помнил. „Да, хорошо так говорить. А ну как обыскивать станут. А у него письмо рекомендательное к Варнакову и там все прописано, что и как, и бумажки, как дальше в Швейцарию пробираться... Вот и докажи!...”

Прозвонили два раза, потом три, заскрипели примерзшие колеса и Любовин вздохнул спокойнее. На ходу не было так страшно.

Уже совсем ободняло, когда он заснул. Проснулся: — подходили к Вержболову. Пассажиров стало меньше. Многие слезли за станцию.

„Видно”, — подумал Любовин, — „границу избегают. Переходить будут тайно. Эх и мне бы так”...

Но было поздно. Показались станционные постройки, жандармы, таможенные служителя, стали отбирать паспорта.

В большом холодном светлом сарае, разгороженном по длине невысокою стойкою с железными полосами, шел таможенный досмотр. Гроыхали сундуками, сбрасываемыми на прилавок, звенели ключи и замки. Какая-то дама истерично смеялась и чиновник с зелеными кантами на черном пальто любезно говорил ей:

— Не иначе, сударыня, как вам раздеться придется. Да

вы не смущайтесь, там у нас всё дамы и комната особенная...

Любовин, у которого не было никаких вещей, жался в углу. Каждые две, три минуты из двери, ведущей в паспортное отделение, выходил рослый жандарм и зычным голосом выкликал тех, у кого были осмотрены паспорта.

— Генерал Старцев!

Маленький седенький человек в штатском поднялся со скамьи возле Любовина и жандарм сейчас же подбежал к нему и подал ему паспорт.

— Пожалуйста, ваше превосходительство. Вещи ваши рассмотрены? Это они? Не извольте беспокоиться, за вами снедут.

Зал пустел. Любовина-Лещинского всё не вызывали. И опять тоска тянула Любовина, обмякали ноги, руки бессильно опускались, жутко становилось на сердце. „Определили, догадались, что паспорт фальшивый. Подвел Коржииков, что-нибудь не так сделал. Печать не на месте”.

— Лещинский! — вызывал жандарм второй раз.

— Станислав Лещинский!

Любовин очнулся... вздрогнул и быстро подошел к жандарму. Он чуть не упал со страха. Ему показалось, что перед ним стоит Иван Карпович. Такая же могучая массивная фигура, красное лицо с рыжими усами и круглые строгие глаза были у жандармского вахмистра. Кулак, в котором он держал паспорта, был такой же красный, волосатый и так напомнил Любовину кулак Ивана Карповича и показалось ему, что он слышит страшные зловещие слова — „я под тобою, Любовин, насквозь землю на семь кукишей вижу!”...

— Что не отзываетесь, других пассажиров задерживаете, — строго, но вежливо, сказал вахмистр. — Станислав Лещинский, Ковенской губернии?

— Так, проше пана, пролепетал Любовин.

— Слесарь?

— Так, проше пана.

— Извольте ваш паспорт. Можете ехать.

— Дзенкуем, пане.

Любовин умиленно посмотрел на вахмистра. Он был преисполнен к нему такой благодарности, что готов был по-

целовать его красную жирную волосатую руку. Вахмистр не смотрел на него.

— Госпожа Твердохлебова! — вызывал он, — и та самая барышня, которая спала на верхней полочке против Любовина, быстро подошла к вахмистру.

— Господин Кепстен, Рафалович, — бубнил вахмистр.

Любовин пошел в вагон.

„Скорее, скорее“, — думал он, — „только тронуться бы скорее, скорее за границу“.

II.

Заграницей Любовин почувствовал себя Станиславом Лещинским. В гимназии он учил французский и немецкий языки, делал переводы с немецкого на Русский и с Русского на немецкий, твердил стихи и теперь он старался вспомнить, как по-немецки колбаса. Пиво — он вспомнил — Bier — хлеб — тоже знал — Brot, но колбасу вспомнить не мог. Не мог вспомнить и „сколько стоит“, или „дайте мне“. В голову лезли все неподобающие отрывки из Musterstucke Массона — “Die Pantoffeln des Abu-Kasem”, вспомнил заученные когда-то фразы: „wo sind Alexanders und Peters Bucher? — Sie sind in dem Schranke, aber der Hund meiner alten Tante bellt im Hause“. Всё было не то. „Эх, если бы Маруся была со мною, она умеет по-всякому. И по-французскому, и по-немецкому, и по-английскому, а я... “Unweit, mittels. kraft und wahrend”*) — вспоминал он и даже не знал, что это обозначает.

На станции, однако, купил всего, чего хотел, и напился кофе, первый раз после Петербурга. Чувствовал себя хорошо и свободно. Называл всех — „камрад“ и казался счастливым, глупо улыбался, дивился относительному теплу, достал зашитые в пальто бумаги, данные Коржиковым и разобрал их.

В каждом городе, где была пересадка, Любовин по данному адресу находил товарища, члена партии и тот прово-

*) „Туфли Абу Казема“... „Где книги Александра? Они в шкафу, а собака моей старой тетки лает в доме“... „Недалеко, посредством, вследствие“.

жал его дальше, давая записку и адрес следующему. Любо-вин невольно обратил внимание, что все товарищи были евреи. Они были предупредительно вежливы, ласковы, старались всеми силами помочь ему, рассказать, указать, как ехать. Австрийский товарищ проводил его до швейцарской границы и посадил на поезд, шедший в Берн. Он долго и обстоятельно рассказывал и записал на какой станции надо слезать, нарисовал, как идти.

— Там, товарищ, дорога-то путаная. Горы. Да везде написано. Или спросите у кого.

— А по-каковски спрашивать надо?

— По-немецки. Это немецкая Швейцария.

— Чорт его знает, как и спросить-то, — раздумчиво сказал Любо-вин.

— А пойте, я напишу. Вы бумажку покажите, вам и укажут.

— Ну ладно, доберусь как-нибудь.

На конечной станции, в Рейхенбахе, Любо-вин слез и долго не мог понять, где он, в какой волшебной стране, каким упоительным воздухом дышет. По пути мало смотрел в окна. Гор, кроме Дудергофа и Киргофа, отродясь не видал и теперь, сойдя со станции стоял и оглядывался направо и налево, упоенный красотой зимнего вида.

Сразу поднимались за станцией горы. Серебряный лес с елями, густо покрытыми снегом, убегал по глубокой долине, разветвлялся надвое и отдельными, сверкающими на солнце островами поднимался по скату к синему прозрачному небу. Дышать было легко, воздух был тих и прозрачен, дали четки, никакая дымка их не заволакивала. Было холодно, пар шел изо рта, а казалось тепло. Любо-вин обернулся кругом и застыл в восторге. Киентальская долина расстилалась перед ним, сверкало голубое во льду озеро и странно было видеть, что по нему бегали на коньках и отражались, как в воде люди. Дальше чернели, а потом белели горы, уходившие под самое небо. Любо-вину сначала показалось, что вдали нависли тяжелые тучи. Но по тучам лепились белые домики, колокольня кирпичи, красная, острой пирамидой четко рисовалась на снегу. „Снеговые горы! Снеговые горы!“ —

сказал очарованный Любовин. — „Что Дудергоф или Кирхгоф! да разве то горы! Их сюда поставить и не заметишь — такие маленькие!“ Снег кругом был белый, чистый, повсюду тянулись узкие полоски от лыж, или от маленьких санок. Синие тени шли от деревьев, утреннее солнце радостно и ярко светило.

Здесь забывалась драма в казарме, чувствовалась свобода. Радостно лаяла где-то собака и далеко звенели бубенцы, кто-то ехал на санях. „Как у нас на масляной“, — подумал Любовин и бодро зашагал по широкой улице.

Всему он дивился. Ему сказали, что это деревня. Каменные двух и трехэтажные дома, красивой архитектуры, тянулись вдоль улицы. Громадные дубы в серебряном инее протягивали ветви и образовывали белый, точно кружевной свод. Тихо падал с них иней и лежал тонкими сверкающими трубочками на панели.

Низкая, пузатая, квадратная колокольня кирпичи с часами на все четыре стороны, с сквозной на столбах галлереей, над которой колпаком поднимался тонкий шестигранный шпиль с крестом выдавалась на улицу. От колокольни Любовин, как ему объяснил товарищ в Австрии, свернул налево и пошел по узкой серебрищейся дороге в гору. Он по железному, тонкому висячему мосту перешел через пропасть, заросшую лесом, и высокие ели были вровень с его лицом и чуть поднимали остроконечные вершины над мостом. На каждой иголке мороз одел тоненький ледяной футлярчик, прибил снежными звездочками и всё это сверкало под голубым небом, точно радуясь своему ослепительному убору. Мост чуть подрагивал под его ногами и серебряная пыль сыпалась вниз на деревья.

Шоссе круто свернуло вправо, прошло вдоль оврага, стало раздваиваться, тропиться, на скатах горы тут и там появились домики под снегом, где два, где три, где десяток, дорога, то шла по открытому, то входила в лес, елки обступали ее и пахло нежным ароматом зимней хвои, мороза и чистого нетронутого снега.

Любовин чувствовал, что сбился с дороги. Дети со смехом катились навстречу ему на санках по скату, размахивали

шапками, попалась крестьянка с коровой, Любовин остановил ее и спрашивал, где Зоммервальд, она качала сочувственно головою и ничего не понимала. Навстречу шли какой-то чернобородый человек хмурого вида и с ним девушка с льяными коротко остриженными волосами, худая, стройная, миловидная. Любовин решил что не стоит их и спрашивать: всё равно не поймут его.

Молодые елки густою порослью лепились по скату и было в них что-то чистое и задорно юное. Любовин первый раз почувствовал, как прекрасна природа.

Из зеленой чащи раздался громкий окрик по-русски.

— Смотрите, товарищи, козы.

— Да, ты ж их напугал, — крикнул чернобородый.

Любовин подошел к нему и, приподнимая шляпу, сказал:

— Товарищ, вы будете не из Зоммервальда?

— Из него самого, — басисто ответил чернобородый и подозрительно осмотрел Любовина с головы до ног.

— Может быть вы в нем знаете товарища Варнакова?

— А вам к чему это знать? — сказал чернобородый и весь насторожился.

Девушка отошла на шаг от Любовина и подозрительно смотрела на него. Чернобородый был невысок ростом, широкоплеч, могучего сложения, имел конопатое в оспинах лицо, большой широкий нос и черные усы, прикрывавшие ярко красные губы. На нем была теплая ватная куртка, вязаная шерстяная шапочка колпаком сидела на голове, придавая смешное выражение его бородатому лицу. Ноги в коротких штанах, на которые были натянуты длинные серые вязаные штилеты, были толстые и кривые. Весь он был неладно скроен, да крепко шит.

— Я имею к нему письмо от товарища Федора Коржикова. — Я Любовин, по паспорту Станислав Лещинский.

— Эх вы как, товарищ. Первому встречному и так откровенно. Разве можно так?... Любовин смутился.

— Неосторожно, товарищ, — сказала девушка. Ее голос звучал глухо и бледно и соответствовал ее бледному худому, красивому лицу.

— Надо было раньше обнюхаться, да узнать кто мы такие... Положим, вы можете быть спокойны. Эта дыра выбрана замечательно удачно. Тут никого такого нет. Итак, товарищ, я Василий Варнаков, — сказал протягивая руку чернобородый.

— Товарищ Лена Долгополова, — сказала девица.

Кричавший из кустов тоже вылез и подошел. Это был долговязый парень с бледным большим лицом без усов и без бороды, он был в таком же костюме, как и Варнаков

— Это что за индивидум? — спросил он.

— От товарища Федора из Петербурга, — сказала Лена.

— А... А я, Бедламов, прошу любить и жаловать.

— Ну что же, пойдете, товарищ, обсудим в чем дело, — сказал Варнаков и пошел с Любовиным впереди.

Бедламов шел сзади с Леной.

III.

Любовин кончил рассказ. В низкой квадратной комнате наступила долгая тишина.

Курили, молчали. На простом столе стояли стаканы с бледным, давно остывшем чаем и лежали куски сероватого хлеба. В широкое, составленное из трех окон окно, лились желтые лучи заходящего солнца и панорама гор сверкала вдали, ежесекундно меняя окраску.

— Выходит, товарищ, — наконец, сказал Варнаков, — что вы вовсе и не политический?

Любовин ничего не ответил.

— Вы убили, — продолжал Варнаков, попыхивая папирсой, — из мести, за поруганную сестру. Вы своим убийством помешали, быть может, большой и полезной работе, которую она вела, жертвуя собою. Мне интересно было бы все-таки ближе познакомиться с вами, узнать ваши политические убеждения. Также конченные люди иногда могут быть нам полезны. Товарищ Федор просит за вас. Располагайтесь здесь, как-нибудь вас устроим. Вы что умеете делать?

Любовин не понял вопроса.

— То есть, в каком смысле? — спросил он.

— Ну, брошюру составить сумеете, экстракт из книги, или лекций?

— Не пробовал, думаю, что не выйдет.

— Да вы чем последнее время были?

— Эскадронным писарем.

— Почерк хороший имеете?

— Ничего себе. Вот я мог бы набирать, — косясь на печатный станок, стоявший в углу сказал Любовин, — или при машине быть, я одно время, при отце слесарил.

— Ну и ладно. Там посмотрим.

Любовин остался жить в той же комнате.

Прошло три недели. Наступала швейцарская весна, летала шумными вихрями, ела снег теплыми быстролетными дождями, шумела белопенными шумными водопадами, неслась по долинам ручьями и реками и отовсюду выпирала белыми и лиловыми подснежниками, робкими с желтой коронкой, низкими примaveraми, рассыпалась по болотам белыми, похожими на опущенные вниз тюльпаны колокольчиками и высматривала лиловыми душистыми фиалками.

Любовин с Бедламовым сидели у открытого окна. В окно вливалось пение жаворонков в полях, чирикание синиц и песня зябликов, где-то в лесу звонко переключались дрозды и горное эхо вторило им. Внизу бурно шумела весна, проносясь потоками и смывая с улиц остатки рыхлого ноздреватого снега. Любовин всем телом чувствовал весну и ее томление и тосковал по далекой Родине.

— Скучаете, товарищ? — сказал Бедламов. Теплая нотка искреннего участия слышалась в его голосе.

— Да, — сказал Любовин.

Всегда ровный, задумчивый Бедламов ему нравился. В нем он видел ту самую тоску, искание чего-то особенного, которая грызла и его.

— Тяжело мне здесь.

— Говорите, товарищ, легче будет. А я имею поручение переговорить с вами о деле. Вот и побеседуем.

— Тошно мне... Вы понимаете, — Красиво тут, весна, птицы, дух какой, а не по-нашему. Пост теперь. Маруся, поди, с кухаркой жаворонков бы напекла, оладий к воскре-

сенью и пришел бы я. Так это чисто, тепло, хорошо у нас было. Отец сидит возле самовара, на блюде стеклянном малиновое варенье стоит, сахар кусковой в синем граненом бокалке. Еще отец любил, чтобы у иконы лампадка теплилась. Маруся всегда зажигала...

— Вы верующий?

— Нет, — коротко сказал Любовин и замолчал.

— Ну, а на службе? — тихо, сказал Бедламов. — Разве было вам хорошо?

— И на службе ничего. Сначала, действительно, тяжело было. Рано вставать, на уборку ходить, тянуться. А тоже были и славные ребята. Вечером, соберемся на спевку и так это трогательно выходило, товарищ. Был у нас солдатик Рыбин, без малаго сажень росту, басом пел, неграмотный, дубина, ну мужик совсем, ничего не понимал, а станет в хоре октаву держать, следит за мной, за моими руками и в тон всегда подает — ну, прямо, инструмент.

— Тоскуете по полку?

— Этого нет... А иногда... Вот еще месяц пройдет, на Петровском острове, или в Екатерингофе гулянья пойдут, девушек тьма, чувствуешь, что мундир пользу дает.

— Ну, слушайте, — сказал Бедламов. Помолчал немного, раскурил папиросу и тихо шопотом начал: — Вот в чём дело. Третьего дня в исполнительном комитете решено вас все-таки в партию писать. Наша партия, кажется, скоро расколется: на меньшевиков и большевиков. Мы решили примкнуть к большевикам. У них, товарищ, дело и всё ясно. Ваши взгляды, пожалуй, скорее к меньшевикам подошли бы, очень уже вы буржуазны, но втянуло вас, самую жизнь к нам и после доклада о вас товарища Варнакова и письма товарища Федора, который поручился за вас, мне поручено с вами позаняться. Наша партия очень могущественна. Догмы ее вы узнаете от нашего вождя, я сведу вас на митинг, но вы должны знать сущность нашей организации. Мы задались целью перестроить весь мир на новых началах. Мы не Россией заняты, Россия это подробность и нам нужны люди повсюду. Кто попал в партию, кто проник в ее тайны, тому возврата нет. Он слепое орудие. Вожди, которым всё открыто, те многое мо-

гут дерзать. Говорят, что наш в связи с охранным отделением, что он выдает, что нужно, царской полиции. Может быть. Но мы ему верим. Наши враги — меньшевики и для него все средства хороши. Это борьба, товарищ Виктор, борьба более жестокая нежели война... У нас есть люди... Да, если им прикажут уничтожить кого — он должен не колеблясь уничтожить... ну, а если поколеблется исчезнет сам... Вы побледнели, товарищ. Не бойтесь, — этой роли вам не дадут. Мы-то вас поняли. Говорю к тому, что, если проболтаетесь, или, сохрани Боже, снюхаетесь с кем не надо — конец: пощады не будет. Мы посмотрим вашу работу и увидим к чему вы способны. Но с сегодняшнего дня, помните одну, — вы до гробовой доски нам преданы. Та преданность государю, которой вас учили офицера, ничто по сравнению с тем, чего требуем мы. Поняли?

У Любовина темнело в глазах. Дыхание его стало прерывистым.

— Вам, повторяю, — сказал Бедламов — ничего такого не поручат. Для этого у нас, или люди стальной воли, девушки, уверовавшие в наше учение, как Лена, или потерянные, которым всё равно кончать с собою, неврастеники, сифилитики, безумные с навязчивыми идеями — мы их используем. Этого быдла у нас не мало. Но, помните, с сегодняшнего дня у вас ничего своего. Я не говорю о собственности матерьяльной, — это подробность. Но ни своих мыслей, ни своих убеждений, ни своей воли, ни своей веры: — всё партийное. Как, — этому мы постепенно вас научим.

С этого дня Любовину дали работу. Он запечатывал листки, надписывал адреса на конвертах, носил на почту, иногда разносил, или развозил на велосипеде по окрестным деревням. Он скоро заметил, что никто из партии не живет под своим именем. Он нес пакет человеку с русским именем и отчеством, с русской фамилией, а его встречал типичный еврей и отзывался на условный пароль и расписывался русским именем. Чем выше было положение лица, чем роскошнее жило оно, тем вернее находил Любовин еврея и это заставляло его задумываться, но он чувствовал слезку за собою и скоро стал бояться самых мыслей своих.

Его жизнь была тяжелой, мрачной, он совсем бы погиб, если бы ему не помогла товарищ Лена, и не приехал Коржиков с маленьким сыном Маруси — Виктором.

IV.

Лето стояло жаркое с далекими нарядными горными грозами, с прохладными тихими вечерами и сладким ароматом трав и цветов. Горы сверкали, переливаясь перламутром, на зеленых плоскогорьях паслись коровы и смотрели на Любовина большими добрыми углубленными в себя глазами. По утрам все четверо купались в озере, без костюмов, Любовин поодаль, Бедламов и Варнаков вместе с Леной.

Однажды вечером, когда тоскующий Любовин шел мимо громадной ели, одиноко стоявшей на поле и раскинувшей далеко свои ветви, его окликнули из под нее. Под ветвями у ствола были прислонены два велосипеда и Лена сидела с какою-то рыхлой, курносой, краснощекой девушкой с плутовскими серыми глазами.

— Пожалуйте, товарищ Виктор, — окликнула Лена, — я познакомлю вас с товарищем Эльзой.

Эльза, балтийская немка, простодушная, простая оказалась сестрою казненного в России коммуниста.

— Вот, товарищ, моя подруга, Эльза. Славная, одинокая тоскующая, как и вы, девушка. Сумейте утешить ее, — сказала Лена, добрыми глазами глядя на Любовина.

Лена встала, взяла велосипад и покатила из-под елки на дорогу. Любовин молча следил за ее стройной тонкой фигурой, грациозно уносившейся по пологому скату шоссе. Эльза любпытными глазами разглядывала Любовина.

В тот же вечер, под елкой, Любовин брэнчал на гитаре и пел романсы и песни и в ту же ночь ушел в маленькую комнатку Эльзы на третьем этаже под крышей, где было жарко и душно, но чисто, опрятно и по-немецки слащаво убрано. От Эльзы он не вернулся домой, зашел за своими вещами и остался у нее.

Эльза дала ему ленивое, мещанское счастье, склонность к которому была у Любовина. Она поила его кофеем, кормила простым, но хорошим обедом, помогала ему надписывать

конверты, развозила их, а по вечерам часами слушала, как он пел, глядела своими большими бледно-голубыми глазами ему в рот и улыбалась безмятежно тихо. Она полнела и пухла, ее голос становился грудным и бархатистым, волосы редели и она прибегала к различным накладкам и руло, на которые взбивала их спереди, но привлекательности для Любовина не теряла.

Товарищи смеялись над ним. Его называли „товарищ буржуй“, а Эльзу называли его женою, „товарищем Любовиной“.

В этой тихой животной жизни иногда острым лучем прорежет мрак сонного существования болезненное воспоминание о Марусе, — Любовин уже знал, что она умерла, — о их домике на Шлиссельбургском проспекте, проданном Коржиковым, о Петербурге, о белых ночах и холодной Неве и до боли потянет на север. Почудятся перезвоны колоколов Исакия в воскресный день, цоканье копыт по мостовой и звонки конок. С ненавистью посмотрит Любовин на прекрасные горы, сверкающие на солнце ледниками, на голубое озеро, точно кусок неба, сорвавшийся с вершин и низринувшийся в бездны на зеленые долины, и стиснет зубы. Но придет Эльза, станет звать своих кур: — у них был свой домик и свое хозяйство, купленное на деньги привезенные Коржиковым после ликвидации Петербургского дома его отца, и Любовин успокоится. Всё равно — иначе нельзя: он дезертир, оскорбивший офицера. Ему возврата нет.

Напротив через улицу жил Коржиков с сыном Виктором. В открытое окно видно было лицо хорошенького мальчика и слышались склады, повторяемые маленьким Виктором. Виктору едва минуло четыре года, когда Коржиков засел с ним за грамоту. Эльза учила мальчика по-немецки.

Было маленькое счастье... Грело солнце, зеленели луга, Эльза мурлыкала песни, по вечерам играли на цитре и гитаре, Любовин пел и уносилось время. Зима сменяла пеструю золотисто-красную осень, а за белой зимой, с бегом на коньках и на лыжах, с играми в снежки, приходила звенящая ручьями и ревушая водопадами весна. Странно было Любовину, что эти перемены, не скрашивались, не обозна-

чались праздниками православной церкви, в Рождество не горела елка, как бывало у них дома, когда они были детьми, или в эскадроне, великим постом не говели и не приобщались, а на страстной не красили яйца и не стояли со свечами на длинных двенадцати евангелиях, переминаясь с ноги на ногу и чуть позванивая шпорами, на Пасху не христосовались. Но привык и к этому. Было немного скучно, бездельной и серой казалась жизнь, отвратительными редкие волосы Эльзы и ее руло из проволоки, обтянутой рыжеватым плюшем, но вспоминал, что он дезертир и большевик, и успокаивался.

В 1905 году на работу в России уехали Бедламов, Варнаков и товарищ Лена и вскоре стало слышно, что Бедламова повесили, а Варнакова и Лену сослали в Якутскую область.

Потом Коржиков с Виктором уехали в Неаполь, где они поступили в школу коммунистов.

События из России доносились глухо, но что-то готовилось и за границей. Участилась гоньба Любовина с пакетами, весь округ кишел русскими и евреями. Вернувшийся Коржиков имел таинственный, замкнутый вид, точно знал что-то и не хотел говорить, Виктор, ставший красавцем юношей, обнаглел, не давал проходу ни одной девушке в селении и среди эмиграции.

Жизнь шла.

V.

Любовин принес Коржикову пакет от центрального комитета. Ни Федора Федоровича, ни Виктора не было дома. Пакет был „в собственные руки” и Любовин решил подождать.

Было лето. За окном толкались в воздухе мухи и ровно и скучно жужжали, со двора густо пахло коровьим навозом, в поле звонко перекликались швейцарки. Любовин сидел за столом у окна и машинально перебирал тетрадки в синей обложке с записками Виктора.

На одной он прочел слова: „важно, глубоко и верно. Руководствоваться в жизни”.

„Чем может руководствоваться в жизни этот шалопаи мальчишка, сын корнета Саблина и моей сестры Маруси”, — подумал Любовин. „У него, кажется, есть только одно руководство: — „я хочу” -- и ничего другого он не признает”.

Он одел на нос очки. С годами он стал дальновзорок и без очков не мог читать.

...,Люди — животные, — читал он в тетради, — имеющие вид человека для лучшего служения и большей славы Израиля, ибо не подобает сыну цареву, чтобы ему служили животные во образе животных, но животные во образе человека”. **Мидраш Тальпиот.**

...,Возвысья и стань, как Израиль. По заслугам воздастся тому, кто в силах освободиться от врагов еврейства. Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от них и сокрушить их”... **Зогар.**

...,Победить мир? Воюй с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, все земные народы не станут рабами твоими”... **Зогар.**

...,Лучшего из гоев умертви, лучшей из змей раздоби мозг”... **Мехильта.**

...,Справедливейшего из безбожников лиши жизни”... **Софорим.**

...,Пролетарии всех стран соединяйтесь”.

...,В борьбе обретишь ты право свое”.

...,И если вошь кричит в твоей рубашке, возьми и убей!.. Убей!.. Убей!..” — **Ропшин (Борис Савинков).**

Любовин снял очки, отодвинул от себя тетрадь и глубоко задумался. Пот прошибал его, внутри его что-то тянуло и холодная тоска вползала в самое сердце.

„Вот оно что!” — подумал он, — „вот, почему наверху все евреи. И Троцкий, недавно уехавший по какому-то делу в Америку и бывший вместе с Виктором в Неаполе, и Зиновьев, и Радек и все, все вожди — евреи. Один Ленин, как будто не еврей... Как будто! Но ведь Федор Федорович и Виктор не евреи, однако, как чтит Виктор эту еврейскую мудрость Талмуда и Каббалы! Какое странное сходство между

изречениями древнего еврейства и теми лозунгами, под которыми идет наша партия”.

Любовин закрыл ладонями лицо и крепко прижал глаза пальцами. Огненные искры, фиолетовые и красные линии побежали перед глазами и ему стало казаться, что кто-то сильный, могущественный схватил его и тянет в черную длинную яму, подобную сточной трубе, и не вырваться ему оттуда.

Шум отворяемой двери и стук шагов заставили его очнуться. Коржиков поднимался по лестнице. Он был как будто чем-то озабочен.

— А, Виктор Михайлович, — сказал он. — С пакетом. — Он словно ожидал этого пакета, непривычно нервными руками схватил данный ему Любовинным конверт и вскрыл. Лицо его темнело по мере того, как он читал содержание письма. Привыкший скрывать свои мысли, он теперь не скрывал, или не мог скрыть глубокого волнения, охватившего его.

— Ну, — со вздохом проговорил он. — Пусть будет так. Жребий брошен... Всё равно, когда-нибудь надо было начинать... Вы знаете, Виктор Михайлович, Германия, а потом Австрия, объявили России войну, Франция объявила войну Германии, на очереди объявление войны Англией и, может быть, Италией. Европа в огне!

— Как же быть... Федор Федорович, ведь это значит... Мобилизация... Я запасной солдат.

— Вы дезертир, — сказал, смотря прямо в глаза Любовину, Коржиков.

— Федор Федорович, но... Родина в опасности.

— Родина..., — сказал Коржиков, сурово улыбаясь, — родина. Бросьте, Виктор Михайлович. Вы читали Маркса и Энгельса? Усвоили?

— Смутно всё... Вот теперь эта тетрадь у Вити.

— Какая тетрадь

Любовин подал записки Виктора.

— Ну что же?

— Так ведь это, Федор Федорович, — жида.

— Сколько раз я говорил вам, Виктор Михайлович, чтобы вы так не называли евреев. Это ругательное и оскорби-

тельное для еврейского народа слово. Это народ достойный всяческого уважения.

— Я сопоставляю, Федор Федорович... У меня тут целое открытие.

— Америку открыли?

— Вы смеетесь, а мне страшно.

— В бредни о масонах, которые распространяют черносотенцы, уверовали. Не даром я видал, как вы зачитывались „Сионскими протоколами“. Но ведь вы знаете, что они подложны?

— Совершенно верно-с. Подложны-с. Но мысли, мысли не подложны. А теперь эта тетрадка. Наверху у нас всё жиды-с... еврей-с. Маркс — еврей, Троцкий, Зиновьев, Радек, все — они-с.

— Но, позвольте, дорогой Виктор Михайлович, во главе нашей партии Ленин, — не еврей.

— Кто его знает. Я уже сомневаюсь.

— Плеханова, надеюсь, вы не заподозрите.

— Но в 1903 году на Лондонском съезде Плеханов вышел из партии. Партия раскололась. Я пакеты ношу, почитай, все евреи. И смотрите выписки у Вити. Неужели это программа? Ведь это уничтожение христиан. И подумайте так и было. Убивали лучших! Императора Александра II весь народ обожал — а убили-с... Возьмите опять Столыпин. Что же, разве хутора не нравились крестьянам? Убили.

Эх вы какую песню запели. И в какое время! Ну, слушайте. Повторим уроки социализма.

Коржиков сел за стол, взял тетрадку Виктора и, глядя прямо в глаза Любовину, заговорил тоном учителя, затверживающего урок.

— Что такое государство? Энгельс определяет: — государство есть форма организованного властвования одного класса над другим. Что же нужно для свободы угнетаемого класса, то есть — пролетариата? Пролетариат должен организовать такой порядок производства, при котором прекращается деление общества на классы с непримиримыми враждебными интересами. С уничтожением классового деления исчезает и форма насильственного подчинения одного класса

другому — государство. Государство становится **ненужным** и отмирает. Усвоили?

— Туманно немного. Главное невероятно. Я боюсь, что вот это-то оно самое и есть, что написано у Вити.

— Что такое?

— Позвольте тетрадку... Вот извольте видеть. „Я говорю о победе над миром. Воюй с обществом людей, не покладая рук, пока не установится должный порядок, пока все земные народы не станут рабами твоими“. Так писано в Зогаре. Вот я и думаю. Государство исчезнет и люди станут рабами у еврейства, станут животными во образе человека, как сказал Мидраш Тальпиот.

— Сказки черносотенца Нилуса.

— Нет, Федор Федорович, это написано в тетрадке у Вити во время поездки в Неаполь, где он всей этой премудрости обучался.

— Просто случайные выписки любознательного мальчика.

— Совпадения странные.

— Бросьте вы это. Слушайте дальше. Ленин, разбирая это положение Энгельса, спрашивает: каким путем пролетариат достигнет своей цели? и отвечает: — прежде всего путем превращения из класса подчиненного в класс господствующий. Он устраивает диктатуру пролетариата, берет в свои руки всю власть и мерами насилия держит в своем полном подчинении низвергнутый, но еще борющийся класс эксплуататоров. Усвоили?

— Трудно это всё. Значит — царя долой и кто вместо него?

— Да хотя бы любая кухарка.

— Кухарка... А, если эти самые евреи? Вон их сколько сюда понаехало и со всего света. Потом, Федор Федорович, легко сказать: превратиться из класса подчиненного в класс господствующий. Да, сделаете-то как? Ну, как я, к примеру, в эскадроне стану на место Гриценки. Даже подумать страшно.

— Эх! Забыть не можете капральской палки! А война на что?.. Вы понимаете, война уже началась!

— Война?.. Да разве вы?

Любовин широко раскрытыми глазами смотрел на Коржикова. Он давно видел, что партия многочисленна, что у нее связи со всем светом, но никогда он не подозревал, чтобы она была так могущественна, чтобы мир и война были в ее власти.

— Ну что вы! Эх вы какой! Император Вильгельм объявил войну России. Император Франц Иосиф объявил войну Сербии. В Сараеве убили австрийского принца. Ну что же! Яблоко падает на землю не оттого, что земля имеет притяжение, а оттого, что оно созрело и стебелек высох и умер, созрела и война... Да... В центральном исполнительном комитете партии постановлено, что с точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России, наименьшим злом будет поражение царской монархии и ее войск.

— То есть... Я не понимаю вас., — сказал Любовин и даже встал из-за стола и стоял, сгибая и разгибая тетрадь Виктора.

— Чудак вы. Для нас выгоднее, чтобы Россия была побеждена.

— Россия... побеждена... немцами...

Любовин вдруг ярко представил последний парад в Красном Селе. Солнце играет на царственном лице Монарха. Генерал Древениц на большой сытой лошади галопом с поднятой шашкой заскакивает к Государю. Рослые, красивые люди, молодец к молодцу, на подбор, на прекрасных лошадях скачут галопом и пики с флюгерами колеблются в их руках. Перед Любовиным скачет в передней шеренге красивый Дыбенко, солдат с нежной, как у девушки душой, мечтающий вернуться домой, жениться и жить своею тихою счастливою крестьянскою жизнью на хуторе под Полтавой, справа нажимает на ногу Любовина литовец Адамай-тис и у него есть тоже свое тихое счастье. Впереди стройная фигура корнета Саблина. Гремит музыка. По всему полю видны расходящиеся полки пехоты, рослых, красивых, сильных людей... Русских... Они будут побеждены, они будут покорены немцами во имя того, чтобы во главе государства, вместо императора Николая II, осиянного солнцем, стала кухарка,

или... жида... или Ленин, с жадной усмешкой идиота. И всё это предвидено, все рассчитано теперь, когда война только что началась...

Туман пошел перед глазами Любовина. Он не видел уже бледного лица Коржикова, нетронутого летним загаром, и его маленькой рыжей бородки. В ушах назойливо звучал величественный Русский гимн и слышался воркующий грохот полковых литавров. Как издалека доносились до него четкие фразы длинной речи Коржикова.

— Маркс говорит: „исполнительная власть с ее чудовищной бюрократической и военной организацией, с ее широко раскиданным и искусственным государственным аппаратом, армией чиновников в полмиллиона, наряду с военной армией в другие полмиллиона, — это страшное паразитическое гнездо, подобно гангрене обвивающееся вокруг общества и закупоривающее все его поры, — возникла в период абсолютной монархии, при гниении феодализма во Франции”, я добавлю: при крепостном праве в России. Маркс требует разрушения этой бюрократически-милитаристической машины. Маркс напоминает, что первым декретом Коммуна упраздняла постоянное войско и заменяла его всеобщим вооружением народа. Коммуна образовалась из городских советов, избранных в различных округах Парижа на основе всеобщего избирательного права. Они были ответственны и могли быть во всякое время отозваны. Большинство их состояло, само собою разумеется, из рабочих, или признанных представителей рабочего класса. Полиция, до сих пор инструмент государственной власти, тотчас же была лишена всех своих политических функций и была превращена в ответственное и во всякое время сменяемое орудие Коммуны, точно так же и чиновники всех ведомств. И привело это всё к Наполеону и империализму, который не изжит Францией и до сего времени. Усвоили?

Любовин молчал. Свои мысли бродили в его голове. Петербург и Москва заняты немцами и жид, жид стоит во главе России! Разве этого хотят Иван Карпович, Дыбенко, Адамйтис, об этом мечтала его милая кроткая Маруся!? Поражение! Какой вздор эта французская революция!

И, точно повторяя его мысли, с силой воскликнул Коржиков.

— Какой вздор эта французская революция, говорит наш великий вождь Владимир Ильич Ленин. Пролетариат не может не желать поражения своего отечественного империализма — он должен его добиться. Мы пошлем своих людей в армию и в общество, мы широко используем мобилизацию и мы истребим всё то, что носит следы империализма. Если нужно, мы попросту уьем их...

— И лучшего из гоев убей! — прошептал Любовин, но Коржиков, увлеченный своею речью, не слышал его.

Мы, — говорил нам Ленин, — мы усыпим бдительность обманом. Мы вольемся в ряды армии и будем кричать о победе, а вести армию к поражению. И, когда разбита и унижена будет Россия мы вознесем. Мы назовем подлостью и низостью все поступки высших классов и мы не остановимся, если нужно, ни перед какою клеветою и ложью... Мы будем кричать, что кругом предательство и измена и мы назовем всех лакеями и прислужниками старого строя, но у нас будет всё: и непрезойденное мужество и самоотречение, и вот, когда мы выроем эту бездну между правящим классом и народом, мы столкнем всё правительство и сядем сами. Мы заберем средства производства из частного обладания в собственность нового государства — так учат и Маркс и Энгельс. Ни у кого не будет собственной иголки, ни у кого не будет своего плуга, но всё будет государственное — и люди станут нашим послушным орудием.

— Навеки прославится тот, кто сумеет избавиться от врагов еврейства, так сказано в Зогаре, — сказал Любовин.

— Вы всё свое, бросьте! — крикнул Коржиков, вырывая тетрадку из рук Любовина. — Я вам дело говорю. Это и вас касается. Ленин считает, что первым делом по достижении власти нужно не заниматься парижским бредом или измышлениями социал-предателей и распускать армию, но создать свою армию, этот инструмент власти. На сегодняшнем заседании исполнительного комитета наши роли распределены. Вся наша ячейка получит средства и нужные бумаги и отправится в армию. На Виктора возложена боевая

работа. Он, под именем гимназиста Холмской гимназии Виктора Модзалевского, должен отправиться в Заболотье и работать на разрушение казаков и где можно истреблять лучших вождей, авторитетных среди казаков лиц. На меня возлагается агитационная работа, распускание волнующих слухов в армии об измене начальствующих лиц, о предательстве и пр. Вы, Виктор Михайлович, должны устроиться писарем при большом штабе и добывать все сведения и передавать их мне. В наше распоряжение будут отпущены значительные средства.

— Откуда эти деньги? — спросил Любовин и в упор посмотрел на Коржикова.

Никогда не красневший Коржиков залился краской и резко ответил.

— Это не наше дело. Наше дело исполнять то, что приказано.

— Предательство Родины..., — тихо качая головою, проговорил Любовин. — Шпионаж в пользу врага, убийство лучших вождей во время ужаснейшей войны... Это... это социализм? Это то учение, которое мы считали выше христианства?!

— Виктор Михайлович, — угрожающе сказал Коржиков, — не забываете, что вы связаны партийной дисциплиной и партия сумеет заставить вас молчать.

— И даже навеки, — проговорил Любовин. — Это и называется свободой слова!

Он направился к двери, но выйдти ему не удалось. В распахнувшуюся дверь, не спрашивая разрешения, вскочил юркий, вертлявый еврей лет тридцати пяти, с вьющимся коком бронзовых волос над лбом, в пенсне на носу и с маленькими усами и рыжей бородкой на бледном исхудалом лице.

VI.

— Здравствуйте, товарищи! здравствуйте, товарищ Федор. Ну и дайте мне пожать вашу руку. О! какой восторг охватывает мое пламенеющее сердце! Ну и здравствуйте, товарищ Виктор. Ну и почему вы такой пасмурный, когда наконец, мы у порога нашей победы!

Он поздоровался с Коржиковым и Любовиным и стал на фоне окна, опираясь на подоконник и скрестивши на груди руки.

— Ой! как хорошо! Ну вы, конечно, знаете — война! Война научит людей презирать жизнь, научит людей убивать. Вы понимаете, это главное, остальное всё готово.

— Вы забываете, товарищ Бродман, — сказал Любовин, останавливаясь у двери и припирая ее, — что в сердцах людей есть еще любовь. Война еще не значит — ненависть.

Большое чувство зародилось в нем и жуткая струна звенела в его сердце, казавшемся опустошенным до дна. Точно эта беседа с Коржиковым порвала те последние нити, которые оставались в нем и привязывали его к жизни. До этого разговора он всё еще верил, что социалисты против смертной казни, против крови и насилия.

— Любовь?.. Странный вы человек, товарищ Виктор. Любовь, это похоть. И вы, — интеллигенция Русская, вы, писатели Русские, давно свалили в помойную яму чувство любви. Вы всегда любите говорить, что это всё сделали евреи. Ну и где же евреи? Вы вероятно помните „Бездну” Леонида Андреева. А? Сладострастно просмакованная штучка. Не правда ли? Вы помните, как слюнявые гимназисты читали „Бездну” и „Бездна” кое-кого увлекла? А? Помните „огарочников” 1905 года, помните Русских бледных девушек с подсиненными веками, которые отдавались направо и налево, а потом гордо уходили из жизни? От „Крейцеровой Сонаты” Толстого, к „Бездне” Леонида Андреева и „Санину” и „У последней черты” Арцыбашева, — вы видите это большая работа. Литература отражение жизни. И Санин — идейный большевик и такими мы должны стать.

— Зачем? — глухо спросил Любовин.

— Как зачем? А чтобы наплевать в самое сердце людей, вытравить из него то, что влечет их на подвиги.

— У Русского народа, с его неприличной руганью, это уже давно сделано, — сказал Любовин.

— Что народ? Стадо скотов! Надо вытравить следы этого рыцарства у тех, кто ведет этот народ, и в этом отношении товарищ Яков прав, — сказал Коржиков.

— Но у простого народа есть религия, — сказал Любовин.

Он ненавидел густую страшную ненавистью в эти минуты и Коржикова, и Бродмана.

Бродман засвистал.

— Ну и что вы говорите, товарищ Виктор, смеху подобно! Религия? Ну и кто теперь верует? Посмотрите, что делается у храмов? Внутри — старики и старухи, а подле толпа парней и девок. Смех, шутки, ругань, гулянье, деревенский флирт. Ну и это, вы скажете, религия? Вы скажете Русский народ — верующий народ... Ничего подобного. Ну и какая деревенская девушка до брака не имела ребенка? И вы скажете после этого — брак таинство. В Русском народе давно нет таинств. Это нам очень хорошо известно.

— Хорошо, — сказал Любовин, — допустим, что всё, о чем мы говорили с Федором Федоровичем сейчас, удастся. Допустим, что мы станем у власти. Кто пойдет к нам?

— Ну, о чем думать, товарищ Виктор? Ну и что вы не знаете Русского народа? Это у нас, в России, говорится: — было бы болотное место, а черти найдутся, ну я вам так скажу: — явится власть, а подлецы и подхалимы, лакеи революции, найдутся. Прикормим. Человек самое подлое животное в мире, а Русский особенно. И знаете: — не только найдутся, но руки будут нам целовать, славословить нас, в газетах такие статьи печатать!

— Кто? — устало сказал Любовин. — Чернь, холоуи, хамы!

— Нет, товарищ, — с убеждением сказал Бродман, — профессора, ученые, вельможи, князья, артисты, писатели.

— Но кто вы такие, что так убежденно говорите: мы, мы. Кто вы такое?

— Я? Я вам прямо отвечаю, кто я. Я — жид. Да, жид, которого долгие века гнало и гнело Русское правительство, я человек слишком знакомый с тем, что называется чертою оседлости. Не вы ли, товарищ Виктор, в гимназии складывали из полы мундира свиное ухо и кричали: „жид, жид свиное ухо съел!“ В университете я должен был попасть в процентную норму, а на Невском, во время демонстрации, меня казак

избил нагайкой только за то, что я жид! Ну, и вы знаете, я поклялся тогда, что будет день, когда молодежь, студенты и гимназисты будут приветствовать меня и носить на руках. Да... И знаете эти самые казаки будут повиноваться мне и станицы изберут меня своим почетным казаком. Ну да! и девушки лучшего общества придут ко мне и будут ласкаться, а я буду терзать и мучить у них на глазах их братьев и женихов.

— Вы сами не понимаете того, что говорите! — сказал Любовин. — Казаки... девушки...

— Ну и что такого? И вы не знаете, что нет предела человеческой подлости!

— Вы мне кажетесь сумасшедшим. Известие о войне опьянило васъ.

— Ну что товарищ! Ну и вы слышали — *per aspera ad astra* — через бездны к звездам, ну мы устроим — *per astra ad aspera!* — подойдемте к пучинам и заглянем в самые черные пропасти! Что?.. Раскроем тайну бытия и посмеемся!

— Посмеемся, — глухо и мрачно сказал Коржиков.

Он был чем-то недоволен и всё искоса поблескивал своими маленькими карими глазками на Любовина.

Бродман не унимался. Он всё это время ходил взад и вперед по комнате, теперь остановился в углу и скрестил на груди руки в наполеоновской позе. Он и, правда, в эту минуту чувствовал себя каким-то большим и всеильным. Ему казалось, что всё, что он говорит, уже осуществляется. Он мысленно окидывал взором всю партию, где знал только ближайших руководителей, но чувствовал мощную организацию.

— Война, — сказал он торжественно, и решительно потрянул подбородком. — Какое безумие! Старый мир гибнет. Народы, гонимые властью, по воле своих императоров, бросятся уничтожать друг друга. Капиталисты всех стран перегрызлись между собою и миллионы людей погибнут, отстаивая их золото! Пхе! Люди гибнут за металл! Сатана там правит бал!... Свершается то, что мы готовили в таинственной тиши долгие, многие годы. Из потоков крови встанут уже

не люди, а животные, объединенные жаждою крови и насилия. Эта война — последняя схватка народов.

Бродман замолчал. Он ждал вопросов, возражений. Коржиков сел за стол и ерошил свои густые волосы. Какая-то забота тяготила его. Он всё посматривал на Любовина. Любовин по-прежнему стоял у двери и внимательно, боясь проронить хотя одно слово, слушал Бродмана. Он был мертвенно бледен и тяжело дышал, казалось, вот вот он бросится на Бродмана.

— Всё полетит! Всё к чорту! — вдруг вскрикнул Бродман так неожиданно, что Коржиков вздрогнул и поднял на него лохматую голову.

— Всё, всё погибнет. Погибнут народы, нации потеряют свой облик. Благородство, честность, вера, чувство долга — всё к свиньям под хвост! Туда им и дорога! Ни к чему это товарищи — буржуазные предрассудки. Не мы, а они разрешили народу кровь. И не остановят. И когда ослабнут, когда погибнут лучшие люди, когда вытечет вся их кровь, встанем мы и предъявим длинный счет. Когда вы пьянствовали, сладострастничали, когда вы сидели в дворцах и раскатывали на автомобилях, когда вы носили тонкое сукно, шелки, брильянты и опьянялись вином, музыкой и женщинами, мы сидели в темных рабочих кварталах, мы изнемогали в страшной целодневной работе, мы стояли у раскаленных горнов на ледяном ветру сквозняков, мы задыхались в вони жилищ, мы отдавали своих дочерей вам, на наслаждение, мы умирали вашими рабами!

— Правда! Правда, — прошептал Любовин. Он слушал каждое слово Бродмана и жадно ждал какого-то откровения, которое вдруг рассеет весь кошмар и примирит и оправдает всех.

— Га! Мало кровушки нашей попили! Теперь мы будем пить вашу кровь, мы потребуем на свои постели нежное мясо ваших подруг, мы войдем в ваши дворцы и съедим и выпьем ваши запасы! Мы устроим пир бедноты и мы расхитим и растащим всё, что вы копили и берегли! Га!.. Прошлое, предки, история, слава! К чорту в болото и славу и историю!! Всё бледно и серо и нету героев! Нет, товарищи, в грядущей

революции мы не дадим вам Наполеона! Пусть та серая, липкая, вонючая грязь, которую накапливали они в рабочих кварталах, зальет мишурный блеск их знамен и орлов. Красная тряпка, а не знамя, кровавые лохмотья, а не шитые золотом мундиры, общий голод и чавканье людей, пожирающих трупы, а не бранные пиры. Смердение разлагающихся тел, а не фимиам победных курений! Всё лучшее к свиньям, к чортовой матери! И лучшего из гоев убей! Убей! И если вошь кричит в твоей рубашке — возьми и убей! Пусть в зверином сладострастии копошатся люди, как белые черви в навозе! Вот вам равенство! Все одинакие, все белые, все склизкие, все вонючие, все одним навозом питаются! Вот наши цели! Создать равенство червей!..

Бродман поднял руки кверху, растопырил пальцы и с силой выкрикнул, ни к кому не обращаясь.

— Мы дали вам Бога и мы дадим вам — царя!..

Громко, как ружейный выстрел хлопнула дверь. Любо-вин вышел из комнаты.

VII.

Любовин спускался по лестнице, держась за перила и ноги не слушались его, перед глазами была темнота и соз-навал он одно: — конец.

Он стремился к тому, чтобы всем было хорошо. Ему хотелось, чтобы не будили песенников в два часа ночи для удовольствия девок и разгулявшихся офицеров, чтобы не было солдатчины и не грозил багровым кулаком ему под самое лицо вахмистр Иван Карпович. Ему хотелось, чтобы не было насилий, крови, не было смертной казни и страха возмездия. Он шел в партию и верил, что она несет равенство, братство и свободу, несет любовь и теплое отношение одних к другим. Он хотел верить, что там, куда он шел тоже христианство, но только без попов, без обрядов, без мистицизма и легенд, которых он не понимал.

Тетрадка Вити, жесткие слова Коржикова, поручение ехать предавать Россию, наконец, истеричные, полные страшного смысла выкрики Бродмана его поразили.

Вот куда его вели! К равенству навозных червей. Вот, что ему обещают, вместо красивого императора, царственно величественного, ему дают — жида. Он думал, что, если вымокнет под дождем на параде Государь, или убьют его, не станет царя и всё станет по новому, лучше, красивее, богаче.

Что же на деле? Торжествующий жид и море крови!

И нет возврата. Никуда не убежишь. Все следят друг за другом все, как заклеянные друг другу известны. Заставят исчезнуть при малейшем намеке на измену.

Исполнить их волю? Ехать в армию, поступить писарем? А узнают? А попадешься... Виселица.

Любовин переходил улицу. Он не видел ясного солнечного дня, не чувствовал нежной игры теней от листьев густых акаций, дубов и кленов; глицинии на фасаде его дома, усыянные гроздьями лиловых цветов, его не радовали. К нему бросилась, ласкаясь, собака Эльзы, он невнимательно погладил ее. „Эльза милая, уютная, ласковая, простая. Укрыться у нее, сказаться больным и лежать дома, пока все они не уедут. А потом опять: — кофе по утрам, кормление кур, хождение на почту, а вечером гитара и цитра и сладкие песни так любимой Родины”.

„Ну что же! Всё-таки жить!”

Он смелее стал подниматься на крыльцо своего дома. В столовой и гостиной нижнего этажа Эльзы не было, но наверху, в их спальне слышалась какая-то возня.

Любовин стал подниматься в спальню. Он приоткрыл дверь... Заглянул...

Раздался женский крик... Грубое ругательство.

Любовин тихо закрыл дверь. Шум продолжался. Сомнений не было. Он потер себе лоб и медленно стал спускаться с лестницы. Никаких мыслей у него не было в голове. Последние капли жизненной энергии были выплеснуты безжалостною рукою. Он уже ничего не понимал. Вместо радостного июльского дня, он видел страшную дыру, в которую тянули его невидимые руки. Он им не противился. Он не мог остановиться. Он повиновался им. Два раза повторил: — „Сын Маруси... Виктор... Виктор!” — и потом громко сказал: — „от него всего можно ожидать!”

И уже решительно, точно твердо зная, что ему надо делать, пошел через двор в сарай, где были сложены дрова и где висели тонкие крепкие бичевки для просушки белья. Он старательно осмотрел сарай, запер двери, деловито, хозяйски, осмотрел лоханку с синим от синьки дном, отыскал в ней маленький обмылок, точно обрадовался ему, схватил его жадными руками и, отвязавши веревку, полез на стол и стал прилаживать ее на балке.

Он делал всё спокойно, раздумчиво, внимательно, движения были уверенны, руки не тряслись и только из темных глаз, ставших вдруг большими, глядела страшная пустота. Душа не смотрелась в них.

VIII.

— Вы уже слишком это, товарищ Бродман, — сказал Коржииков. — Так нельзя. Нельзя забывать того, что товарищ Любовин колеблющийся. Он не поймет.

— Ну и чорт с ним, — сказал Бродман, и сел за стол против Коржиикова. — Знаете, у меня теперь такая энергия, такая энергия, ну и надо было вылиться этой энергии. Что вы думаете, если я на митинге скажу всё это. А что? Хорошо это будет?

— Давайте, товарищ, обсудим лучше положение работы нашей ячейки. Вы знаете, я на Любовина не надеюсь. Трус он и тряпка.

— Выдаст?

— Нет, его и на это не хватит. Просто ничего не будет делать. Вилять.

— Вот, кто у нас, товарищ, молодец на все руки, — сказал, глядя в окно, Бродман. — Ваш сын.

— Он идет по улице?

— Он вышел из дома Любовина и направляется к нам. Что за красавец!

— Отлично. Мне его и нужно. Вы потом оставьте нас одних.

— Сегодня же и отправите?

— Да. В Киянталь, за деньгами и инструкциями, а от туда прямо на фронт.

— Хорошее дело.

Дверь с треском распахнулась на обе половинки и в комнату ворвался оживленный, раскрасневшийся, весь прорываемый смехом Виктор.

Виктор был во всей красоте и блеске своих восемнадцати лет. Он очень походил на отца — корнета Саблина, в дни его юности. Только волосы были темнее, как у Маруси и сам он был крепче, коренастей: прилив простой крови сказался. То, что придавало чертам Саблина оттенок капризной страстности, тонкие легко расширяющиеся ноздри, чувственная складка пухлого рта, что было так мило в нем и так чаровало женщин, в Викторе было подчеркнуто и грубо. Он должен был нравиться простым девушкам, или зрелым дамам, но тонкая, понимающая красоту женщина им не увлеклась бы. Было что-то отталкивающее в его красоте. Густые волосы были сзади коротко острижены, а спереди оставлены длинными локонами и, как женская челка, спускались на лоб. Большие серые глаза были жестки и наглы. Они властно смотрели кругом и никогда и ни перед чем не опускались. Борода еще не росла на его подбородке, молодые усы были острижены и только два черных кустика были оставлены под самыми ноздрями. У него была длинная, полная, красиво обрисованная шея, выказывающая непреклонную волю. Белая просторная рубашка с широким отложным воротником приоткрывала грудь, где на золотой цепочке висел дорогой кулон с темным гранатом. Широкий пояс охватывал поверх рубахи талию. Ниже были свободные панталоны и легкие башмаки.

Ни с кем не здороваясь, Виктор бросился на койку Федора Федоровича и разразился веселым смехом.

— Ну и история сейчас вышла, — говорил он в перебиве прерывающего смеха. — Вот умора. Зашел я к тетюшке напротив. Она меня шеколадом напоить обещала. Выпил я шеколаду, гляжу на нее. Ничего бабенка, полная, рыхлая, надо думать, аппетитная... Она мне: „Витя, Витя”... Солнце светит, тепло у нее. Духами пахнет. Я думаю — была не была. „Пойдемте”, — говорю, — „тетенька в спальню”. Она, дура, ничего не понимает. Идет. Ну вошли. Я ее повалил на кровать.

Она и не пикнула, только красная стала, горячая, тяжело дышет... Ну и вдруг... Дверь... и дядюшка. Эльза увидела, кричит... А мне в зеркало тоже видать. Ничего думаю. Потерпи минутку. Дядюшка, дурак, дверь закрыл и на цыпочках спускается. Вот идиот!

Виктор опять залился смехом.

Бродман хохотал, Федор Федорович был серьезен.

— Ну, что ты нашел интересного в этой старой, крашеной бабе, — сказал он спокойно.

— А право ничего. Так минута такая нашла. Отчего, думаю, не взять для коллекции.

— Эх Виктор, Виктор! Пора бы кончить всё это. Не такие теперь времена. Ты нужен на крупное дело... Прощайте, товарищ Бродман, — обратился он к Бродману, вставшему при начале этого разговора. — Вы, может быть, зайдете ко мне.

— Я пойду к товарищу Любовину. Знаете любопытно посмотреть их теперь вместе.

— Ну, что там интересного, промычал Коржиков.

— Вот что, Виктор, — сказал Федор Федорович, едва Бродман скрылся за дверью. — Мне надо поговорить с тобою.

— Говорите, я слушаю, ответил Виктор, смотря большими глазами на Коржикова.

Отношения между сыном и отцом были дружеские, но деловые. Никакой ласки, или нежности между ними не было. Очень редко Виктор говорил Коржикову „отец“, но больше „вы“, или „Федор Федорович“. Коржиков звал его по имени. Про его рождение, про первые годы детства они никогда не говорили.

Коржиков достал из шкатулки бумаги и подробно рассказал ту работу, которую возложил комитет на Виктора. Он дал ему карты, показал на них, как он должен пробираться к Заболотью, как войти к казакам и что там делать.

— Валить авторитет начальников. Смущать души простых людей. Лгать, клеветать где только можно, — говорил Коржиков.

— Убивать лучших, — сказал Виктор.

Коржиков поморщился, но промолчал.

— Вот, Виктор, может быть, мы никогда больше и не увидимся. Я раньше не говорил с тобою о твоём рождении, о твоих первых днях.

— Ну, верно, родился, как и все. Не под лопухом же меня нашли.

Коржиков достал портрет Маруси и подал его Виктору.

— Это твоя мать, — сказал он.

Виктор с любопытством стал разглядывать старую карточку, на которой Маруся была снята в гимназическом платье, в черном переднике и с волосами, уложенными в косы.

— Хорошенькая девочка, — сказал Виктор. — А ловко подцепили, Федор Федорович?

— Это мать твоя, Виктор! — с возмущением в голосе сказал Коржиков.

— Ну так что же!? Разве мать не женщина? Только и всего, что она на восемнадцать лет старше меня, а то — такая же женщина. Эльза-то, поди, еще много старше будет.

— Оставь, Виктор! Она была глубоко несчастлива и умерла, родив тебя.

— Бедная! Молодая она была?

— Ей было девятнадцать лет.

— Жаль девочку. Поди и вы убивались. Как же вы так неосторожны были, Федор Федорович, не поберегли ее?

Гримаса невольного отвращения искривила лицо Коржикова.

— Я никогда не был ее мужем, — сказал Коржиков, подавая Виктору карточку Саблина. Саблин был снят у лучшего тогдашнего фотографа Бергамаско. На лакированной, в лиловатых тонах, карточке, в выпуклом овале было поясное изображение Саблина в кирасе поверх колета. Гордо, ясно и самоуверенно смотрели большие красивые глаза.

— Я понимаю мамашу, — сказал Виктор. Экой какой ферт! Фу ты — ну ты! Как устоишь! И поди ёрник большой был... Офицер, — протянул он. Я сын офицера! вот так игра природы! Как же вы-то рога себе наставить позволили. Ведь

она, поди, не такая соломенная дура была, как Эльза. Воображаю, как вы злились!

— Молчи, Виктор! Ты ничего не понимаешь! Слушай.

Коржиков подробно рассказал всю историю Маруси. Когда он дошел до того момента, как Любовин ворвался в квартиру Саблина, Виктор захохотал.

— Экая балда! Хоть он мне и дядюшка, а не далекий парень. Экий осел! Стрелял! Ну, и, конечно, промазал. Разве он может убить! Он и клопа-то на спичке жарит, так покаянную молитву шепчет. Однако, чорт возьми, романтическое происшествие. Сын офицера! Гляди богатого. Что же он мамашу обеспечил по крайности? Вы на приданом женились, или как?

Коржиков, досадуя на себя, что начал разговор, рассказал о причинах заставивших его жениться на Марусе.

— Какие дикие понятия! Что же девушка и родить не смеет?

— Виктор, какие у тебя чувства к этому офицеру?

— Какие?.. никаких...

— Он жестоко оскорбил твою мать, заставил ее страдать.

— Ну, поди, и наслаждалась немало. Ведь хорош офицерик-то! Это что же, гусар что ли?

— Он зачал тебя и бросил, что же ты чувствуешь к нему?

— Как к офицеру, или, как к отцу?

— Как к отцу.

— Ничего. Мало ли бывает. Побаловался, не его в том вина. Поди, и от меня где-либо дети пойдут, что же думать об этом? Это уже плохой коммунист, ежели над таким пустяком голову крутить. А к нему, как к офицеру — обычно, как ко всем им — ненависть. Задушить его надо и всё, без особой пощады. Офицер он наверно хороший, такой много вреда нам делает. Хотите, я своими руками задушу, если попадется.

— Отомсти за нее, глухо сказал Коржиков и закрыл руками лицо, вдруг странно покрасневшее пятнами.

— А вы что же, отец, а? Любили ее? Любили! Ха-ха-ха! Вот здорово, Федор Федорович, любили! Ха-ха-ха...

Коржиков встал и прошелся по комнате. Он с трудом владел собою. Наконец, справишись, он почти спокойно сказал:

— Ты когда же пойдешь в Киенталь за деньгами и окончательными инструкциями?

А сейчас, — становясь серьезным, сказал Виктор.

— Сюда вернешься?

— Нет, прямо оттуда на железную дорогу.

— Ну, ладно.

Коржиков, не глядя на Виктора, пошел из комнаты.

Протяжный вой собаки, крики и плач во дворе у Любовина поразили Коржикова. Он пошел во двор. Лицо его было замкнуто и серьезно. Он догадывался, что произошло. „Иначе и быть не могло. Развязал”, — подумал он и горькая складка легла поперек его лба. Почти сорок лет, с самого рождения знал он Виктора Михайловича и, по своему, любил его.

В сарае, на тщательно намыленной веревке висел, склонивши голову на бок, Любовин. Эльза причитала и визжала под ним, собака ей вторила, задравши кверху морду. Бродман что-то кричал. Никто не догадался снять труп с петли.

— Да снимите же его, чорт возьми! — крикнул Коржиков и полез на стол, чтобы развязать веревку.

С помощью Эльзы, Бродман только размахивал руками: он боялся покойников. Коржиков снял Любовина и отнес его в дом.

Когда он снова вышел, уже вечерело. Луна поднималась над горами. Виктор, одетый по дорожному, с маленьким мешком за плечами, выходил на дорогу.

— Виктор, крикнул ему Коржиков, — стой! Ты знаешь.. Виктор Михайлович сейчас повесился.

— Экий идиот! — сказал Виктор. Никакая тень не набежала на его лицо. Оно было холодно, самодовольно и спокойно.

— Виктор, ты не простишься с ним?

— Ну, вот еще? Очень надо. Ведь он всё равно мертвый!

Бродман стоял у ворот и восхищенными глазами смотрел на удаляющегося по Киентальской дороге Виктора.

— Вот, — сказал он, дотрагиваясь до рукава Федора Федоровича, — это сила! Это идет — настоящий большевик!

IX.

Про Заболотье говорят, что оно маленький Люблин, а Люблин маленькая Варшава, а Варшава маленький Париж, таким образом Заболотье, в глазах его обитателей, казалось маленьким, самым маленьким, Парижем, одним кварталом Парижа. Построенное в XIII веке, среди болот и лесов Холмщины, оно долгое время было оплотом католичества. В нем был громадный костел с мраморными памятниками в честь его основателей графов Заболотских, с могучими, в четыре охвата, дубами и липами, с каменной решёткой, был величественный магистрат с наружной лестницей на два марша, который строили в XIV веке. С этой лестницы приветствовали Петра Великого, когда он ехал из заграницы; подле города была могила сына Богдана Хмельницкого, — Юрия, убитого в бою с поляками. Весь город, видный насквозь из улицы в улицу, прекрасно мощённый, с канализацией и водопроводами, с молодыми круглыми каштанами вдоль панелей, со старым рынком с аркадами, под которыми были маленькие еврейские магазины, с дворцом графов Заболотских, обращенным в офицерские квартиры гарнизона, с конюшнями графа, перестроенными в офицерское собрание казачьего полка, с другим костелом, обращенным в казарму, со старыми, времен Николая I, рavelинами и бастионами крепости, — был чистенький и веселый, полный оживленной еврейской толпы, офицеров, казаков и солдат.

В июльский день 1914 года он млея под солнечными лучами и чистые камни мостовых сверкали так, что больно было на них смотреть. Окна домов были открыты, из них свешивались одеяла, подушки и перины, выставленные чтобы проветрить, и кое-где выглядывала черноволосая женская головка с масляными большими глазами, точеным носом и пунцовыми чувственными губами.

В большом тенистом сквере, под раскидистыми каштанами, на скамейках, сидели гарнизонные дамы, играли дети. Сквозь тесный переплет ветвей, с большими лапчатыми ли-

стями, солнце бросало на песок маленькие золотые кружки, и в сквере, чисто подметенном, с лужайками, покрытыми травой, была такая мирная истома, такая отрадная тишь, что тянуло к мечтам и лени и невольно вспоминались слова гарнизонного батюшки, отца Бекаревича, что климат Заболотья не уступает климату Ниццы.

Было двенадцать часов дня. Всё Заболотье вдруг наполнилось сочными звуками военного оркестра и дробным топотом конских подков по камням. Звуки врывались в улицу, отражались о дома, о выступы стен и разливались по всему городку, радостные, бодрые и веселые. Казачий полк возвращался с маневра.

Впереди полка на крупном рыжем коне Донского Провальского завода ехал командир полка полковник Павел Николаевич Карпов. Это был рослый красивый мужчина лет сорока пяти. Темная борода была расчесана на подобие бакенбард на две стороны и чуть-чуть серебрилась от пробивавшихся седых прядей. Он был худощав и строен, широкий ремень с револьвером и биноклем ловко стягивал его тонкий стан. Он легко сидел на лошади и вся посадка обличала в нем смелого и неустрашимого наездника. Рядом с ним, по правую сторону, на золотисто-рыжем, сытом коне ехал его помощник по хозяйственной части, войсковой старшина Семен Иванович Коршунов, по другую, его адъютант, маленький и толстенький, рано начавший лысеть Георгий Петрович Кумсков.

За ними широкою шеренгою ехали трубачи. Лошади теснились и жались, а трубачи в свежих защитных рубахах и фуражках, лихо одетых на бок, играли, надувая щеки, веселый бодрый марш, отдававшийся эхом о стены домов.

Карпов свернул в боковую улицу, остановил коня и стал пропускать полк мимо себя. Искреннее удовольствие сверкало в его глазах, когда казаки, проезжая мимо него, задирали подбородки кверху и сворачивали головы в его сторону. Песенники умолкли. Поваленные за плечо на петлях пики тихо колебались и звенели. Прекрасно одетые, красивые люди с сухими загорелыми лицами, на которые из-под фуражек волнами падали густые тщательно расчесанные волосы, при-

пудренные пылью, внимательно и весело смотрели на своего командира. Они знали, что они хороши, что они молоды и что командир ими любит. Они гордились тем, что они казаки лихого Донского полка, лучшего полка кавалерийской дивизии, что они Донцы, что они сыны великой Русской армии. Они чувствовали, что войско, лучше их, трудно придумать и создать.

Скеркающие червонным золотом на солнце лошади 1-й сотни все, как одна, светло-рыжей шерсти, в передней шеренге лысые, в задней без отметин, прекрасно масть в масть подобранные, отлично тренированные и вычищенные, с разобранными рукою, волос к волосу, пушистыми хвостами, поднявши сухие головы с красивыми темными глазами, торопливо проходили мимо командира.

Рыжую первую сотню сменила бурая вторая, потом шла вишнево гнедая третья, дальше караковая четвертая. Одна была лучше другой. Карпов знал каждую лошадь, каждого казака, их всех он горячо любил, точно они были детьми его. Этот бледный светлорусый казак Хоперсков, печальными глазами глядевший на командира, всего неделю тому назад вернулся из отпуска. Он ездил на Дон хоронить молодую жену. У него в станице, на попечении чужих людей, осталась девочка двух лет, — всё, что привязывает его к жизни. Сзади него ехал плотный и короткий, с лицом обрамленным рыжеватой бородкой Пастухов, сотенный кузнец, первый силач в полку, а рядом, юный, прекрасный, с чуть пробивающимися черными усиками Поляков, из богатой семьи, маменькин сынок, и баловник, всё никак не могущий научиться прыгать через деревянную кобылу.

— А что, — обратился Карпов, к стоявшему подле него на нервной серой лошади есаулу Трайлину, — Поляков научился, наконец, через кобылу прыгать?

— Постигает, господин полковник, — сказал командир сотни, прикладывая руку к козырку и мягко, как „х“, выговаривая букву „г“.

— А лошади у вас, Иван Иванович, всё никак не поправятся.

— Уже и не знаю, что делать, — сказал Траилин.

— Кормить надо, — сказал Карпов. — Я разжалую вахмистра, если осенью не подравняетесь с другими сотнями. Каргин! — строго крикнул он на зазевавшегося казака, — ты чего, друг, голову на командира не сворачиваешь, а?

Казак испуганно повернул голову на Карпова.

— А у Медведева опять поводья на лещотке не выравнены; взыскать! — сказал Карпов.

„Э, виноватого найдет!“ — подумал Траилин и облегченно вздохнул; его сотня прошла и за нею громыхла колесами и тархтела пулеметная команда.

Сытые, с блестящей шерстью, большие гнедые лошади легко, без усилия, везли железные двуколки, на которых стояли закутанные в чехлы пулеметы. Каждая пряжка амуниции блестела, каждый ремешок сбруи был тщательно вычищен и почернен. Лицо Карпова прояснилось. В пулеметную команду были отобраны лучшие люди и она проходила в щегольском порядке. За нею потянулась пятая сотня на серых лошадях и дальше шестая на вороных. Чернобородый есаул Захаров, командир шестой, такими же влюбленными глазами провожал казаков и лошадей.

— А, Константин Помпеевич, — сказал, обращаясь к командиру сотни Карпов, — хотя бы и в бой с таким полком! Хороша ваша сотня!

— Да, как бы и не пришлось, — сказал Захаров.

— Никто, как Бог!

— Да будет Его святая воля, — сказал Захаров. — Потрудились вы не мало, господин полковник, и есть с чем поработать.

— Да. Хорош полк, сказал Карпов, ни к кому не обращаясь, и тронул лошадь за последней сотней. — Прикажете песенникам петь.

Захаров поскакал по мостовой догонять голову сотни.

В теплом, напоенном ароматами зелени и скошенного сена воздухе, раздалась веселые громкие звуки бодрой заливчатской песни:

Э-эй — э-э-эй! Донцы песни поют!

Через речку Вислу-ю,

На конях плывут.

— А что, господин полковник, — обратился к нему Коршунов, — будет все-таки война?

— Ну, не думаю. А, впрочем, кто ее знает! Штаб дивизии почему-то уверен, что война будет. Через полчаса в канцелярии.

— Слушаюсь, господин полковник, — сказал Коршунов.

— Адъютант, что бумаг много?

— Не особенно, господин полковник. Опять жалоба на хорунжего Лазарева.

— Жидов побил?

— Есть немного.

Экий какой! Ни одной субботы не пропустит, — сказал Карпов.

— Наказаны очень стали. Этот раз его сами задели.

— Ну, Романа то Петровича не очень заденешь! Пьян, что ли был?

— Совсем тверезый.

— Разберем... — сказал, слезая с лошади у своей квартиры, командир полка и стал ласкать своего большого коня.

Х.

Вся жизнь Павла Николаевича Карпова прошла с казаками и в строю. Вне строя, вне лошадей, вне песен казачьих, джигитовки, поездок, учений, маневров, пыли в сухую погоду, грязи в дожди, Карпов не мог представить себе жизни. Он был женат, у него был сын, юноша семнадцати лет, уже поступивший в военное училище, но семья была не главным, но лишь дополнением к службе. Сын должен был продолжать дело, начатое отцом, должен был служить так же, как отец и все заботы семьи были направлены к тому, чтобы одеть и снарядить сына для той же военной службы, которой отдал всего себя Павел Николаевич. Он женился рано, по любви. Был роман между бравым лихим юнкером Новочеркасского училища и робкой, застенчивой институткой Мариинского института Анной Владимировной Добриковой. Были встречи на Мариинской улице и на балах, в стенах института и кадет-

ского корпуса. Мило улыбалось хорошенькое чистое лицо, из-под барашковой институтской шапочки нежно смотрели большие глаза и такая всеобъемлющая, верная любовь глядела из них, что Карпов понял свое счастье. Со свадьбой не откладывали. Было сказано всё, что, казалось Карпову, он должен был сказать. Было сказано, что у него ничего, кроме службы, нет, что впереди: бедность, глухая стоянка в польском захолустье, кочевки со льготы на службу и обратно, голод и нищета. В ответ Карпов получил тихий взгляд прекрасных глаз и слова, поразившие еще в институте воображение Ани Добриковой. — „Где ты Кай — там и я Кая“.

Так говорили римлянки своим суженым, так сказала и Аня, — современная римлянка, донская казачка.

Да, всё было. Была и нищета, и голод, и пища из солдатского котла. Аня сама ходила с корзинкой на базар, сама, при помощи денщика, стряпала. Была теснота маленькой комнаты, снимаемой у еврея на окраине польского местечка, были денежные драмы, когда внезапно от колик пала строевая лошадь и надо было купить другую. Были долги, унижения, просьбы отсрочки, было разорение при отъезде на льготу на Дон, унылое прозябание в станице в зависимости от казаков, в казачьей хате, в глуши, без книг, была обратная кочевка с эшелоном молодых казаков в полк, новое устройство бедного гнезда среди суетливой полковой жизни.

Но где был Кай, там была и его верная Кая. Ни он ей, ни она ему ни разу не изменила. Она чинила ему белье, штопала чулки, нашивала леи на рейтузы, она, одинокая, ждала его, когда он был на маневрах, она трепетала за его жизнь, когда он ездил подавлять беспорядки и гасить революцию. Она сумела оторвать от своего сердца горячо любимого сына, отправить его в корпус и остаться опять совсем одной, с мелочными заботами жизни, с ее дрызгами и обидами и с тихими мечтами о том, как приедет ее Алеша на каникулы.

Да, тяжелая была жизнь, но было в ней и счастье. Удачно сошедший смотр, приз, взятый на скачке, любованье друг другом на скромном балу в офицерском собрании, куда дамы приходили в блузках и танцевали с вихрастыми припомаженными хорунжими, охватывавшими их талии потными

руками без перчаток, где на ужин подавали рубленные котлеты с макаронами и сливочное мороженое; чтение вместе книг, перечитывание старой, но горячо любимой литературы, письма сына, похвала командира полка в приказе, brave казаки, хорошо содержанные лошади. Мещанское счастье — скажут многие — христианское счастье, думали Карповы, счастье в подходе к каждому человеку с любовью и в исполнении до мелочей своего долга.

Жизнь улыбнулась им лет семь тому назад, когда неожиданно жена его получила небольшое наследство. Эти деньги дали возможность поступить в Кавалерийскую Школу, привести туда видного статного коня, обратить на себя внимание. Случилось как, что бывший начальник школы оказался командиром того армейского корпуса, в котором Карпов командовал сотней, он продвинул лихого офицера, и в 1911 году Карпов, совершенно неожиданно, на 45 году жизни, получил в командование Донской полк в N-ской дивизии. Он всё отдал службе и служба наградила его. Полк был распущенный. Предшественник Карпова, был пьяница и картежник, офицеры ничего не делали, казаки ходили оборванные и грязные. Карпов в три года сделал полк лучшим в дивизии. Он с пяти часов утра был в полку на коновязях, вел занятия с офицерами лично, сумел заинтересовать их спортом, высоко поставил гимнастику, езду и стрельбу, и, когда он уже поздно ночью возвращался домой к своей Анюте, усталый, измученный, он находил тихий уют семейного очага, кипящий самовар, домашние булки, он находил счастье.

Мимо неслась грозным потоком громадная политическая жизнь. Волновалась и шумела Государственная Дума, отказывались политические партии, шли интриги подкопы под власть — Карпов был далек от всего этого. Отчетов о заседании Думы он не читал, он не знал, что такое партия, какие они, чего домогаются. Интересоваться этим он считал преступным, а о Думе думал с огорчением. „Чего они там не поделили, о чем волнуются“. Он ничего не знал ни о Распутине, ни о влиянии на Государя. Как всю жизнь, так и теперь он неизменно боготворил Государя и его семью и в Царские дни, устраивая церковные парады, согласно с

гарнизонным уставом, он всегда находил несколько теплых слов, чтобы сказать очередной сотне, поздравляя ее с Царским праздником.

Каков поп — таков и приход. Каков был Карпов, таков был и весь его полк. Он от последнего казака до старшего офицера жил только службою, забывая семью, не интересуясь политикой, строго исполняя приказы, воспитывая казаков в христианской морали и беспредельной любви к Государю и Родине.

Полк Карпова был идеальный полк, такой, каких очень много было в Императорской Российской Армии в 1914 году.

Карпов не переживал тех мучений, которые испытывал Саблин. Он не сомневался в Государе, потому что был далек от него, он не сомневался в России и Русском народе, потому что не знал политики, он был уверен в каждом казаке своего полка.

XI.

В полковой канцелярии, во втором этаже каменного старинного дома скучной казенной стройки, окрашенного в бледно желтую краску, все окна были растворены. Напротив, по другую сторону узенького переулка, тоже в раскрытом окне сидели две молоденькие хорошенькие еврейки и шили. Там была модная мастерская госпожи Пуцыкович. Еврейки были: ее дочь Роза Львовна и ее подруга Мария Давыдовна Канторович.

Адъютант Кумсков, подобравши бумаги для доклада, высунулся в окно и переговаривался с еврейками.

— Роза Львовна, вы будете сегодня в городском саду на музыке? — спросил он.

Пуцыкович оторвалась от шитья, подняла длинные глаза, окруженные темными тенями на офицера и сказала.

— Ваш оркестр будет играть?

— Нет, пехотный.

— Ну, я тогда не пойду. Я люблю, когда играет ваш оркестр. Ваш оркестр играет оперы, а Б-цы так, всякие пу-стяки. Только барабан громко бьет. А вы пойдете?

— Не знаю, как управлюсь с бумагами.

— Если вы пойдете, и я пойду, — сказала Пуцыкович. Ее подруга засмеялась.

— Роза такая ваша поклонница, — сказала она. Ах, господин Кумсков, отчего у вас так мало осталось волос на голове? Совсем бы вы были солидный аппетитный господин. Куда вы их подевали?

— Любил много, — смеясь сказал Кумсков.

— Пфуй, какие вещи вы говорите интеллигентным бабышням. Вы бы попробовали средство моего папаши. Очень помогает.

— Что же, попробую, отчего не попробовать. А что ваш папаша давно приехал из Австрии?

— Вчера вечером только вернулся.

— Ну, как там? Будет война?

— Ох и не говорите, господин Кумсков. Такой ужас. Народ обезумел совсем. Вы представьте себе, там уже идет мобилизация. Да. На моего папу напали, арестовать хотели. Вы, говорят, русский шпиён, не иначе. Да. Ну, спасибо знакомый начальник станции его выручил. Да, очень плохо. Но только мой папа говорит: не будет войны. Евреи не хотят. Там что-то у них вышло. Главные какие-то хотят, значит, чтобы война была, ну, а вообще-то евреи боятся, что, значит, после войны — погромы и насилия будут и бедному еврейскому народу не устоять. Ой, господин Кумсков, и, если война, что тогда будет! Ужас какой! Вы уйдете, придут запасные и прямо пропадать придется. Хотя бы вас-то оставили.

— Мало разве вас Лазарев обижает?

— Пфуй, какой скандалист! Ну, только, пусть, знаете, Роман Петрович обижает. Он, любя, обижает. Ну, что за беда, что он Хаймовича поколотил; опять же Хаймович сам виноват, зачем дорогу не уступил господину офицеру. Ох, господин Кумсков, какая озорная становится молодежь! Что-то будет, что-то будет!

— Болтайте, болтайте, господин Кумсков, — сказала Пуцыкович, — а вон я вижу идет пан полковник. Достанется вам, коли у вас не всё готово.

— Готово у меня всё, — сказал адъютант и прошел на встречу Карпову.

Карпов поздоровался с писарями, надел на нос пенснэ; он был дальнозорок и не мог читать без стекол, и сел за свой стол. В канцелярии все молча работали. В соседней комнате трещали пишущие машины, через корридор глухо гремел литографский станок, там печатали приказ. Сухой черноволосый делопроизводитель щелкал в углу на счетах и бормотал вполголоса итоги. Коршунов сидел за другим столом и быстро писал, обмениваясь короткими фразами с командиром полка и делопроизводителем.

— Семен Иванович, почем окончательно установили овес с Наем? — сказал, отрываясь от бумаг и, глядя поверх пенснэ, Карпов.

— По пятьдесят пять, — отвечал Коршунов.

— А справочная — восемьдесят. Что же, поправим, пожалуй, хозяйственные, можно будет на весь обоз хомуты новые заказать.

— Господин полковник, а когда же фанфары с подвесками купим, как в гусарском полку. Ведь у нас у одних нет, — сказал адъютант.

Карпов посмотрел на него.

— Купим, может быть, и фанфары. Но эту уже роскошь, а хомуты необходимость.

— Хомуты у нас хорошие, господин полковник. Я так думаю, что, если новые покупать, то старые продать. Я и покупателя нашел, — сказал Коршунов.

— Только не за границу, — сказал Карпов.

— Боже упаси. Пивоваренный завод Рубинштейна берет у нас.

— Ох, не хотелось бы жидам. Хомуты ведь хорошие.

— Да как же вы без жида здесь обойдетесь? Невозможно. Я поговорю с управляющим графским. Может быть экономия возьмет.

— Да, это лучше.

Опять щелкали счеты и глухо гудел станок. За окном яркое солнце лило горячие лучи и две еврейки, опустивши хорошенькие головки, прилежно шили.

— Георгий Петрович, мобилизация у нас в порядке? — спросил Карпов.

— Сами, господин полковник, на прошлой неделе пересматривали, отвечал адъютант.

— Сам-то сам. А изменения внесли?

— Да и перемен никаких не было. Никто не умер, не заболел. Отпуски запрещены.

— Так что... если? Вы мне ручаетесь?

— Ручаюсь, господин полковник. Да, право ничего не будет.

— Ах... Ну, да что об этом говорить! А как сегодня, Семен Иванович, второй дивизион атаковал! Ей Богу, жутко было смотреть! Сила! С такими молодцами на войну одно удовольствие. Покажем венгерцам силу казачью.

Карпов встал.

— Что же, господа. Это и все бумаги? Лазареву выговор в приказе. Вот, отдайте сегодня же. Значит, можно и обедать.

— И то третий час, господин полковник, — сказал адъютант.

— Проголодались, поди. Третий час, а мы с шести на ногах. Так, господа, если ничего не будет, вечером можем пошабашить. Четверг сегодня. Льготный день. Пойдем на музыку.

Карпов с Коршуновым и адъютантом вышли на улицу и пошли по домам. Коршунов свернул в первый же переулок, он снимал квартиру у поляка по соседству с канцелярией, Карпов с адъютантом жили в казенном доме на городской площади, против сада.

В эти послеполуденные часы местечко как бы вымерло. Каштаны неподвижно свесили широкие лапчатые листья, ни одного дуновения не было в воздухе. Старый костел, окруженный липами и дубами четко рисовался тонкими шпилями башен на голубом сверкающем небе и казался декорацией из оперы. Мир и тишина были кругом. Где-то, за два квартала, играли гаммы на фортепьяно и эти звуки, доносясь в тихую улицу, усиливали мирное настроение.

„Неужели война?“ — подумал Карпов, поднимаясь к себе на квартиру.

Прелестный белый шпиц, собака жены, бросился к нему навстречу. Денщик принял от Карпова фуражку и бережно положил ее на столик в прихожей. В гостиной ярко блестел хорошо натертый паркетный пол, висели в рамках олеографии, премии „Нивы” — „Свадебный боярский пир”, „Русалки” Маковского и „Целовальный обряд” из „князя Серебряного”. Всё было просто, почти убого, но уютно и мило. Анна Владимировна поднялась ему навстречу. Худая, высокая, смуглая, она выглядела моложе своих сорока трех лет. Ни одного седого волоса не было в ее густых, гладко причесанных черных волосах. Карие глаза смотрели ласково.

— Устал, проголодался? — мягким грудным голосом спросила она.

— Немного. Обед готов? — сказал Карпов.

— Да. Идем. Как я любовалась твоим полком.

— Смотрела? А, правда, хорош? Вот что, Анюта. Там, может быть, это и вздор болтают, а всё-таки готовым надо быть ко всему. Так, после обеда, пересмотри-ка, мать, вьюки, да там по списочку перебери, с Николаем, что уложить и куда. Потому, сама знаешь, если мобилизация, мне и дыхнуть некогда будет, уйду в канцелярию и уж о себе думать не придется.

— А что? — спросила Анна Владимировна, — есть что новое?

— Нового то ничего... Ну да ведь, и то, мобилизация не война. В 1911 году мобилизовались, да так ничего и не вышло... Ну а всё-таки, если будет — поезжай, Анюта, в Новочеркасск.

Она молчала. Всю жизнь они были вместе, не расставались. Но она понимала, что война это не женское дело и ей там места при муже не было. Это была служба, а служба была всё.

С глубокою тоскою посмотрела она на мужа, тихо вздохнула и сказала.

— Хорошо. В Новочеркасск, так в Новочаркасск, мне всё равно. Вьюки я пересмотрю и всё соберу. Идем обедать.

ХII.

Карпов после маневра чувствовал себя усталым и рано лег спать. Он лег в кабинете, рядом со спальней жены и сейчас же заснул, но не проспал и пяти минут, как проснулся. Заботная мысль разбудила его.

Никогда он не думал о войне. Готовился к ней ежедневно, ежеминутно, всё у него в полку было для войны, а вот, как она начнется и что тогда будет, не думал. Была японская война. Он был послан на нее с пулеметами, он дошел только до Харбина, как был заключен мир и он вернулся обратно, не видав войны. Теперь представил себе, что война может быть и, следовательно, и разлука, кто знает, может, навсегда. И такая жгучая, жуткая, бесконечная любовь к жене охватила его, что хотелось, встать, подойти к ней, стать на колени и целовать ее руки и глядеть в ее лицо, чтобы запомнить его навеки и унести его с собою... на войну. Он прилушался. В комнате жены было тихо. Верно, спала. Устала сегодня, топтавшись целый день по комнатам и укладывая белье и всё необходимое в поход. „Ну, спи, спи”, — подумал он, — „Бог даст, ничего еще и не будет”. — И он лежал, не смея беспокоить ее от любви к ней, осыпал ее самыми нежными именами, передумывал и переживал всю свою жизнь с нею. И не находил ни одного пятна.

Рядом в комнате, уткнувшись лицом в подушки, лежала Анна Владимировна. Женским сердцем своим, чутьем смертельно раненой души она уже знала, что война будет и будет разлука. Она не плакала — горе было слишком велико, чтобы плакать, она не жаловалась, не упрекала никого, потому что глубоко верила, что это ее крест, ее долг, что это от Бога, а Бога упрекать она не смела. И так же, как и ее муж, она переживала всю свою жизнь, и память воскрешала только счастливые моменты и стирала все тяжелые мелочи жизни, все обиды и огорчения бедности. Все двадцать четыре года их совместной жизни казались ей сплошным, ничем не смущенным счастьем. Тихо поднявшись с постели, она встала на колени перед большим образом Донской Богоматери и начала беззвучно молиться. Из золотого фона кротко смо-

трело смуглое лицо с широко раскрытыми, устремленными на нее печальными глазами.

„Да будет воля Твоя!“ — повторяла она и знала, что, если будет на то воля Господа сил, без стопа, без ропота, она отдаст его войне, и останется одна, с своими тяжелыми думами, исполнить тихо и кротко свой долг жены офицера!..

На кухне раздался звонок. В тихой квартире был слышен тревожный голос. Денщик, ступая босыми ногами, пошел к кабинету Карпова..

— Ваше высокоблагородие, — раздался его шопот. — Телеграмма штаба дивизии.

Чиркнула спичка.

— Давай ее сюда, — сказал Карпов.

На официальном бланке торопливою рукою начальника штаба было набросано: — „Первым часом мобилизации считать 23 часа 59 минут 17-го июля 1914 года. Начальник дивизии Генерал-Лейтенант“, — следовала знакомая подпись барона Лорберга.

Жена уже стояла в дверях спальни. Она была одета в темный капот. Большие глаза смотрели на Карпова с неземною великою любовью и тоскою.

— Объявлена? — сказала она.

— Да, — глухо отвечал Карпов.

— Идешь сейчас?

— Да. Николай, — беги к адъютанту, скажи, чтобы все командиры сотен, войсковой старшина Коршунов и чины штаба сейчас шли в канцелярию, — сказал Карпов денщику.

Денщик вышел. Анна Владимировна бросилась к мужу. Несколько секунд они застыли в безмолвном объятии. Когда она оторвалась от мужа, она была спокойна.

— Когда выступаете? — спросила она.

— В шесть утра, — отвечал Карпов.

— Под вьюк Шалуна?

— Да, — сказал он, — а в двуколку Шарика.

— Хорошо. Я всё теплое уложу в двуколку.

— Алеше напиши, чтобы ко мне в полк не выходил.

Не хочу.

— Понимаю. Значит в гвардию?

— Да, уже если в разлуке, пусть в гвардию.

Он поспешно оделся. Она помогла ему, подала китель и фуражку, со свечой провожала на лестницу, и с тоскою смотрела, как он спускался вниз.

— Новые сапоги с раструбами положи во выюк по ту сторону овсяных карманов, — сказал он снизу.

— Овес сыпать в левые карманы, или в правые.

— Какие больше, — сказал он, — и ушел.

Дверь хлопнула на скрипучем блоке и его шаги затихли в пустынной улице.

Анна Владимировна бросилась к образу и застыла в горячей молитве.

Через полчаса она зажгла все лампы в комнатах, разложила выюки и, вместе с вернувшимся денщиком, укладывала вещи мужа на войну, свои в Новочеркасск, — то, что оставалось, надо было бросить, оставить на чужих людей.

ХIII.

Телеграмма была секретная и содержания ее никто не мог знать, но Заболотье жило тревожною, беспокойною ночною жизнью. Почти во всех домах, из-за спущенных занавесей и задернутых портьер, в щели ставень был виден свет, слышался таинственный шорох и сдержанный разговор. Заболотье шевелилось и в нем каждый житель знал, что Россия объявила мобилизацию армии: война с Германией и Австрией неизбежна. И прежде чем сотенные командиры успели собраться в канцелярию полка, „пантофельная”, быстрая, невидимая почта понесла известие о мобилизации и войне по городам и селам губернии, на границу и за границу.

Мобилизация в полку была шестичасовая. Это значило, что полк ровно через шесть часов выступал на границу, в поход. Она была за много лет продумана и написана. Каждому было указано, что и как он должен был сделать и в какой час, все расчеты, все требования были загодя написаны, теперь оставалось только проверить их и подписать.

В полковой канцелярии ярко горели большие висячие лампы под плоскими железными абажурами и от них было чадно и душно. Окна были настеж раскрыты и темная ночь

глядела в них. Карпов застал всех писарей на местах, адъютант, войсковой старшина Коршунов и большинство командиров сотен были в большой комнате, где занимался командир. Все догадывались о причине вызова, но никто не говорил об этом.

— Ты спал? — спрашивал командир 1-й сотни Хоперсков у маленького толстого Ильина, начальника пулеметной команды.

— Нет. Мы у Захарова в картишки заигрались. Засиделись мало-мало. А ты?

— Я с девяти завалился. Так заснул, долго понять не мог, чего это денщик будит, неужели уже утро. Ан вон оно что?

Худошавый Агафошкин, командир 2-й сотни, отец семерых детей, живший почти что в нищете, тревожно совался своим бледным лицом, обросшим жидкой бородкой и спрашивал: — ну что? ну что? так в чем же, господа, дело-то? А?

Ему никто не отвечал. Считали неприличным говорить об этом, пока не скажет командир. Адъютант, успевший заснуть и не прогнавший сна со своего полного лица, узкими сонными глазами оглядывал толпившихся офицеров и считал, все ли пришли. Все были в кителях с серебряными погонами, с золотым номером полка, при шашках. Одновременно вошли запыхавшиеся, разгоряченные скорою ходьбою Захаров, Траилин и маленький седой, лысый и беззубый пятидесятилетний Тарарин, командир 5-й сотни — суета и лотуха, но честнейший человек и рыцарь в полном смысле этого слова.

— Господин полковник, — сказал во вдруг наступившей тишине адъютант, — все собрались.

Слышно было, как затихли в соседней комнате писаря и стали на носках подкрадываться к двери, чтобы услышать, что будет говорить командир полка.

Офицеры стали в порядке номеров сотен, как они становились всегда, когда их вызывал по службе командир полка, и Карпов любовно оглянул своих сотрудников.

— Господа! — сказал он спокойным ровным баритоном хорошо изученного им в командах и приказах голоса. — Объявлена мобилизация. Первым часом 23 часа 59 минут. Теперь уже шесть минут первого. Все на работу. Мобилизационные пакеты у всех в порядке?

— В порядке — за всех ответил Тарарин. На лице его, вдруг побледневшем, разлилось сильное волнение.

— Господа, мобилизация, еще не война. Объясните это казакам. В шесть часов утра полк должен быть на гарнизонном плацу. Я надеюсь, господа, что всё будет, как всегда в нашем полку?

Офицеры молча поклонились.

— Знамя, — спросил адъютант, прикажете иметь без чахла?

Командир ответил не сразу.

— Да, — сказал он. — Без чахла.

И почему-то, в этом случайно отданном приказании, все увидели, что война будет.

— Можно идти? — опять за всех спросил Тарарин.

— Да, идите, господа. Я надеюсь, всё пройдет у нас тихо и гладко.

— Постараемся.

Канцелярия опустела. Писаря кинулись по своим столам. Адъютант поднес командиру полка бумаги, запечатанные в красные конверты, на которых крупными буквами было написано: „вскрыть по объявлении мобилизации”.

Карпов уселся за стол и стал просматривать и подписывать подаваемые ему бумаги. Их выросла перед ним на столе целая стопа. Тут были требования, списки, донесения, инструкции, приказы, отчеты, послужные списки.

Кругом глухо, как большая фабрика, шумело местечко, переполненное казаками, гусарами и солдатами пехотного полка. Все окна казарм, до этой минуты темные и слепые, с тускло мигавшими ночными лампами и образными лампадками ярко осветились сверху до низу. На дворах и на улицах стали появляться озабоченные люди. Открылись настеж широкие ворота обозных сараев и неприкосновенных запасов. Люди вывозили оттуда на себе новые повозки, грузи-

ли их вещами и везли на себе по дворам казарм. Из казарм несли узлы, сундуки и ящики с собственными вещами и парадным обмундированием, которые оставались в Заболотье. Никому в голову не приходило, что Заболотье когда-либо может быть оставлено нашими войсками.

В сотнях копошились и томнили люди. Все офицеры были при своих взводах, сотенные командиры с вахмистрами и каптенармусами считали, записывали, выдавали и отмечали вещи. Полковая машина работала стройно, серьезно и безотказно. Карпов улучил минуту между потоком бумаг и прошел в ближайшую сотню. Она кипела копошащимися людьми, как муравейник. Койки уже были убраны и одеяла и матрацы сложены. Раздалась команда „смирно” и все люди замерли в неподвижных позах. Бравый дежурный лихо отрапортовал.

— Ваше высокоблагородие, во второй сотне N-ского Донского полка происшествий не случилось. Сотня занята мо-би...ли-би... зацией, с трудом выговорил мудрёное слово молодой казак.

Карпов поздоровался с людьми, приказал продолжать работу и пошел по сотне.

Не было говорено никаких громких и шумных речей, никто не объяснял значения и цели мобилизации, возможности войны, но все отлично понимали, что творится что-то важное, к чему готовились и для чего учились.

— Ну что же, — спросил Карпов, останавливаясь подле молодого, румяного, без усов и бороды казака, носившего страшную фамилию Лиховидова, но имевшего самый безобидный вид, — боишься, если война будет?

Казак краснел и мялся. Его товарищи прекратили работу — они насыпали в это время сахар и чай в маленькие мешочки и смотрели на Лиховидова улыбаясь. Внимание товарищей смущало Лиховидова еще более и он молчал.

— Ты понимаешь, что, может, и война будет?

— Так точно, — наконец, поговорил Лиховидов. — А только чего бояться-то? Всё одно — присяга. А помирать, кому как указано, так и будет.

— Ну, а рубить-то не забыл, как?

— Да как учили. По голове лучше всего, без промашки и перерубить ее легко.

— Молодец! — сказал Карпов и пошел дальше. — Да, — думал он, — с этими людьми и на войну не страшно. Подумал о себе — боится ли он? И о себе сказал, — нет, не боюсь, ибо верую.

XIV.

Короткая летняя ночь убывала, а Карпов всё сидел в канцелярии, писал, подписывал и отвечал на короткие вопросы, с которыми приходили к нему то посланные из сотён казаки, то офицеры, и вопросы все были будничные, простые, не вызывавшие сомнений.

— Ваше высокоблагородие, старший врач спрашивают — когда индивидуальные пакеты раздавать, сейчас, как написано в плане, или подождать, когда совсем объявится.

Карпов видел, что в войну все-таки не верили. Не могли допустить, что она так близка, что эта ночь еще мир и тишина, а утром уже будет война, и кровь, и раны, и индивидуальные пакеты могут понадобиться.

— Раздайте сейчас, как по плану указано.

— Господин полковник, — говорил хорунжий, подходя к столу — Брайтман за автобус для семейств офицеров до станции просит пятьдесят рублей, деньги вперед, давать или нет?

— Давайте.

— Семьи отправлять?

— Да, завтра в шесть часов вечера.

— Слушаюсь.

В три часа ночи, отчетливо ступая по полу, твердым ровным шагом, подошел к столу хорунжий Протопопов, румяный, могучего сложения юноша, звякнул шпорами и доложил:

— Господин полковник, честь имею явиться, с разъездом особого назначения прибыл.

Адъютант передал ему пакет, на котором было написано: — вскрыть в Звержинце.

Звержинец было ближайшее пограничное местечко.

— Австрийское золото получили? — Спросил Карпов.

— 626 корон золотом и 8000 марок бумажными деньгами, — отвечал хорунжий.

— Подрывной выюк готов?

— Так точно.

— Где разъезд?

— Во дворе канцелярии.

— Я сейчас выйду, провожу вас, — сказал Карпов.

В мутном тумане приближающегося рассвета, когда ночь еще не уступила утру и звезды только что начали гаснуть, на дворе канцелярии, полном людей 2-ой сотни, виднелось шестнадцать конных казаков, построившихся в одну шеренгу. Сзади стояли две лошади с вьюками. Это был разъезд особой важности, который должен был, в момент объявления войны, скрытно перейти границу Австрии, пройти по лесным дорогам далеко вглубь страны и взорвать мосты на шоссе и на железной дороге. Казаки смотрели серьезно. Они отдавали себе отчет в важности и опасности поручения.

— С Богом, станичники! Будете ожидать приказания. Помните, что война еще не объявлена. Ведите себя честно и благородно, достойно высокого звания Донского казака, — сказал Карпов.

— Постараемся, ваше высокоблагородие, — дружно ответили казаки.

— Хорунжий Протопопов, ведите разъезд.

— Справа рядами, шагом марш, — скомандовал Протопопов.

Карпов вышел за ворота. Передний дозор отошел за углом и пошел крупной рысью по мостовой города. Левая лошадь сорвалась на галоп и не могла успокоиться и долго были слышны в утреннем тумане ровная четкая рысь правой лошади и неровные скачки левой, пока не заглушил их топот ног идущего шагом разъезда.

Раннее утро, чуть побледневшее на востоке небо, усталость бессонной ночи — придавали особенный, полный тайны вид этому разъезду, медленно удалявшемуся за город. Во мгле скоро скрылись силуэты всадников, но еще слышен был стук копыт. Карпов стоял у ворот, следя за ним. Стук

сразу стих. Мостовая кончилась, разъезд вступил на пыльную улицу.

Когда Карпов вернулся в канцелярию, на его столе лежала большая стопка темных книжек — паспортов. Он взял первую, чтобы подписать и невольно остановился. На первом листочке с государственным двуглавым орлом, напечатанном на коричневой сетке значилось: — Анна Владимировна Карпова, 43 лет, православная, жена полковника...

Представилась она в пустой квартире, глубокою ночью, совсем одна. И надолго. Может быть навсегда. Образы прошлого на миг окружили его. Почудилась прохлада громадного войскового собора и появилась в группе одинаково одетых девушек, скромная темноволосая Аня Добрикова... Пригрезилась тенистая аллея Александровского сада, с медвяным сладким запахом белой акации, длинными гирляндами свешивающейся из-за перистых нежных листьев, темное небо с луною, застывшей над сверкающим займищем разлившегося Дона и тихий покорный ответ на его страстную речь: — где ты Кай, там и я Кая...

Теперь он ей подписывает отдельный паспорт. Теперь, когда суровая подкрадывается старость и более, чем когда-нибудь они нужны друг другу.

Усилием воли Карпов прогнал мысли и быстро подписал свою фамилию на паспорте жены.

Писарь гасил лампы. Бледный утренний свет, вместе с легкой прохладой, врывается в растворенные окна. Наступал день — день похода, может быть, — войны.

XV.

В 6 часов утра, 18-го июля 1914 года, на гарнизонном, так называемом Бородинском плацу выстраивалась 2-ая бригада N-ской кавалерийской дивизии.

Карпов в это время возвращался в свою квартиру. В столовой, по мирному, кипел громадный семейный красный медный самовар, пуская к потолку густые пары, в железном лотке лежали булки, было приготовлено масло и сливки. Анна Владимировна в лучшем своем платье ожидала мужа. Она была спокойна и только покрасневшие веки и глубокая

синева под глазами говорили о том, что за эту ночь пережито было много горя. Несколько серебряных волос пробились сквозь черноту ее кос, уложенных на голове. Чай пили торопливо. Говорить, — так надо было передать друг другу такую массу нежных слов, глубоких ощущений драмы, совершающейся в душе у каждого, весь ужас тоски разлуки, а это говорить было слишком больно и долго и потому говорили о пустяках.

— Ты на Сарданапале поедешь? — Спросила Анна Владимировна.

— Да, на нем. А Бомбардос в заводу.

— Сарданапал покойнее. Я запасные стремяна положила в сундучок. Николай знает.

— Ну... Прощай, дорогая. Пиши...

— Куда писать-то?

— В действующую армию.

— Ах да....

Она обняла его и стала крестить мелким частым крестом. Губы ее вдруг опухли и из глаз часто, часто побежали слезы. Еще мгновение и она не выдержала бы — свалилась бы в обморок. Но он оторвался от нее и пошел вниз во двор, где ожидала лошадь. Когда он садился, она догнала его. Глаза у нее были красные, сухие, губы еще дрожали. Она дала кусок сахара узнавшему ее и потянувшемуся к ней губами Сарданапалу, перекрестила и его. Потом она быстро прижалась лицом к колену мужа и, когда оторвалась, две слезы остались на алом лампасе.

Карпов выехал за ворота.

На плацу за городом его полк был уже готов. Пятая запоздавшая сотня рысью входила сзади и видно было взволнованное злое лицо Тарарина, трясшегося на большой, не по его росту, серой лошади. На углу стоял взвод со знаменем, ожидая, когда полк будет готов. Правее выстраивались гусары. Их командир солидный немец фон Вебер еще не приехал к полку.

Карпов влюбленными глазами смотрел на казаков. Полк был в полном порядке, хоть сейчас на смотр. Обоз — оглобля в оглобля, дышло в дышло, весь заново покрашенный, стоял

за пулеметной командой. Равнение, „затылки” были идеальны. Пики были так выравнены, что сбоку была видна только одна пика, молодежавые, загорелые лица казаков были чисто вымыты и волосы причесаны. Их успели накормить завтраком и напоить чаем и никто бы не сказал, что всю ночь они провели в спешной лихорадочной работе. В стороне собирались жители города. Отдельною группой стояли полковые гусарские и казачьи дамы и там были пятна ярких зонтиков, освещенных косыми лучами поднявшегося над городом солнца. Против фронта был поставлен зеленый с золотом аналой и высокий худой священник гусарского полка, в лиловой рясе и скуфейке, раскладывал книги. Под резкие звуки труб армейского похода приняли штандарт и знамя.

Начальник дивизии, старый генерал Лорберг, приехал вместе с бригадным командиром и начальником штаба. Он объехал полки, здороваясь с людьми и хмуро крикая. Он был взволнован. Надо было что-нибудь сказать людям, а что сказать он не знал — война еще не была объявлена и он далеко не был уверен, что она будет объявлена. Он ничего не сказал, но еще более нахмурившись и надувши свои короткие, как иглы, седые усы, торчавшие над губою, галопом отъехал на середину фронта почти к самому аналою и хриплым голосом закричал:

— Бригада, шашки в ножны, пики по плечу, слушай!

Когда повторенная командирами полков, эскадронов и сотен команда была исполнена, он снова скомандовал.

— Трубачи на молитву!..

Медленно, под звуки певучего сигнала, полковые адъютанты вынесли к аналою штандарт и знамя. Певчие выходили из рядов гусар и казаков и, поддерживая за спиною винтовки, бежали к аналою. Священник облачился в ярко-зеленую шитую золотом ризу и, взявши крест, вышел вперед.

— Во имя Отца и Сына и Святого Духа, — начал он не сильным голосом. — Воины благочестивые! Настал час великой и трудной работы, когда вы должны будете перед лицом Всевышнего дать отчет, истинно ли вы христолюбивое воинство, готовое душу свою отдать за веру, Царя и отечество.

Набегавший ветер рвал его слова и относил в сторону. Сзади, по шоссе, тарахтели и звенели кухни гусарского полка, чей-то пес, которого денщик вел на веревке за подводой, рвался и визжал.

Священник кончил и певчие запели „Царю небесный”...

Слишком обыденными казались слова молебна для того, что совершалось. И опять переставали верить, что война будет. Дамы стояли сзади принаряженные, красивые и некрасивые, богатые и бедные. С ними были дети. Они-то знали, что война будет, потому что иначе им не пришлось бы бросать свои жилища и искать пристанища по всей России, по чужим людям. Война еще не началась, но ее разорение, ее ужас уже коснулся и первыми были разорены и выброшены на улицу офицерские семьи пограничных полков. После молебна, когда убрали аналой, начальник дивизии, потрясая шашкой над головою, сказал несколько слов, казавшихся ему сильными и важными:

— Смотрите, молодцы! Обывателя не грабь и не обижай, помни, война еще не объявлена. Ну, а объявят войну — так все ум-р-р-р-ем за веру, Царя и отечество! Поняли, ребята... А?... Руби, коли, как учили. Сумей доказать свою силу, оправдать себя перед Царем — батюшкой!

--- Поста-р-раемся, ваше превосходительство, — дружно грянули люди стоявших ближе к нему эскадронов и сотен.

— Так с Богом, господа. Казаки в авангард!

Карпов подал команды и первая сотня рысью стала выдвигаться в головной отряд и от нее галопом поскакали дозоры вперед, вправо и влево. От второй сотни пошла цепочка связи и скоро всё шоссе до самого леса покрылось парными всадниками на равных промежутках. Карпов нарочно не отпускал по местам трубачей и когда полк тронулся, трубачи грянули полковой марш.

Так просто, скромно, буднично и обыденно пошли на войну передовые полки Русской армии.

Анна Владимировна сухими глазами смотрела на удаляющийся полк. Замерли звуки полкового оркестра и сверкая трубами разъехались по сотням трубачи, выше и гуще стала подниматься пыль, заслоняя всадников и только острия

пик горели над колонной. Серая змея гусарской колонны стала заслонять их, затрещали повозки обозов, задымили походные кухни с огнями углей в поддувалах, проскакал запоздавший казак и стало пусто и серо на затоптанном пыльным плацу. Толпа любопытных стала расходиться. Заболотье горело в утренних лучах жаркого июльского солнца.

— Ну эти-то больше никогда не вернутся! — сказал кто-то, обгоняя Анну Владимировну.

Она пошатнулась и чуть было не упала. Жена есаула Траилина поддержала ее. Несколько минут она шла спотыкаясь и ничего не видя. В ушах еще слышались обрывки бра-вурного марша, а в голове неотступно стояла тяжелая мысль о том, что всё кончено. Кончено их бедное — мещанское счастье. Кругом шли такие же печальные, спотыкающиеся женщины, иные плакали; молодая, всего шесть месяцев тому назад обвенчанная и уже беременная, жена сотника Исаева рыдала навзрыд и ее вели, успокаивая, две посторонние женщины польки.

Полки уходили к границе.

XVI.

Восьмой день полк Карпова стоял в 12-ти верстах от границы в маленькой польской деревушке Бархачеве, среди густых и зеленых дубовых Лабунских лесов. Через деревню, весело журча по камням, протекала неширокая речка. Подле реки стояла покинутая учителем и детьми сельская школа и в ней в классной комнате, между сдвинутых к стенам ученических парт, помещался штаб Донского полка.

По стенам висели хромолитографированные таблицы: — жизнь пчелы, народы всего мира, сельско-хозяйственные орудия, северное сияние, большая карта Европы, изображения земных полушарий, карты Африки, Америки и Австралии и, над учительским местом, в рамках, два больших отпечатанных в красках портрета Государя и Государыни.

Карпова по утрам не бывало дома. Полк выставил сторожевое охранение и Карпов объезжал заставы и посты. В школе, неудобно подогнув ноги, за маленькими детскими партами, сидели делопроизводитель, полковник Коршунов и

писаря и считали и писали, заготавливая полевые отчетные книжки для сотенных командиров. И на войне каждая казенная копейка была на счету.

Было раннее утро 26-го июля. Накануне узнали, что Германия, а вслед за тем и Австрия объявили войну России, разездам было приказано выдвинуться за границу и „войдти в соприкосновение с противником”. Так значилось в приказе, стереотипною, со школьной скамьи заученною фразою, но никто еще не уяснял себе, что это значит.

Погода стояла жаркая, небо шло от солнечных лучей, румяные зори сменялись тихими лунными ночами, полными волшебного блеска.

В это утро на дворе школы, еще не просохшем от ночной росы, подле денежного ящика, стоявшего у сарая, заросшего репейником, толпился народ. Полковой писарь, Кардаильсков, маленький приземистый казак, уже пожилой, десятый год бывший на сверхсрочной службе, лысый и важный, правая рука адъютанта, стоял впереди всех, заложивши руки в карманы. Он только что умылся и его лицо было красно и лоснилось от холодной ключевой воды. Штаб-трубач Лукьянов, стройный черноусый красавец, в рубаше, при револьвере с алым шнуром и серебряной сигналкой за плечами на пестром шнуре с кистями, совсем готовый, чтобы ехать с командиром полка, его помощник Пастухов, командирские ординарцы Миронов, Дьяков, Медведев, Апостолов, Лихачев и Безмолитвеннов, писаря, денщики, обозные казаки и кашевары обступили только что приехавших с донесением маленького белобрысого казака Лиховидова и большого плотного, обросшего черною бородою старообрядца Архипова. Они привели с собою двух небольших карачиных нарядных лошадей в не нашем уборе. На седлах были привязаны ружья, сабли с желтыми плетеными темляками и темносиние куртки на густом белом бараньем меху, красные шапки — кепи и мундиры расшитые желтыми шнурами. Одна из шапок была перерублена и в местах разреза темнела запекшаяся кровь. На белом бараньем меху были алые, еще не успевшие потемнеть пятна. Лица привезших

были серы и утомлены бессонною ночью, но возбуждены и полны одушевления.

Это были первые боевые трофеи полка.

Миронов задумчиво гладил рукою по белому меху австрийского ментика и говорил:

— Ишь ты, густая какая шерсть. Ее поди и не перерубишь.

— Ку-у-ды-ж! — деловито, сознавая себя героем дня, сказал Лиховидов — мы так одного-то кинулись рубить, как по пустому месту. Шашка даже отскакивает.

— Ты-то поди перерубишь! — снисходительно оглядывая маленькую тощую фигуру Лиховидова, сказал Кардаильсков. — Где тебе! Поди и шашку в руке не удержишь.

— А вы, Лиховидов, хотя одного взяли? — спросил его же сотни урядник, ординарец Апостолов.

— Дык как же! — гордо воскликнул Лиховидов, — я стрелил одного. Так с коня и загремел. В раз упал. Голова прострелёная оказалась.

— А это кто по голове рубил так важно, — спросил Миронов, бросая мех и разглядывая разрубленное австрийское шако.

— Это? Это сам Максим Максимыч, хорунжий. Они и привезть наказывали командиру. Скажи, мол, что я, хорунжий Протопопов, убил.

— Постойте ребятёжь, — сказал Лукьянов, — что зря ребята спрашивают, пусть толком рассказывают как дело было.

— Много их было? — спросил Миронов.

— Говорю 24 человека. 14 положили на месте, а 10 ушло.

— А наших?

— Двенадцать, офицер, значит, тринадцатый.

— И четырнадцать положили? — с сомнением в голосе сказал Кардаильсков.

— Верно, положили, — подтвердил басом, молчавший до сих пор Архипов.

— А лошадей две привели. Где же остальные? — спросил Миронов.

— Убегли. Их разве поймаешь? Они сытые, а наши при-

мореные, всю ночь болтались по лесу. Одну хорунжий себе взяли.

— Ну, рассказывай толком, как было? — сказал Лукьянов.

— Как было-то? Да вот как. Значит, вышли мы в разъезд вчора, еще в 6 часов утра. Как приказ о войне получили. Ну, переехали, значит, границу. Максим Максимович разъезд остановил, приказал столб пограничный снять: теперь, говорит, граница земли нашей лежит на арчаке нашего седла, где мы, там и граница.

— Правильно сказано, — сказал Кардаильсков.

— Дальше-то что? — сказал Лукьянов.

— Дальше?.. идем. Чудно так, прямо полями. Поля топчем. Картофель попался, по картофлю прошли, так и шелестить. Значит, война, топтать можно. Неприятельское. До самого Белжеца мало не дошли, повернули, пошли вдоль границы. В лесу остановились, передохнули, по концерту съели. Жителей нигде никого, и спросить некого. Даже не то, что человека — собаки, кошки нигде нету. Пусто. Ночь шли лесом.

— Жутко? — спросил Кардаильсков.

— Ничего, — со вздохом сказал Лиховидов.

— Не перебивайте его, ребята, — сказал Лукьянов.

— Светать стало. Только дозор нам с опушки леса рукой машет, да так показывает, чтобы мы потихоньку шли, не шумели. Подходим. Вот так, значит, об эту опушку мы идем без дороги, а о ту опушку углом, значит, по дороге они идут. Дозоры прошли. Нас не видали. Впереди офицер, серебро сверкает, синяя шубка наопашь висит, мех хороший такой, сзади они, по четыре в ряд. 24 мы насчитали, шесть шеренг, сзади никого не видеть. Солнце всходить уже стало. Сабли на солнце сверкают, бренчат. Лошади фыркают, видно недавно из дома вышли, сытые, неприморенные. Идут рысью. Ну, урядник Быкадоров и говорит его благородию. — Ваше благородие, вдарим на них, пока они не заметили нас. — Максим Максимыч головой кивнул и знаком показал — шашки вынуть. Пики мы повалили. Урядник Быкадоров у меня пику взял и — ай-да! Крикнули мы: ура! и на них! Они остановились, офицер их крикнуть что

собрался, или что, а тут ему Быкадоров пикой под самое горло, тот так и полетел, гляжу, вместо лица черная дыра. А красивый был... Да... ну, австриец, сейчас утекать. Мы за ним. Только видим, что его лошади хотя и сытые, ну только слабее наших. Нагонять стали. Антонов рубить стал, а они, чудные, не рубят нас, а только защиту делают. Антонов ударил по шубе и ничего, тот только нагнулся. Антонов и кричит нам: „руби по голове“. Тут Максим Максимыч своего рыжего выпустили и хватил австрийца по затылку. Так мозги и брызнули. В раз упал. Я догнать своего не могу, уходить стал. Я винтовку снял и ему в голову — раз! гляжу, падает, нога в стреме застряла, коня тормозит, ну, я коня схватил — вот он мой конь! Осмотрелся, — вижу уже кончено всё. Десять, что порезвее кони были уходят, на шоссе вышли так припустили, четырнадцать лежат. Кони за теми скачут, домой значит к своим. Она хоть и животная, лошадь, а тоже понимает, к нам не идет. Трех поймали. Максим Максимыч себе одну взяли. Славная кобылица такая, ростом повыше этих. Вот оно и всё дело.

— А наши пострадали?

— Ничего. Агафошкину щеку царапнуло. А то — без урона.

— Хорошие лошади, — деловито сказал Миронов и погладил по крупу сытую австрийскую лошадь.

— Лиховидов, — крикнул с крыльца школы адъютант, — командир зовет.

Маленький Лиховидов приосанился, снял с седла перерубленное шако, окровавленный ментик, винтовку и саблю и важно пошел в школу.

Толпа стала расходиться. У всех было повышенное праздничное настроение. Война началась и так удачно. Трофеи, победа, отсутствие своих убитых и раненых радовали и были хорошей приметой.

— Да, — говорил Кардаильсков Лукьянову, — а жидок, выходит, этот австриец и снаряжен не по-боевому. Этакая жара, а он уже в мех нарядился.

— А главное, Антоном Павлович, мне предполагается так: — почин дороже денег.

XVII.

При первом же известии об объявлении войны России, венгерская кавалерийская дивизия, стоявшая против Русского города Владимира Волынского собралась и решила овладеть конною атакою городом Владимиром Волынским, сорвать всю Русскую мобилизацию и овладеть складами.

Эта дивизия состояла из венгерских магнатов, людей лучших фамилий. Она сидела на прекрасных гнедых и вороных конях, была одета в блестящую шитую серебром форму. Ее разъезды и соглядатаи донесли начальнику дивизии, что расположенная во Владимире Волынском Русская кавалерия ушла, что в городе остался только Лейб-Бородинский пехотный полк, который занят мобилизацией. Весь город переполнен запасными солдатами, телегами и лошадьми, поставляемыми по военно-конской повинности. Впереди города накопаны окопы, занятые небольшими пехотными заставами.

Венгерцы решили или умереть, или прославить в истории свое имя. Начальник дивизии, родовитый граф Мункачи, был мужчина пятидесяти пяти лет, низкий, кряжистый, крепкий, с красным лицом, с большими седыми, развевающимися усами, уходящими в длинные подъуски. С ним служило в этой дивизии пять его сыновей, молодцов, один лучше другого. Четверо были женаты, пятый был шестнадцатилетний юноша и состоял ординарцем при своем отце. Это был любимец графа.

Ранним утром, 30-го июля, дивизия на рысях, в стройном порядке перешла Русскую границу, смяв посты пограничной стражи и быстро стала приближаться к Владимиру Волынскому. Она шла густыми Волынскими лесами. Венгерцы оделись, как на парад. На них были темносиние шапки, темносиние расшитые шнурами венгерки и такие же ментики на опашь на левом плече. Прекрасные кони были круто собраны на мундштуках. Это была красота старого конного строя, гармония изящных всадников, грациозных лошадей и блестящей одежды. Подойдя к городу дивизия остановилась. Из-за ее рядов выкатили подводы маркитанов и янтарное венгерское заиграло в кубках. Пили за здоровье короля и

императора, за славу венгерской конницы, за прекрасных дам.

А в это время, стройными серыми рядами, блестя круто подобранными штыками и отбивая тяжелый шаг по шоссе, молчаливая и серьёзная, извещенная своими заставами, вливалась Русская пехота в окопы, клала винтовки на брустверы, едва возвышающиеся над землею, опиралась локтями на края, устраивая поудобнее локти для стрельбы. Офицеры обходили по окопам и спокойно говорили:

— Без приказа не смей стрелять, хотя бы тебя рубить стали. Целить, куда укажу, либо в грудь, либо под мишень. Стрелять, не торопясь. Помни, как учили! Затая дыхание, всю свою мысль собери на выстреле и целся внимательно. Лучше один выстрел попади, чем десять патронов зря просадить.

За спиною этой прекрасной пехоты спокойно шла в Владимире Волынском работа, и хотя стоустая молва во много раз преувеличила силы венгерской кавалерии, никто не считал возможным, что венгерцы могут овладеть городом и выбить из окопов Российской пехоту.

Было около 10 часов утра, когда венгерская кавалерия построилась пошелонно. Граф Мункачи, старший сын начальника дивизии, командир первого полка, на холеном широком арабе, в сопровождении адъютанта и двух трубачей, в блестящем, залитом серебром мундире, объезжал ряды полка и говорил слова ободрения.

— Не бойтесь этой Русской сволочи! Помните 1848 год и отомстите за своих братьев! Рубите этих собак беспощадно.

Жадным, страшным огнем горели черные глаза солдат и сурово смотрели сухие, темные, загорелые лица с черными усами.

На сытом гунтере, украшенном золотом и шелками, с пеной, проступившей у подперся, галопом прискакал начальник дивизии, горячо обнял сына, поцеловал его в губы на глазах всего полка и воскликнул:

— За славу Венгрии, за славу короля и императора, вперед!...

Полк зашумел по кустам и траве лесной опушки и рысью стал выходить на чистое поле, отделявшее лес от города. В полутора верстах были видны белые стены, дома, то высокие, каменные, то низкие деревянные, церкви с сверкающими на солнце куполами, фабричные трубы и башня костела. Сжатые поля сменялись черным паром. Вдоль полей шло шоссе с телеграфными столбами с оборванной проволокой. По полям и поперек шоссе чуть намечалась линия пехотных окопов, присыпанная соломой. В них не было видно никакого движения.

Полк четыремя ровными шеренгами, одна за другой, шел мощным полевым галопом и на жирной пахоти полей, стоявших под паром, летели от копыт тяжелые черные комья. Яркое солнце блистало на серебре шнуров офицерских венгерок, на мундштуках и обнаженных саблях, на светлых ножах. Лошади начали блестеть и покрываться потом.

Из окопов, зарытые по самые брови в землю, глядели на эту атаку Лейб-Бородинцы. Винтовки были положены на бруствер и люди, чтобы не было соблазна, не прикасались к ним. Казавшиеся темными точками венгерские кавалеристы, то разъезжались шире, то смыкались. Они, то приподнимаясь, то опускаясь, быстро приближались и по мере того, как приближались, росли и становились отчетливее. Стали видны отдельные лошади и по блеску мундиров стало возможно отличить офицеров от солдат.

— Унтер-офицеры и лучшие стрелки! — раздалось по окопам, — возьми на мушку офицеров.

Чуть шевельнулись люди в окопах и несколько штыков приподнялось от земли.

Тысяча сто шагов, девятьсот, семьсот, шестьсот...

Молчат окопы.

Тайная радостная надежда закралась в сердце графа Мункачи и его венгров. Русских нет — они ушли, они испугались. Венгерская дивизия ворвется в пустой город и займет его с белыми храмами и высокими домами, во славу венгерской кавалерии!

— За Венгрию! Императора и короля! — крикнул граф хриплым голосом, оборачивая красивое лицо к солдатам.
— Hourra!

И могучий, глухой, непривычный для Русского уха крик донесся до окопов.

Стали видны лица всадников. Дальнозоркие люди различали черноту усов и нависших бровей.

— В полгруды, наведи, попади! — раздался тонкою колеблющеюся нотой пехотный сигнал открытия огня, поданный командиром и сейчас же грянул одинокий, как будто неуверенный выстрел, другой, третий и вдруг вся длинная линия окопов загорелась ярко вспыхивающими огоньками ружейных выстрелов и окоп стал так часто трещать, что не стало уже слышно отдельных выстрелов, но трескотня слилась в общий гул. Властно разрезая трескотню ружей, точно громадные швейные машины, строчили кровавую строчку пулеметы.

Упал арабский жеребец под графом Мункачи. Мункачи, стараясь высвободить из-под него ногу, оглянулся назад. Как мало осталось людей! Как редки шеренги! Как много людей и лошадей уже лежат неподвижно синими и темными пятнами на черном поле и на сизо-желтой стерне. Атака отбита! Полк уничтожен!

Пуля ударила его повыше сердца и он упал ничком в черную землю.

— За Венгрию! Императора и короля! - - пролепетали его синеющие губы.

Оставшиеся в живых немногие люди поскакали назад к лесу и их преследовали тонким свистом одинокие пули. Навстречу им спокойными, величаво властными волнами вышел еще полк и также понесся, встречаемый зловещей тишиной затихшей по сигналу пехоты.

— Протри винтовки! Остуди пулеметные стволы, — говорили по рядам солдат, словно дело шло об учебной стрельбе на стрельбище по мишеням.

Четыре атаки отбито.

Старый граф Мункачи был в ярости. Он собрал остатки полков и лично, сопровождаемый младшим сыном, последним отпрыском славного рода, повел пятую атаку.

Они, с группой людей дошли до самых окопов, но не дрогнула, так же величаво спокойна была Российская Императорская пехота и верен глаз у маленьких землеедов Лейб-Бородинцев. На самом окопе упали отец и сын, а те, кто перескочил наполненный людьми окоп, были живьем переловлены солдатами резерва.

Так, в первый день войны, под стенами Владимира Волынского погибла в безумном стремлении победить Русскую пехоту лучшая в Австрии венгерская кавалерийская дивизия.

Бой затих. Санитары по приказу вышли собирать раненых венгерцев, роты выходили из окопов и сумрачно торжественные строились побатальонно. Конные разведчики и патрульная цепь пошли к лесу.

По пыльным улицам спасенного Владимира Волынского расходились по казармам роты. Высоко, по гвардейски, поднявши штывки и подравнявши приклады, стройными серыми рядами в колоннах по отделениям, с песнями всею ротой, без вызова песенников шли Бородинцы, гордые сознанием только что одержанной победы.

— Тверже ногу! Отбей шаг! — кричал на роту ее командир, старый сорокалетний капитан.

На сытом коне у перекрестка улиц командир полка пропуская мимо себя полк.

— Спасибо, двенадцатая! — крикнул он, — славно стреляли!

— Рр-рады стараться ваше высоко-брод-но-оо — заревела, отбивая могучий шаг, рота.

По всему Владимиру Волынскому неслись песни и мерно гремел тяжелый шаг Русской пехоты..

Барабан громко бьет,
Бородинский полк идет
Идет, идет, идет!

Лихо пела двенадцатая, пройдя мимо командира.

Из деревень, распоряжением исправника, вышли мужики

с лопатами копать могилы и собирать убитых. Их было около двух тысяч. Среди них пали люди лучших фамилий Венгрии. Санитары снимали с них шитые серебром мундиры, сабли, револьверы, обыскивали карманы. На телеги складывали винтовки и сабли, конные ординарцы и обозные солдаты ловили разбежавшихся лошадей.

Жарко и душно на улицах Владимира Волынского. Вкусно пахнет печеным хлебом, солдатскими щами и гречневой кашей и никому нет дела до того, что у самых окопов лежит полураздетый труп красивого старика с седыми усами и рядом юноша, с лицом херувима, а по всему полю раскиданы вздувшиеся буграми темные тела лошадей и рядом, распластавшись, лежат убитые люди.

Это война.

Гулко гудит медный колокол собора. Духовенство собирается служить благодарственный молебен за избавление от опасности и блестящую победу и, замирая в дальней улице, слышна лихая солдатская песня:

Барабан громко бьет,
Бородинский полк идет,
Идет, идет, идет!...

XVIII.

На 1-е августа всей Русской кавалерии было приказано перейти австро-германскую границу, вторгнуться возможно глубже в неприятельскую страну, внести в нее пожар и разорение, помешать мобилизации и сбору лошадей и разрушить пути сообщения.

Полк Карпова около шести часов вечера, 31-го июля, втянулся в небольшой пограничный город Томашов, куда собралась вся N-ская кавалерийская дивизия и стал квартир**о-биваком**.

Штаб дивизии занял низ большого каменного дома, бывшего до войны собранием и офицерскими квартирами Донского Казачьего полка. Наверху, в разорённой командирской квартире, были отведены ночлеги командиру и офицерам гусарского и казачьего полков.

До глубокого вечера Карпов просидел с адъютантом и делопроизводителем в комнате за трехногим столом, подписывая требования и составляя приказ на завтра. Когда он вышел на балкон вздохнуть свежим воздухом, солнце уже зашло за Австрийскую границу и закатное зарево пылало за темною пеленою громадных Томашовских лесов. На балконе сидел командир гусарского полка барон фон Вебер с адъютантом.

— Красивая картина, — сказал фон Вебер. Отсюда Австрия видна почти до самой Равы-Русской. Куда-то попадем завтра?

Небо синело вверху, а внизу ярким пламенем догорал закат. Четкой щетиной выступали на нем леса, слегка холмившаяся местность розовела от закатного света. В стороне, совсем близко стояли сосны большого леса, они обрывались шагах в четырехстах от дома и здесь была песчаная площадь, на которой стояли серые деревянные конюшни Донского полка. Между конюшнями, на коновязях были привязаны лошади казачьего полка и около них располагались на ночлег казаки. Красными пятнами, в сгущавшейся внизу темноте, под лесом, выступали топки казачьих кухонь. Там толпились и гомонили люди и слышался визг поросенка.

У конюшен, накинув шинели на плечи и собравшись в кружок, человек шесть казаков протяжно и складно пели тягучую песню.

Ах, ты сад, ты мой сад,

начинал один задушевым низким глосом и все шесть пристраивались к нему разом —

Сад, зеленый виноград.

— Хорошо поют ваши, — сказал фон Вебер.

— Да, — задумчиво проговорил Карпов, — старая это песня казачья, низовая песня. Там ее поют, где берега Дона и южные пристены балок покрыты густыми кустами виноградной лозы, где казак живет виноградом и вином, где приволье степи с одной стороны, с другой густая тень виноградников. И голоса я узнаю. Это Аржановсков заводит, а Смирнов, Петров, Зимовейсков и еще кто, не разберу, пристраиваются.

— Вот поют и не думают, что будет завтра, — сказал гусарский адъютант.

— А что же думать-то? — просто сказал Карпов. — Будем пить чай, обедать, будем жадать сна и спать будем. Это жизнь.

— А кому и смерть, — сказал адъютант.

— Да ведь смерть-то, это телесное. Есть душа, и думы, и мысли, и молитвы, и обожание красоты — это одно. И к этому смерть никак не относится. Это само по себе — и есть телесное — пить чай, обедать, спать — это смерть разрушит. А того она не коснется. То останется, — сказал Карпов.

— Хорошо, если так — тихо сказал адъютант.

Все замолчали.

Последние краски заката догорали за темными лесами, тянуло легкой прохладой, стихал гомон людей у кухонь. Внизу, уже невидимые люди пели другую, тоже медленную песню.

Ах да ты подуй, подуй
Ветер с полуночи,
Ты развей, развей
Тоску мою, кручину...

Лошади на коновязях мерно жевали овес и иногда тяжело вздыхали, точно и они думали свои думы, слушали тоскливые песни и понимали их.

Вдруг в темноте резко протрубил дежурный трубач повестку к заре и люди стали выходить из темных углов на песчаную дорожку, где полосами от окон ложился свет, и строиться длинными темными шеренгами. Слышна была переключка. Вахмистр внизу читал приказ и дежурный светил ему свечкой и было так тихо, что пламя свечи не колебалось.

Певуче проиграли на фланге полка кавалерийскую зорю. Пропели **Отче наш** и **Спаси Господи**. На секунду стихли. Запевала откашлялся и верным чуть-чуть колеблющимся голосом один, давая тон, пропел:

— „Бо-же!“...

Хор разом, могуче подхватил — „Царя храни! Сильный державный, царствуй на славу нам“.

Звуки гимна лились все величавее и полнее, захватывающая душу.

Когда кончили петь, гусарский адъютант тихо сказал:

— Я вот что думаю. Если убьют этих людей, вот всех этих, верующих в Бога, преданных Государю и Родине, что тогда будет с Россией? Когда одна дрянь-то останется. Я бы этих поберег, а вот из тюрем каторжан, да вот ссыльных-то этих, Родины не признающих, — в первую голову. Пусть их истребляют. И сами на них зубы поломают, да и нам, кроме хорошего, ничего не сделают. А то, чует мое сердце, что нас перебьют, покалечат, изломают, а когда надо будет — полезет всякая мразь... Ах! нехорошая это штука война!

— Да, что вы, Иван Николаевич, такое всё думаете, — сказал Кумсков, адъютант Донского полка.

— Не знаю почему, — но чувствую, что меня завтра убьют. В первый день войны. И мать мне днем сегодня снилась. Всё крестила и благословляла меня! — сказала гусар, порывисто встал и пошел с балкона.

Ночь окончательно поглотила предметный мир. Лошади перестали жевать, редко вздыхали и тяжело и грузно ложились на песок.

— Ты, чего, сволочь, чужую протирку взял? А? Ирод проклятый! Я тебе морду-то начищу, анафема!..., слышалось из-за конюшен.

Австрийская земля тонула в темноте и казалась таинственной, страшной, непереступимой.

XIX.

В четыре часа утра дивизия построилась в резервном порядке на песчаном поле возле шоссе. В Донском полку, по приказу Карпова, сняли чахол и развернули знамя. Солнце еще не встало, но было светло и тепло.

Полк Карпова назначили в авангард. Карпов послал первую сотню вперед и теперь стоял, дожидаясь когда она отойдет на версту.

— Ну, с Богом, вперед! — сказал он и попустил рвавшегося Сарданалы.

Шоссе до самой границы, бывшей в четырех верстах, шло густым сосновым лесом. Пахло хвоей, мохом и грибами. Впереди, в двухстах шагах, ехали два казака цепочки связи, дальше еще два и там, где шоссе шло прямо, эти звенья, всё уменьшаясь, уходили далеко и видна была маленькая колонна головной сотни.

Перешли границу. Посмотрели на столб с чугунной доской и выпуклым на ней австрийским орлом, с надписью черными буквами „Oesterreichisches Reich“*), спустились вниз и вышли в поля. Вправо, по жнивью, были разбросаны скирды недавно сжатого хлеба, который не успели еще увезти, влево тянулись низкие овсы. Утреннее солнце косыми лучами светило на них и отбрасывало длинные тени от казаков. Вправо, далеко в полях, то появлялась, то скрывалась между скирдами маленькая группа всадников. Шла правая застава, — дальше, совсем далеко, была видна высокая пыль — там шла первая бригада.

— Правую заставу вижу, — сказал Карпов, — а где левая?

— И левая была, — сказал Кумсков. — Я сейчас дозоры видал. Да вот они. Видите по хребтику маячат.

— Хорошо идут. Заставу ведет логом, только дозоры обнаружил.

— Это вероятно Коньков там.

— Да, надо полагать, он...

Ехавшие впереди казаки остановились. Вся цепочка стояла.

— Чего стали? — крикнул Карпов и вопрос его стал передаваться от звена к звену.

— Стреляют... ают... стреляют... там, сказывают, стреляют... понеслось ответом по звеньям цепочки.

— Э, на войне всегда стреляют, — проворчал Карпов и, толкнувши своего коня шпорами, поскакал широким галопом вперед. Когда он выехал из перелеска, стали слышны редкие глухие удары далеких выстрелов. Первая сотня спустилась в балку и стояла, спешившись и ничего не предпри-

*) Австрийское государство.

нимая. Командир сотни, поднявшись из балки, где опять был лес, из-за дерева смотрел вперед.

То и дело с легким жужжанием пролетали пули. Иногда вдруг падала подбитая ветка и странным казалось ее падение.

— Ваше высокоблагородие, — крикнул Карпову фланговый урядник, — здесь нельзя на коне, убьют.

— Ерунда! — проворчал Карпов и верхом подъехал к Хоперскому.

— В чем дело, Алексей Петрович, — спросил он.

— И не разберу. Стреляют, а откуда не пойму, — отвечал, отрываясь от бинокля командир сотни.

Адъютант, уже соскочивший с лошади, смотрел в бинокль.

— Это из сторожки, — сказал он. — И там не более как два человека.

— Вы патрули послали? — спросил Карпов.

— Послал. Еще не вернулись.

— Высылайте цепи и айда-те вперед, через лес, ничего там страшного нет, — сказал Карпов.

Пули перестали свистать, стрельба затихла.

Из лесной заросли показался казак. Лицо его было красное, рубаха взмокла, воротник был расстегнут и красная, мокрая от пота шея выдавалась из ворота.

— Чего ты, Ларионов? — сказал Карпов.

— Там всего два человека ихней финансовой стражи было. Никого больше и не было. Мы стали было с Шумилиным подкрадаться, чтобы захватить их. А они убегли. Шумилин в сторожке остался, а я побег с донесением. Можно идти вперед.

Карпов приказал первой сотне идти лесом, спешившись, цепью, а сам поехал верхом по шоссе. Он доехал до сторожки пограничного поста. Адъютант и несколько казаков вошли в сторожку. На полу валялись прорезные обоймы от патронов, гильзы, недокурная трубка, старая записная книжка, платок. И на все эти столь обыденные, скучные и простые вещи смотрели с вниманием. Многие казаки брали их на па-

мать. Они были неприятельские и потому приобретали особое значение.

За сторожкой опять был лес, потом была небольшая прогалина, уставленная кладами свеженапиленных дров, затем начинался новый лес. В прогалине пахло сырым деревом, смолой и грибами. Едва вошли в нее, как с разных сторон засвистали пули и из леса стали раздаваться двойные выстрелы австрийских ружей и резкие сильные ответные удары наших винтовок. Карпов сразу увидел, что наших сил было слишком мало. На каждый наш выстрел отвечало десять австрийских.

— Георгий Петрович, — сказал он адъютанту, — скажите Тарарину и Трайлину, чтобы со своими сотнями на рысях шли сюда. Здесь у дровяных кладок пусть спешиваются и рассыпаются — пятая правее первой и четвертая левее. Надо выкурить из леса этих молодчиков.

— Патрули доносят, господин полковник, — сказал подходя Хоперсков, — что по опушке леса и в лесу рассыпано две роты австрийской пехоты, да еще две цепями подходят.

Ничего, справимся, — сказал Карпов и приказал следовавшему за ним сотнику Санееву, начальнику команды связи, тянуть телефон к начальнику дивизии.

XX.

Из леса галопом на большой серой лошади выскочил маленький седенький Тарарин.

— Слезайте! — крикнуло на него несколько голосов. Он недоуменно осмотрелся кругом, слез и пошел, ковыляя тонкими ногами, по вереску между пней срубленного леса к командирскому полку. Пули свистали часто. Иногда какая-нибудь вдруг неожиданно сильно ударяла в землю, или в дерево и заставляла вздрагивать стоявших близко людей.

Тарарин блаженно улыбался и казалось ничего не ображал.

— Что это такое, как поет? — сказал он, когда неприятельская пуля просвистала возле самого его уха и трудно было понять, представляется он дурачком, или действительно не понимает страшного значения этих звуков.

— Пули, — сердито, отрывисто сказал адъютант.

— А вот оно. Пули... Никогда не слышал, — и восторженная улыбка застыла на лице Тарарина. — Славно поют, — сказал он.

Он получил задачу от командира полка и пошел к подходящей на рысях сотне...

— Сотня, — закричал он, — готовься к пешему строю.

Его голос звучал торжественно и торжественность голоса передалась людям. Казаки проворно снимали с голов фуражки и крестились.

Цепи вошли в лес и стали продвигаться вперед. Карпов шел за ними, шагах в двадцати и покрикивал: вперед, вперед!

— Идем вперед, — слышал он бодрый голос Тарарина и видел его маленькую худощавую фигуру, сопровождаемую трубачем с сигнальной трубой на спине.

Огонь разгорался по всему лесу. Из цепей передавали, что еще две роты рассыпались правее и охватывают левый фланг четвертой сотни. Карпов вызвал третью, шестую и вторую сотни и рассыпал их влево. Весь полк был в бою. Карпов послал за пулеметами.

Из леса показались два казака. Они несли за плечи и за ноги раненого. Весь живот его был залит кровью и по кустам и песку они оставляли кровавый след.

— Чего носить-то, — сказал державший за ноги, — всё одно кончился.

Но раненый в это время мучительно застонал:

— Неси, неси, полно. До шоссе донесем, там линейку подать можно.

— Кого это? — спросил Карпов.

— Урядник Ермилов, — хрипло сказал раненый, открывая мутные страдающие глаза.

— Ничего, Ермилов, поправишься, — сказал Карпов, подходя к нему.

Раненый улыбнулся бледной улыбкой.

— Ку-ды-ж! — сказал он, — в живот ведь. Сам понимаю, как следует. Отцу, жене отпишите, ваше высокоблагородие, что, как следует... Нелицемерно.

— Поправишься, — сказал Карпов и отвернулся от раненого. — Несите, — сказал он казакам и пошел к цепям.

— Вперед, вперед! — сказал он, увидавши, что Тарарин прочно залег под кустом и не подается вперед.

— Идем вперед, — отвечал Тарарин, но в голосе его не было прежней бодрости. Он поднялся, однако, и пошел к опушке.

Лес обрывался здесь стеною и с опушки было видно песчаное поле, на котором возвышался точно нарочно насыпанный большой, высокий холм с отвесными скатами. Он был сильно занят австрийской пехотой. За ним в отдалении были видны красные крыши и зеленые сады местечка Белжец.

До холма было не более шестисот шагов, но идти нужно было по открытому полю. В бинокль было видно, что весь холм изрыт глубокими окопами. Оттуда и был сосредоточен огонь по казакам. Казаки отстреливались, укрываясь в кустах.

Карпов пошел назад на телефон доложить обстановку и просил начальника дивизии прислать хотя два орудия, чтобы продвинуться вперед и занять Белжец. Возвращаясь он встретил нескольких легко раненых. Они шли, опираясь на ружья, без провожатых. „Ничего“, — подумал он, — „всё идет хорошо“. Он дождался, пока не пришел к нему командир батареи. Командир батареи, молодой полковник Матвеев, с академическим значком на груди и неизменной сигарой в зубах, рассмотрел позицию и стал по телефону отдавать приказания об открытии огня.

— Вперед, вперед, — крикнул Карпов.

— Идем вперед, — отозвался уныло Тарарин и не тронулся с места. Лежала и цепь.

В это время за лесом ухнула пушка и сейчас же белый дымок вспыхнул над самым песчаным холмом. Неприятельский огонь стих на мгновение, затем снова загорелся беспорядочно частый.

Вперед, вперед, — крикнул Карпов.

— Идем вперед, — бодро отозвался Тарарин и пошел из лесу. За ним поднялась вся цепь и поле наполнилось людь-

ми, быстро идущими к холму. Белые дымки шрапнелей окутывали вершину холма. Подоспевшие пулеметы стучали часто.

Пули свистали и рыли песчаное поле. Карпов шел за своими людьми, не останавливаясь. Он увидел, как хорунжий Федосьев, кумир Заболотских гимназисток, красивый юноша, лучший танцор и гимнаст в полку, вдруг выскочил вперед и с криком ура! побежал на гору. За ним побежали казаки.

Громадный австриец в серо-синем мундире, в шако, с тяжелым ранцем за плечами встал во весь рост на краю холма и направил штык на Федосьева. Федосьев схватил винтовку у него из рук и ловким движением вырвал ее от великана, потом перевернул прикладом, обитым медью вперед и могучим ударом раскроил череп австрийцу. Черная кровь залила ставшее белым лицо, австриец опрокинулся назад и упал в окоп. Федосьев вдруг отбросил австрийскую винтовку, и, опускаясь на край холма, закрыл лицо руками и заплакал, как женщина, истеречно всхлипывая.

Но никто не обратил на него внимания. Казаки стремительно бежали в окопы, раздавались удары прикладов, редкие выстрелы, австрийский офицер поднялся сзади, крикнул что-то бегущим солдатам, вложил револьвер себе в рот и застрелился.

Весь полк Карпова длинною цепью подавался за убегающими австрийцами и входил в местечко Белец; правее двигались гусары.

XXI.

Чистенький маленький город как бы вымер. Пустые стояли виллы, окруженные садами с железными решетками на каменном фундаменте. Из садов яблони и груши свешивали свои ветви, отягченные плодами, пестрые цветы цвели в грядках. Шоссе вилось между домами и уходило в улицы. В домах никого не было. Наконец, где-то в подвале, разыскали старика еврея с длинною седою бородою, в черном сюртуке ниже колен и потащили для допроса к Карпову. Но старик мало что знал. По его словам здесь утром высадился

один батальон австрийской пехоты, хотели подавать второй, но в это время загрела артиллерия и всё побежало из города. Рассказ походил на правду. Старика отпустили. Станция была пуста.

— Смотрите, — крикнул адъютант Карпову, высовываясь из окна станционного дома. — Как поспешно они бежали. Хотите закусить? Завтрак готов.

Карпов зашел на квартиру начальника станции. Он был знаком с ним. Он не раз приезжал сюда из Заболотья пить австрийское пиво. Начальник станции, немец, всего полгода, как женился на белокурой чистенькой немочке и они любили рассказывать Карпову, что они выписали себе для хозяйства из Вены. На кухне, в плите, ярко горели дрова. На сковородке были уже готовы четыре котлеты, яичница пригорала. Закипевшее молоко вылилось на плиту и испарялось. Кошка с комода испуганно смотрела на вошедших. Рядом, в столовой, был накрыт стол, дальше была спальня. Две рядом стоявшие постели были неприбраны, по всей спальне были разбросаны вещи. Валялась на постели соломенная шляпа с цветами. Корсет, юбка и ночная рубашка лежали на полу возле умывальника, тут же было форменное пальто и голубая фуражка с галунами. Видимо метались второпях, хватали одни вещи, бросали их, не зная, что взять, обменивались словами ужаса и отчаяния, брали не то, что нужно.

Карпову было тяжело смотреть на это грозное разорение мирной жизни. Когда он видел умирающего Ермилова с животом, залитым кровью, когда видел австрийца с раскромсанным черепом, убитых казаков и солдат — его не корбило. На войне это было нормально. Он ждал этого. Но истерично плачущий на краю окопа Федосьев, погром этого чистого домика, интимная домашняя рухлядь, которую ворочали чужие люди, на которую смотрели глаза посторонних, это была та обратная сторона медали, о которой он как-то не думал.

Его размышление прервал Санеев. Он вошел в комнату и доложил:

— Прикажете взрывать? Шашки уже заложены.

Карпов даже не понял, что взрывать, так далек он был от мысли, что можно завершить этот погром еще и взрывом и окончательным уничтожением этого маленького невинного счастья.

— Да, — глухо сказал он, — взрывайте!

Он вышел из комнаты.

Глухой взрыв раздался по местечку. Огонь всеело заиграл в окнах, охватывая занавески и пожирая полы и мебель. На платформе горели громадные штабели шпал. Там и там загорались дома. Казаки бегали с пучками соломы по местечку, и дома и сараи занимались огнем.

Карпов приказал трубить сбор. Его полк вместе с гусарами шел дальше, уничтожать и рвать железнодорожный мост у станции Любичи, чтобы помешать подвозу войск к границе.

Было уже три часа пополудни, когда Карпов, взорвавши мост и предавши огню местечко Любичи, шел к Раве Русской, где, по сведениям, собиралась австрийская пехота в больших силах. Люди и лошади, бывшие с четырех часов утра на походе, без еды и корма, устали и лениво подвигались вперед. В это время Карпова нагнал гусарский офицер от начальника дивизии с приказанием возвращаться обратно в Томашов. Начальник дивизии считал свою задачу исполненной и боялся далеко зарываться.

Карпов собрал полк и повернул его назад.

Он ехал сзади батареи. На том месте, где было прекрасное местечко бушевало пламя. Многие дома уже догорели и, вместо красивых вилл, торчали закоптелые трубы и разрушенные темные стены. Ему бросилась в глаза нелепо стоявшая посреди сада почерневшая железная кровать со скрюченными от жары пружинами. Решетки заборов прихотливо изогнулись и были красны от жара. Деревья стояли обугленные, без листьев и плодов.

Через местечко шли рысью, опасаясь задохнуться и загореться. Впереди Карпова гроыхала батарея. Вдруг у зарядного ящика загорелось колесо. Сначала пошли по краске белые дымки потом показалось пламя.

— Стой, стой! — раздались взволнованные крики.

— Взорвет!

Ездовые растерянно оглядывались. Батарейная прислуга и проходившие мимо казаки сотен скакали в карьер. Паника начинала охватывать людей. Карпов и Матвеев остановились. Откуда-то сзади появился широкоплечий могучий солдат с рыжей бородой, он катил перед собою запасное колесо.

Пламя бушевало кругом. Лошади в передке пугливо бились, колесо горело. Бородач деловито поплевал на руки, вынул чеку и снявши горевшее колесо, подпер могучим плечом ящик и надел новое.

— Ай-да, ребята, — крикнул он ездовым. — Ничего, не взорвет!

— Да, — попыхивая неизменной сигарой, сказал Матвеев, — у нас есть люди.

— А могло взорвать? — спросил Карпов.

— Ну, конечно.

— А что тогда?

— Да побило бы прислугу, лошадей. Нас бы с вами зацепило.

— Значит, ваш солдат совершил геройский подвиг.

— Да, если хотите, невозмутимо сказал Матвеев. А что такое геройство?

XXII.

Наступила ночь. Но она не была такая трепетно ждущая, полная томления, тихая и темная, как прошлая ночь.

Когда Карпов с Матвеевым и фон Вебер вышли на балкон того же дома, где были накануне, перед ними открылось бесконечное зарево. Небо, сколько хватал глаз, было красное. Горели города и местечки, горели леса и хлеб в скирдах. Эти багряные факелы с беспомощною ясностью говорили о пришедшей войне.

Зарево бросало красный отблеск на леса и темнота внизу казалась глубже и страшнее.

— Вся Австрия в огне, — сказал Матвеев. — У вас как, — обратился он к гусару, — есть потери?

— Адъютанта убили, — отрывисто сказал фон Вебер.

— Где? — спросил Карпов, — ведь ваш полк в бою не участвовал.

— А вот подите вы! Шли лесом, знаете, уже за Белжецем. Вдруг из леса несколько выстрелов. Пульки засвистали. Начальник дивизии с нами ехал. Заволновался. Это, говорит, что такое? Пошлите узнать. Адъютант рванулся в лес, верхом, за ним ординарцы. Скоро всё стихло. Привели пленных. Двое мальчишек. Знаете **польские соколы** они себя называют. Залегли в лесу и стреляли. Адъютанта наповал в лесу свалили. Прямо в сердце. Царство ему небесное.

— Хороший, кажется, был человек, — сказал Матвеев.

— Очень. Семейный. Не пьющий. Золотой человек. Музыкант. На скрипке играл. И так глупо. Польские соколы. Мальчишки. Их драть нужно.

Внизу копошились люди. Опять, как вчера, жевали овес лошади и тяжело вздыхали, точно думали о своей печальной доле, опять огнями сверкали кухни, слышен был звон котелков и запах щей и каши и весело гомонили казаки. И перекличка была, как вчера, и так же величавоплыли над лесами Русский гимн и молитва.

В дровяном сарае, при свете тусклой свечи, два казака, длинный и худой Антонов и небольшой чернобородый Золотовсков, из тонких сосновых досок мастерили гроб. Покойник, накрытый с головою окровавленной шинелью, лежал тут же и видны были его ноги, обутые в хорошие сапоги. Это был тот самый Ермилов, которого несли мимо Карпова.

К ним зашел тоже их же одностаничник, черноусый бравый казак Шаповалов.

— Бог в помощь, — сказал он, и присел на обрубок дерева.

— Спасибо, — отвечал Золотовсков, сильной рукою отрывая недопиленную доску.

— Жилище, значит, ему мастерите. Хороший урядник был. Ни ругаться, или так обидеть кого, никогда за ним не водилось. А вот помер и никому не нужен. Он что же, с вашего хутора?

— Однохуторец, — отвечал Золотовсков. — С Кошкина мы все трое. Изо всей станицы что ни на есть самый бедный

хутор, а Ермилов со всего хутора беднеющий, значит, казак. Жена у него, трое детей малых, а хозяйство всего ничего. По миру семья-то теперь пойдет.

— Так, — сказал Шаповалов. — А конь у него лучший в сотне был и сапоги, ишь справные какие.

— Коня покупал ему отец. Три пары волов продали, как коня покупали. С того и разорение пошло, с коня этого самого. Шестьсот рублей за него помещику Ефремову отдали. Вот как.

— Что же так? — спросил Шаповалов.

— Гордые они вишь очень. Дед у них хорунжим в 12 году был. С крестами и регалиями, ну вот с того и пошло, что ему надо дослужиться до хорунжия. Вот и коня — разорились, а купили.

— Так.

— А куда коня позадевали?

— Сотенный взял.

— А по какому праву?

— Да он правое и не спрашивал. Призвал вахмистра и сказал: — мой конь, а я там с наследниками рассчитаюсь.

— Да как же это так? Надо же по закону, — сказал Золотовсков.

— По закону? Ты видал ли где этот закон? Да и опять, по закону — с аукциона продавать надо. Кто теперь купит? Видал каких коней гусары из-за границы пригнали? Тут и вся-то цена коню колесечка. Всё равно за ним же и останётся.

— А домой послать! С дома-то пишут коней не хватат, по тысяче и больше платят. Да и в хозяйстве такой конь капитал не малый. Всё вдова бы заработала на ём.

— Чудно, — сказал Шаповалов. — Взяли и всё тут.

Он вдруг сел перед покойником и стал снимать с него сапоги.

Ты что же это, друг, — строго сказал Антонов.

— Да на что ему, мертвому, сапоги? У него добрые, а у меня, вишь прохудились.

— Это его дело. А только мы не позволим.

— Ладно. Ишь захолодал как. Давно скончался, что ли?

— Да ты что! очумел что ли? Ты это всерьёз?

— Ну как же. Что я зря мараться что ль буду. На что ему?

— А вдове послать.

— За мной не пропадет. Я вдову знаю. Ублажу, — сказал Шаповалов и стал скручивать папиросу.

— Ты что же сдурел окончательно, — сказал Антонов, — курить еще при нем будешь.

— Да ему что! Разве почувствует.

— Уходи вон, — строго сказал Антонов. — Я сотенно-му скажу на тебя.

— Говори, брат. У него тоже рыло-то в пуху, как коня забрал. И то пойтить что ль, а? — сказал Шаповалов, отворяя дверь. — Ух да и ночь, братцы, хорошая.

И он скрылся за дверью.

— Ведь унес таки сапоги-то, — сказал Золотовсков. — Мертвого обокрал, аспид.

— Унес. Ну да ему это так даром не пройдет.

Антонов встал и начал прилаживать доски.

— Ну что, Вася, сколачивать что ли будем. Не затейливый гроб вышел, а все-таки гроб.

— Я так думаю, друг, надоть нам ночку посидеть и крест смастерить хороший, осьмиконечный из цельной сосны, а писаря попросим, значит, дощечку написать, кто и при каких геройских обстоятельствах и где, значит, убит. Может быть, когда вдова, или дети разбогатеют, тело, значит, разыщут и оправят на родной погост. А, друг?

— Ну-к что ж! Посидим и ночку. Вот гроб сколотим и пойдем за лесом. Он, Ермилов-то, чувствует, какую мы заботу об нем имеем. Ах и Шаповалов, Шаповалов! Ну, народ пошел, самой жулик. Ему и то, что он покойника, zde лежащего, избидел и обокрал, ему ничего. Никакого уважения.

— Да что Шаповалов. Шаповалов на всю их станицу славу худую имеет. А сотенный с конем? Ты как понимаешь? Красиво это или нет?

Золотовсков сокрушенно покачал головой, достал гвозди и подойдя к Антонову стал забивать доски. Мерный тяжелый стук молотка разбудил ночную тишину и далеко разнесся по лесной прогалине.

— Что там? — спросил спросонья Карпов.

— Это, господин полковник, гроб Ермилову сколачивают, — ответил не спавший Кумсков.

— Один он умер?

— Один. Ничего дело. Убитый у нас один, да раненых двадцать шесть. Все и потери. Вы пойдете завтра на похороны?

— Пойду непременно. В котором часу?

— Ермилова в семь часов, а гусарского адъютанта в девять.

— Хорошо. Вы что же не спите?

— Расход патронов подсчитываю, да еще реляцию маленькую составить надо, — отвечал Кумсков.

— Надо бы наградные листы хоть завтра подготовить. Хорунжий Федосьев, видали, первым ворвался на укрепленную позицию неприятеля — статутное дело.

— А вы знаете, что с Федосьевым? Его уже в лазарет отправили. Нервы разыгрались. Вот вам и герой. Как такого представить?

— Однако, по закону.

— Как прикажете, сказал Кумсков. Но Карпов не отвечал.

XXIII.

Четвертая сотня Донского полка на заставах. Вахмистр, подхорунжий Попов, со взводом в двадцать шесть человек, занимает заставу у деревни Рабинувки. Вся деревня три хаты, да два сарая. Подле хат на песке жалкие вишневые садочки. Восемнадцать казаков спешены и сидят возле покинутых жителями маленьких халупок деревни, восемь, внизу, за картофельными огородами и сараями держат лошадей.

Ночь тепла и тиха. Запад пылает пожарными огнями. Над головами тёмным шатром раскинулось синее небо. Сильно вызвездило и поздняя луна не умеряет осеннего блеска звезд. Млечный путь широкою парчевою дорогою разлился на полнеба и переливается искристым, зыбким сиянием. Каждые полчаса два казака уходят в патруль к темному лесу, а двое других возвращаются из леса. До леса верста. В сумраке ночи леса не видно, но темная полоса его чудится

сейчас же за деревней. Патрульные идут то в одну, то в другую сторону и на полпути, в поле, встречаются.

Вахмистр Попов смотрит на часы, стараясь при свете луны разобрать стрелки циферблата, и думает свои думы. Думы двойкого свойства и одни перебирают другие. Одни печальные. Из Заболотья отправлена на Дон семья. Семья эта нежеланная там. Попов женился давно, на местной польке, и родители не дали благословения на брак. Он остался на сверхсрочную службу. Теперь сын и дочь у него в гимназии. Свое счастье, бедное и убогое, начинало налаживаться, а тут война. Семью приказали отправить на Дон. Как-то ее там примут? Другие мысли о себе. О том, что можно отличиться, получить производство в офицеры, сделать карьеру. Маленький взвод его и участок в полверсты, который он охраняет, рисуются ему чрезвычайно важными и он вспоминает все свои обязанности, как начальника заставы. У него при себе полевой устав; рассветет — он его подчитает.

— Талдыкин и Ажогин в дозор! — говорит он.

Два казака, лежащих за домом, поднимаются, поязгиваются, шумно зевают, оправляют ремни амуниции, берут прислоненные к дому винтовки и идут к вахмистру.

— Талдыкин за старшего, — говорит Попов. — Обязанности помните. Пропуск — берданка, отзыв — Белжец. Отзыва помни, никому не говори, а сам спрашивай, коли пропуск сказал и не уверился, что свои. Ну, с Богом!

Талдыкин и Ажогин идут по дороге мимо дома, сворачивают на полевую дорогу и спускаются в балку. В балке туман лежит гуще и кажется теплее. Пахнет зрелым сжатым хлебом. Но этот запах сейчас же сменяется запахом клевера. Дорога идет мимо клеверного поля. Ночная птица вспорхнула из-под самых ног и оба вздрогнули. Когда они поднялись из балки, на верху показалось светлее. В серебристом мареве озаренного луною тумана стала намечаться темная полоса леса. Сырость плотнее окутала их и стала каплями оседать на шинели. В темноте четко замаячили две фигуры и казалось, что они шли очень быстро и качались из стороны в сторону.

— Свои? — крикнул Талдыкин.

— Свои, свои, — растерянно и испуганно отвечали из сумрака ночи.

— Акимцев, что ль?

— Я.

Казачи сошлись. В темноте ночи и тем и другим встреча была приятна, они остановились и закурили папироски.

— Ну что? — спросил Талдыкин.

— Ничего, — отвечал Акимцев. — Тихо. Его не видать. До самой границы доходили, на дороге лежали, слушали. Гудет, а что гудет не поймешь. То ли пожар гудет, то ли что другое. Ну только, — ни пешего ни конного не видать. Далеко слышно: собаки брешут. А с чего, не пойму никак.

— Так. Здря. Мало ли, что ей, собаке, приснилось. Опять же пожар, днем бой был, ну и растревожилась.

— Да. Пожалуй и так. Ну, — бывайте здоровеньки,

Талдыкин и Ажогин опять одни. Они входят в лес. Густой спиртовой запах можжевельника, сосны и моха крепко охватывает их. Так темно, что если встретится человек, так и столкнутся с ним, а не увидят. Идут с остановками. Пройдут шагов двадцать и долго слушают. Кажется слышно, как колотится сердце в груди, как лесная мышь перебегает дорогу, или скачет потревоженная белка. Но в лесу тихо. Когда выходят на опушку, в полях кажется светло. Пожары уже не заливают заревом неба, но лишь багровеют пятнами там, где еще горят уголья домов и местечек. Небо на западе стало серовато синим и звезды погасли. Туман поднимается кверху. Погода обещает быть пасмурной. Казачи выходят на большой шлях, идущий на Звержинец. Здесь сейчас и граница.

— Должно четвертый час уже, — говорит, зевая, Ажогин. — Светать начинает.

Прямая дорога идет полями. Она вся серая и тонет в тумане. Но и сквозь туман видно, что вся она во всю ширину занята каким-то темным предметом. Неясный шорох несется оттуда, мерный, ровный, будто кто-то громадный что-то жует.

— Глянь-ка Ажогин, что там такое?

Они стали посредине и смотрели вдаль.

— Кубыть колонна, — сказал Ажогин.

— Бо-ольшая, — сказал Талдыкин. — Не иначе, как он наступает.

— Пойдти доложить, — спросил Акимцев, которого потянуло к своим и которому своя застава показалась надежным оплотом и домом.

— Погоди. Чего зря будоражить. Опять посмотреть надо. А ну как наши.

— Наши? Оттуда?

— А что? Почем знать? Сосчитать надо.

Они стояли минут пять с бледными взволнованными лицами. Временами им казалось, что они слышат шаги справа, сзади, они пугливо озирались, хватали друг друга за руки, тяжело вздыхали.

— Ты слышал?

— Ничего, ветка упала.

Рассвет надвигался быстро, шорох становился слышнее и темная масса отчетливее.

— Он, — прошептал Талдыкин. — Видишь синеют, и горбатые. В рванцах.

— Ух! Много!

— С полк будет. Сзади кавалерия.

Небо бледнело. Последние звезды угасли. Теперь уже ясно была видна колонна австрийской пехоты, шедшая прямо к границе. Три эскадрона конницы ее сопровождали. Не доходя с версту до опушки леса, австрийцы остановились. видно было, как люди сели на дорогу, засветились огоньки папирос.

— Привал делают, — сказал Акимцев.

От колонны отделились одиночные люди и жидкою цепью быстро пошли к лесу.

— Ну, Акимцев, беги, друг, к Попову, доложи, как оно есть, а я останусь, наблюдать буду. Куда они пойдут — на Звержинец, или на Томашов. Понял, что сказать?

— Понимаю.

XXIV.

Застава изготовилась к бою. Вахмистр Попов сел на лошадь и галопом проскакал вперед, чтобы лично убедиться в том, что Акимцев не врет. Он не доскакал и до опушки, как увидал Талдыкина, приготовившегося к стрельбе. По лесу в разных местах раздались выстрелы и попасть на опушку уже было нельзя. Попов вернулся на заставу и послал письменное донесение в штаб полка.

Застава его лежала по гребню, впереди домов Рабинувки. Шестнадцать человек растянулись почти на 300 шагов и зорко смотрели вперед.

В лесу раздавались частые беспорядочные выстрелы. Австрийцы перестреливались с Талдыкиным. Казакам с их места было видно, как Талдыкин проворно перебегал от дерева к дереву вдоль по опушке и стрелял то с одного, то с другого места, обманывая тем австрийцев. Но австрийцы все-таки подавались вперед. Выстрелы становились громче и иногда над головами казаков с жалобным пением пролетала далекая пуля.

Талдыкин дошел до дороги, врывшейся в холмы и по ней бегом пустился к своей заставе.

— Смотри, братцы, дуrom не стрелять. Пали, когда под мишень подведешь, — говорил Попов, обходя низом бугра своих казаков, согнувшись так, чтобы из-за бугра его не было видно.

— Не подгадим, господин вахмистр. Целую его армию остановим, — говорили казаки.

Талдыкинская стрельба прекратилась, замолкли выстрелы австрийцев.

Попов с волнением ожидал, что будет. Каждая минута промедления была ему дорога, каждая приближала помощь резервов, потому что он был уверен, что Карпов не замедлит придти на помощь. Об отступлении он не думал, хотя насчитал тридцат винтовок против Талдыкина, да сколько еще и не стреляло.

Утро наступило хмурое. Не то мелкий дождь моросил, не то снова садился туман. В небе клубились темные тучи.

Попов осмотрел свои фланги. И справа и слева к нему подходили леса. Там стояли другие взводы их сотни, но удержат ли они?

— Господин вахмистр! — услышал он негромкий крик слева. — Можно?

Попов посмотрел туда. На опушке леса среди зелени молодых елок четко показались три австрийца. Серо-синие шинели, высокие кепи, ранцы за плечами были ясно видны на темном фоне лесной опушки.

Попов кивнул головой. Охотничья жажда охватила его, он схватил винтовку и пополз на фланг.

— Погоди, братцы, только не спугни раньше времени. Давай и я пальну, по мишеням не мазал, ужели теперь пропуделяю.

Три выстрела раздались почти одновременно на фланге. Стрелял Попов и два крайних казака. Один из австрийцев осел и остался синеватым пятном среди молодых елок, два других исчезли.

— Попали, господин вахмистр. — Одного побили.

— Эх, а вы чего же промазали.

— Кубыть и верно прицел взял...

— Да чудной, стрелял-то поди с постоянным.

Ах ты! И то правда. Экая напасть.

— Станови на тысячу двести, так верно будет.

— Понимаю.

В то же мгновение весь лес огласился частой и сильной ружейной трескотней. Пули стали непрерывно свистать, выть и шелкать кругом Рабинувки. Казаки отвечали редким огнем. Стрелять было не по чему, австрийцы не были видны в густой чаще леса. Били по опушке, но сами сознавали, что эта стрельба была бесполезная. Молодой Пастухов вдруг уронил винтовку, дрыгнул ногами, перевернулся и затих с побелевшим лицом.

— Пастухова убило, отгащить бы надо, — прошептали соседи, но уже страшно было вставать.

— Пастухова убили, — пронеслось по цепи.

Вахмистр Попов поднялся, чтобы посмотреть что там,

но в ту же минуту острая боль пронизала его ногу ниже колена и он упал на землю и покатился к халупам.

— Ой, братцы, ногу перебило, кажись, совсем, — стонал он, — отнесите куда-нибудь, перевязаться бы.

Два казака отползли назад и взялись за Попова. В это время, сзади, из леса, показался пешком командир полка. Он оставил адъютанта, ординарцев и трубачей в лесу и сам, не сгибаясь под пулями, смело шел к Рабинувке.

— Командир полка! — пронеслось по заставе и минутное колебание и желание уйти с этого проклятого места, где на сотни винтовок австрийцев отвечало только десять, сменилось спокойною уверенностью, что мы отстоим и этого места не покинем.

Разорванные тучи обнажили клочок голубого неба. Он стал шириться и расти, дождь перестал и солнце заблестало брильянтами дождевой капли. В низинах трава казалась белой от воды, лес смотрел яркий, точно вымытый. Дали ширились. Было восемь часов утра и день наступал, солнечный и веселый.

Карпов, как только получил донесение, поднял дежурную сотню и приказал ей рысью идти к Рабинувке, начальнику связи приказал тянуть туда же телефон, а сам с адъютантом и ординарцами, обгоняя третью сотню полевым галопом, поскакал к заставе. Какое-то чутье подсказало ему, что вахмистр Попов и командир сотни Трайлин не зря написали, что неприятель действительно наступает.

Он стоял теперь над казаками в рост и не обращая внимания на часто посвистывавшие и чмокавшие подле пули, смотрел в бинокль на лес. То, что он видел в лесу и за лесом, его далеко не радовало, но он говорил громко:

— Великолепно! великолепно! Я так и знал. Ну, голубчики, сейчас вам третья пропишет. Продержись, молодцы, еще несколько минут — третья подходит, — сказал он и стал спускаться в лощину.

— Постараемся, ваше высокоблагородие. Не сдадим. Не извольте беспокоиться, — раздались голоса.

Карпов с трудом удерживался от желания нагнуться и побежать. Пули подгоняли его. Но он понимал, что в эти

минуты он всё, и от стойкости тех пятидесяти человек, занимавших все заставы, зависит, может быть, участь дивизии, беспечно расположившейся в Томашове. Там, — он знал это, отпевали его урядника Ермилова и готовились торжественно хоронить первого офицера, убитого в дивизии, гусарского адъютанта. Но то, что он увидал в свой бинокль, сильно его встревожило. Весь лес кишел людьми. За лесом, огибая правый фланг наших постов, двигалось большая колонна конницы; Карпов насчитал 10 эскадронов. Поле за лесом было серо от австрийской пехоты, там было не менее трех тысяч человек. Но артиллерии Карпов не видал и это его ободрило. Он понял, что это авангард большого отряда, пехотной дивизии, а та вероятно идет во главе корпуса и обязанность их дивизии задержать и прикрыть во что бы то ни стало Заболотье и Холм, чтобы дать собраться нашей пехоте. Каждый день задержки имел громадное значение.

На опушке леса он встретил третью сотню. Бесстрастным, спокойным голосом, как будто дело шло о простом маневре, он отдал ей приказание спешиться и идти, охватывая с фланга опушку леса. Ему было жаль каждого казака, каждого он любил, как сына, но понимал, что это нужно, и твердо и спокойно отдал приказ.

После этого он пошел отыскивать телефон.

XXV.

Маленький Санеев сам окликнул его, иначе Карпов прошел бы мимо.

— Господин полковник, вам телефон?

Санеев с двумя телефонистами лежал на опушке, в песчаной яме, поросшей вереском, подле громадной сосны, гордо выдвинувшейся из леса вперед.

— Телефон работает? — спросил Карпов.

— Сейчас отвечали.

— Давайте мне штаб дивизии.

Он не скоро добился, чтобы начальник дивизии подошел к телефону. Минуты казались ему часами, кровь колоти-

лась в виски, ноги дрожали от волнения. Наконец, он услышал старческий хриплый, недовольный голос.

— В чем дело? — спрашивал Лорберг.

Карпов доложил обстановку.

— Что же, отступить? — растерянно сказал Лорберг.

— Никоим образом, ваше превосходительство. Разрешите мне спешить весь полк, пришлите мне мои пулеметы и хотя одну батарею и мы их и близко не подпустим, пока не подойдет к ним артиллерия. Помните, что в Заболотье теперь хаос и, если пехота противника подойдет, — там будет каша.

— Знаю, знаю... Ну, хорошо. Я казаков ваших и седьмую батарею отдам вам, но гусары останутся при мне и первая бригада в Звержинце. Я ее тронуть не могу. Уланы вчера, один эскадрон, атаковали австрийцев, говорят, такой удар вышел, сошлись в рукопашную...

— Ну и что же? — спросил Карпов.

— Наши разбили. Всех порубили и покололи, но и сами потеряли. Из 110 человек, целыми только 60, и морально сильно потрясены. Так хорошо. Берите полк и батарею. Я подчиняю ее вам.

Карпов отдал приказания полку, а сам, взобравшись на сосну, жадно смотрел в бинокль. Он не спускал глаз с австрийской колонны, лежавшей на привале, он ждал известий справа о том, что будет делать та конница, которая ушла туда. Карпов понимал, что, пока отдыхает большая колонна, это еще не бой. К нему подходили сотни его полка и он затыкал ими дырки. Местами ему удалось потеснить австрийскую цепь и глубже загнать ее в лес. Перестрелка, то совершенно затихала, то вспыхивала с новой силою.

Австрийские разведчики донесли, что против них только жидкие казачьи аванпосты и начальник австрийского отряда не торопился.

Шел одиннадцатый час, когда Иван Иванович Матвеев, в сопровождении артиллеристов, разведчиков и телефонистов, подъехал к дереву, на которое ему указали казаки Карпова.

— Что батарея? — спросил его Павел Николаевич.

— Батарея становится. А у вас что?

— Да вот, поглядите.

Матвеев забрался на дерево, примостил свою большую рогатую трубу, прочно привязал ее ремнями, закурил сигару и попыхивая ею, щеголяя медлительностью своих движений, стал разглядывать расстилавшуюся перед ним местность.

— Экая жалость! — далеко. Не хватит! — сказал он между клубами сизого дыма сигары.

— Они подойдут, — сказал Карпов.

— Несомненно.

Взявши трубку телефона, Матвеев стал передавать команды старшему офицеру.

— Подождем, — сказал он.

Около полудня отряд австрийской пехоты поднялся. Это был 2-ой пехотный полк, краса австрийской армии, занимавший гарнизоном Вену. Два дня тому назад, под звуки музыки, сопровождаемый лучшими пожеланиями венцев, он погрузился в вагоны, вчера ночью, при зареве пожаров, высадился в Раве-Русской, всю ночь шел походом и теперь готовился раздавить казачьи заставы и занять Томашов, где ему была назначена ночевка.

В большую артиллерийскую трубу была видна длинная колонна австрийской пехоты. Отчетливо рисовались новые голубовато-серые мундиры, тяжелые ранцы, шако. Иван Иванович видел конных командиров полка и батальонов, маленькие фигуры, точно оловянные солдаты, шевелились, тянулись и занимали всё полотно дороги. Шли долгие минуты, и в бинокль колонна становилась отчетливее и яснее.

Ага! ага! — вырвалось у Матвеева и он на минуту отложил свою сигару. — Посмотрите-ка, Павел Николаевич.

Карпов нагнулся к трубе. До колонны оставалось немного больше трех верст. Она медленно входила в углубленную дорогу, вившуюся по расщелине между двух больших холмов. Щеки этих холмов были так круты, что по ним трудно было взбираться. Карпов видел, как, нагнувшись и хватаясь руками за траву, ползли наверх одиночные люди, дозоры, и в бинокль казалось, что это не люди, а маленькие, неприятные насекомые. В ущелье, заполняя всю дорогу, входила колонна. Карпов видел блеск ружей, ему казалось, что он раз-

личает отдельные лица, угадывает офицеров среди солдат.

Когда он оторвался от бинокля и посмотрел на Матвеева, он увидел на его лице ликование и он понял его. В Матвееве заговорила радость профессионала и лучшего артиллериста в корлусе.

— Вы начнете сейчас? — спросил Карпов и почувствовал, как дрожь волнения охватила его.

Нет. Подожду, пока все войдут. Я всех там и прикончу, — сказал Матвеев.

Сигара потухала у него в руке, серые глаза были устремлены мечтательно вдаль. Матвеев предвкушал удовольствие перебить и уничтожить всех этих маленьких, аккуратно одетых австрийцев. Карпов знал, что Матвеев был отличный семьянин, что у него была молодая, хорошенькая жена, двое детей, что жена его любила наряжаться и по вечерам каталась с мужем по Заболотью в прекрасной батарейной коляске, запряженной парой белых лошадей в шорах, с короткими хвостами и гривой ершиком. Матвеевы были счастливой парой, и Иван Иванович считался в Заболотье образованным, культурным и добрым человеком. Он был верующий христианин, верный муж, любящий отец, отличный, честный офицер. Все знали, что Матвеев враг ссор и мухи не обидит. Солдаты души в нем не чаяли и считали его хорошим, душевным баринном. И теперь, не злоба, не кровожадность, не ненависть к австрийцам были в его серых глазах, неподвижно устремленных на колонну, уже видную простым глазом, но только радость артиллериста, увидавшего хорошую цель и уверенного в том, что он поразит ее, с первого же выстрела. Сбывалось то, о чем мечтал Матвеев мальчиком кадетом, читая, как Тушин крушил французов в „Войне и мире” Толстого и мечтал быть таким, как Тушин. Сбывалось то, о чём он думал юношей, юнкером Михайловского Артиллерийского училища, стоя под дождем в накинутаой на плечи шинели, на Красносельском полигоне, исполнялось то, что высчитывал и доказывал он, решая задачи в Артиллерийской школе.

Сейчас он докажет всем своим друзьям по дивизии, что ныне артиллерия — царица полей сражения и ей дано играть решающую роль. Сейчас его имя и имя его лихой N-ской

конной батареи будут навсегда занесены в летописи истории артиллерии.

Он еще раз посмотрел в бинокль. Вся колонна, протяжением около версты, вошла в тесницу. Последние серые кухни и тяжелые патронные ящики въезжали в нее.

Он приложил ко рту трубу телефона.

— Капитан Кануков, — сказал он, — прицелы взяты? Угломер проверен?

Ответ удовлетворил его.

— Так — сказал он, потянулся в сладостной истоме, зажмурил глаза, пыхнул потухающей сигарой и медленно, отдельно, почти нежно, сказал:

— Прицел 95, трубка 94. Один патрон. Первым взводом.

Он начинал пристрелку и заранее знал, что она не нужна. Его офицер переживал такие же минуты вдохновенного волнения и счастья. Вся прислуга батареи, ничего не выдававшая, потому что стояла за хоймами и лесом, понимала по смыслу команд, что готовится что-то особенное и работала, как наэлектризованная. Люди безошибочно исполняли все приемы, ставили дистанционные трубки на соответствующие деления, открывали и закрывали затворы, всё делалось с поразительной быстротой.

Бах, бах!.. Глухо ударило два выстрела сзади леса и два снаряда со скрежетом пролетели левее дерева, над казачьими цепями, и в то же мгновение два белых дымка появились впереди и несколько правее колонны.

Матвеев самодовольно улыбнулся. Он знал что он не ошибся. Он повторил в телефон команду.

— Очередь! три патрона! — сказал он и мечтательно улыбнулся. Казалось, он слышал беготню на батарее, звон отворяемых затворов, видел номерных с блестящими медными патронами бегущих от передков к орудиям, видел нагнувшегося наводчика, готового откинуться в сторону. Улыбка показалась на его устах. Он был счастлив сознанием, что он командир такой батареи!

— Беглый огонь! — сказал он в трубку и прильнул к биноклю.

Стая белых дымков покрыла колонну. Упал с лошади командир полка. Стройная, сверкающая ружьями колонна обратилась в кашу, люди стали метаться куда попало, пробовали лезть по скатам холмов. Но белые дымки снова разорвались над ними и многие люди остались лежать на скатах. Им был еще один путь -- вперед, но их неудержимо тянуло назад и в стороны и они падали под ударами рвущихся над ними шрапнелей.

— Я думаю, — сказал Матвеев, — что ни одна пуля не пропадает зря. Я считаю, что уже положено более восьмисот человек.

Он затянулся еще раз сигарой, бросил окурок, потер самодовольно руки.

— Вы можете убирать свои цепи, — сказал он Карпову. — Они бегут.

И, нагнувшись к телефону, он проговорил сладострастным шопотом:

— Беглый огонь!..

XXVI.

Весь вечер и всю ночь казаки и гусары собирали оружие и вывозили раненых из дефиле.

2-й австрийский полк был уничтожен. Наступление австрийцев остановилось, и пехота в Заболотье спокойно закончила мобилизацию и стала отходить к Комарову. Там собрался армейский корпус.

Пять дней простояли казаки и гусары в окрестностях Томашова. Каждый день у них были стычки, то с конницей, то с пехотой. Противник усиливался против них. Вся армия Ауфенберга, наконец, обрушилась на N-скую кавалерийскую дивизию и она начала отходить.

Карпов с донцами прикрыл ее. Он вспомнил уроки истории, бессмертную Платовскую лаву, которою Платов сокрушал французов, и он применил ее теперь, в век пулеметов, скорострельных пушек и аэропланов. Семь суток почти не расседливали, семь суток не спали и толком не ели, но за-

то и армия Ауфенберга подавалась эти семь суток, едва делая по восьми верст в сутки. Было, как при Платове.

Они лишь к лесу — ожил лес,
Деревья мечут стрелы,
Они лишь к мосту — мост исчез,
Лишь к селам — пышут села.

Жаркий июльский полдень. Сотня Траилина спешившись и залегла по опушке леса. Казак лежит от казака далеко, шагов на тридцать. Два взвода в лесу, два взвода в версте вправо у фольварка Чертовчик. Там же и толстый Ильин с пулеметами. Верстах в двух показывается австрийский эскадрон на вороных лошадях. Четыре белые лошади четко рисуются в его рядах. Он долго стоит во взводной колонне, как бы приглашая казаков атаковать себя. Но казаки уже знают в чем дело. За эскадроном стоят австрийские пулеметы и рассыпана австрийская пехота: --- это ловушка. Никто не идет атаковать эскадрон и он медленно уходит, подставляя свои фланги, отчетливо рисуясь на фоне зеленого леса.

Из кустов появляется жидкая патрульная цепь. Она долго идет и доходит почти до казаков. Сзади ползет колонна.

И вдруг: — тах, тах — срывает два резких выстрела Ильинский пулемет и начинает трещать, осыпая колонну пулями. К нему пристраивается другой, по всему широкому фронту начинают стрелять казаки, вправо и влево, охватывая фланги колонны, бьет третья, пятая и вторая сотни. Австрийские дозоры бегут назад, колонна ложится, выезжает артиллерия, австрийские полки строятся поротно, высылают цепи, и по всему громадному фронту, захватывая леса и селения гремит бой. Медленно, цепь за цепью, подаются вперед австрийцы, падают под меткими выстрелами казаков, которые вдруг появляются на флангах. Австрийцы разворачивают новые полки и армия стоит и ждет результата.

— Агафошкина уберите, братцы, убило его, — кричат по фронту.

— Сейчас. Семенов, тебя в руку что ль? Передай, милой, патроны, мои кончаются.

— Третья отходит уже, отходить нам, что ль.

— Погоди, вон тому пучеглазому в морду запалю.

- Эх не попал!
- Я, братцы, офицера, свалил.
- Глянь, еще орудия подвезли.
- Кабы знали они, что нас всего-то двадцать человек!
- По воробьями из пушек.
- Эх, кабы нам артиллерию! Прописали б!
- Отходить по одному к коням! Командир приказал.

Траилин идет последний, сопровождаемый трубачом. Австрийцы долго бьют по пустому месту, но постепенно стрельба стихает. Патрули осторожно ползут вперед. Там, откуда стреляли, — никого. Несколько гильз, окровавленные тряпки. да примятая трава.

Австрийцы идут вперед, но уже настали сумерки и страшно идти в темноту леса. Полки становятся на ночлег.

А ночью, то тут, то там загорается перестрелка. Мерешатся, а может быть, есть и на деле пехице и конные люди.

Лицо Карпова стало худым и черным от загара, в бороде и на висках засеребрилась седина. Только он соберет полк, отскочит с ним верст на пять, как уже снова стоит над картой и дает новую задачу.

— Хоперсков, с первой сотней и двумя пулеметами, к деревне Козья-воля. Там спешитесь. Вторая сотня по опушке Лабуньского леса, третья займет с двумя пулеметами шоссе у Лабунки, четвертая у Чертовца, пятая по лесу до ручья Черного, шестая при мне.

На двенадцать верст раскинулись сотни и ждут. Темная августовская ночь сменяется ясным утром, блестит роса на вновь зацветших клеверных полях, четко рисуются блестящая скирды и опять со всех сторон ползут австрийцы и опять лопаются шрапнели и стучат пулеметы.

Другие полки дивизии с конными батареями ушли далеко в какой-то набег, казакам Карпова приказали быть при пехоте и прикрывать ее, а пехота еще только собиралась и была в сорока верстах от места боя.

Каждый день были потери, маленькие, незаметные потери, о них не стали бы говорить в пехоте, где люди сразу гибнут тысячами. — Два убитых, восемь раненых, пять убитых, двадцать раненых, никого убитых, два раненых, но они

были каждый день, и когда, наконец, пехота вышла вперед и Карпов собрал свой полк, он не узнал его. Вместо полных пятнадцати и шестнадцати рядов в нем было по восемь и по девять, половина полка полегла на полях Холмщины. На место старых бравых казаков местами стояли молодые люди, совсем незнакомые, непохожие на казаков, в неловко пригнанном обмундировании и снаряжении, несмело сидящие на лошадях. Особенно много таких было у энергичного и предприимчивого Каргальскова, командира третьей сотни.

— Это что за люди? — недовольным голосом спросил Карпов.

— Добровольцы, господин полковник, — отвечал Каргальсков.

— Откуда?

— Сами приходят. Хорошие люди, местные крестьяне и дерутся отлично. Не хуже казаков. Местность отлично знают, проводниками, переводчиками служат. Коноводам и кашеварам помогают. Им всё равно деваться некуда. Деревни их заняты, дома пожжены или разорены, вот они и пристали к нам.

— Да верные ли люди?

— Верные. Поручиться за них могу.

Карпов махнул рукой. Жутко и больно ему стало на сердце. И месяца нет, что война идет, а уже половины полка, его ученого, славного полка, которым он так любовался в день выступления в поход, не стало!

XXVII.

Была дневка. На дворе господского дома, в котором стоял штаб полка Карпова, толпились крестьяне, поляки и евреи. Все с мелочными основательными и неосновательными претензиями. Тому за курицу не заплатили, у этого овес взяли, не спросивши, одного толкнули, другого обругали. Кумсков, потный и красный, сбился с ног, разрешая, удовлетворяя и просто прогоняя.

— Ты, пан, погоди, твоя речь впереди, — говорил он, останавливая лезшего к нему седого морщинистого старика в белой свитке.

— Ой, пан! Вшистка знищено! Жолнержи були, вшистка забрали!

— Постой, постой, пан. Какие жолнержи? Было у них тут червоное? — показывал Кумсков на ноги.

— Ни, пан. Не казаки, а так жолнержи.

— Ну, вот видишь, а ты к нам лезешь. — Не иначе господин полковник, обратился он к Карпову, стоявшему на крыльце, как нам придется взять переводчика. Разрешите к Каргальскову послать, у него много добровольцев, пусть пришлет хорошего. А то трудно с ними.

— Ох, уже эти добровольцы, — проговорил Карпов. — Кто их знает, что за люди, а, может быть среди них и шпионы.

— Нет, господин полковник, славные люди. Каргальсков их хвалит, и казаки их одобряют.

— Да что казаки! Казаки — простодушные. Долго ли их обманут. А впрочем, пришлите. Нам, пожалуй, и правда, не вредно иметь при штабе одного поляка. И мне покажите.

Под вечер, когда на дворе было тихо и Карпов смотрел, как чистили его лошадей, во двор вошел есаул Каргальсков. Сзади него шел юноша лет восемнадцати, с чистым лицом, в фуражке, сдвинутой на затылок. Из-под козырька выбивалась задорная черная прядь волос. Ни усов, ни бороды не было на прекрасном лице. Серые глаза смотрели смело. Юноша был одет в чистую казачью рубаху с погонями, при шашке, патронгаше и винтовке, шаровары были новые, сапоги хорошо вычищены. Выглядел он молодчиком и сразу обращал на себя внимание, но под его прямым пронизывающим взглядом Карпов невольно потупил глаза и подумал: — „какое отталкивающее выражение у этого красивого поляка”.

— Ты кто такой? — спросил он юношу.

— Виктор Модзалевский, — смело ответил доброволец.

— Откуда?

— Я гимназист Холмской гимназии. Сын шляхтича из под Владимира Волинского.

По-русски он говорил чисто, но с некоторым иностранным акцентом, как говорят иностранцы, или Русские, долго жившие за границей.

— Душевный парень, Витя — сказал Каргальсков. — Все казаки его полюбили. Песни поет. Он и по-немецки и по-французски знает. Вчера пленных допрашивал. Ловко говорит.

— Где вы учились немецкому языку?

— В гимназии, — коротко ответил Модзелевский.

— Он давно у вас? — спросил Карпов Каргальскова.

— Третий день всего. В Чертовце к нам пристал.

— Хорошо, — сказал Карпов, подавляя какое-то смутно-неприятное чувство, которое он испытал почему-то при виде этого юноши, — оставайтесь при штабе.

— Слушаюсь, — отвечал твердо Модзелевский и еще раз прямо посмотрел в глаза Карпову.

За эти три дня он очень много слышал восторженных рассказов казаков о их командире и теперь, глядя прямо в глаза Карпову он подумал:

„И лучшего из гоев убей!.. Убей!“

Он отчетливо повернулся кругом, как научили его казаки, и пошел со двора. Карпов оставался в раздумье. Почему, — думал он, — этот юноша мне сразу так неприятен. Прав ли я? Что он смотрит так смело и не боится? Но что в этом худого?

До самой ночи он не мог отделаться от тяжелого чувства. Странная тоска вдруг заползла в его душу и прогнала тот безмятежный покой, который был у него даже в самые опасные минуты боев.

XXVIII.

Полк, в котором служил Саблин, шел четвертый день походом. Ночлеги были плохие. Останавливались по маленьким польским деревням, в тесных и грязных халупах, где ночевали, кто на походной койке, кто на полу на ворохе соломы. Эскадроны расходились в разные места, не хватало хат, кругом были угрюмые болота и леса. Часто набегали

дожди, потом светило солнце и ярко по-осеннему, отражалось в лужах.

Кавалерия, высадившаяся пять дней тому назад из вагонов, где провела трое суток, спешила теперь на помощь N-скому армейскому корпусу, медленно отступавшему из Пруссии, останавливавшегося, задерживавшегося и наносящему убыль германцам. Русская Армия в эти августовские дни спасала Париж, отдавая свои земли, принося в жертву войне тысячи своих лучших сынов.

Полком командовал князь Репнин, первым дивизионом Саблин, первым эскадроном ротмистр граф Ёланкенбург и вторым — Ротбек. Оба эскадрона были полны офицерами и ожидали приезда еще корнетов, только что выпущенных из училища и Пажеского Корпуса.

В этот августовский день, выступили, как всегда, в 8 часов утра. Переход был большой, день очень жаркий, за три дня похода все притомились и жаждали ночлега, мечтая о хороших квартирах. На другой день предполагалась днёвка.

От высокого красного кирпичного костела, новой стройки, с серою грифельною крышей дивизионы разошлись. Первому дивизиону был назначен ночлег в селении Вульке Любитовской и второму в Гончем Броде.

От костела поднялись на холм, покрытый скирдами сжатого хлеба. Шли без песенников с высланными вперед дозорами. Кругом была мирная природа. В деревьях шумели и трещали молотилки, спеша обмолотить хлеб. Крестьяне выходили на дорогу и равнодушно смотрели на войска, но в этом мирном пейзаже вот уже второй день Саблин примечал суровые штрихи, внесенные войной. Нет, нет попадалась навстречу прочная, на высоких дубовых колесах польская бланкарда, запряженная парюю добрых холеных рослых лошадей. На бланкарде, на узлах и чемоданах, среди клеток с домашнею птицею, сидели дамы, барышни, кто в городском шляпках, кто в больших шерстяных платках. Сзади мальчики и девочки гнали коров, гусей, тащили на веревке толстую свинью. Лица женщин были загорелые, волосы растрепаны, глаза усталые, на них лег отпечаток лишений кочевой

жизни, ночевок в поле под телегой, свежего ветра, растерянности и испуга.

Это были беженцы.

По стратегическим и иным соображениям войска отходили, пуская неприятеля на Русскую землю. Это делалось легко, во имя успеха, во имя победы в будущем. Но каждый такой отход срывал с места целые хозяйства, разрушал навсегда уклад жизни, создававшейся двести, триста лет.

Перед эскадронам Саблина бланкарды сворачивали в сторону. Темные красивые глаза женщин смотрели на офицеров и Саблина казалось, что он читает в них горький упрек за опоздание. Ему становилось совестно и он отворачивал голову. Эти беженцы открывали перед ним новую сторону войны. Он всегда думал, что война касается только военных, что это они, офицеры и солдаты, умирают героями, страдают по госпиталям от ран, всю жизнь отдают учению о войне и для войны, не имеют истинной свободы и за то им и почет, и яркий мундир, и веселая жизнь, и близость к Государю, и любовь и поклонение женщин. Здесь, в этих измученных лицах женщин, Саблин читал страшную драму жизни, разбитый, поруганный мир, тихое счастье, обращенное в обломки. Ему становилось страшно и совестно. Он считал себя виновным во всем этом. Это он не спас, не защитил, не заслони́л их от всего этого разорения.

Но молодежь, офицеры эскадронов, ехавшие впереди, не замечали этого. Они видели в этом только батальную картину, какое-то оригинальное и красивое приключение. Они не думали о том прошлом счастье, которое было у этих людей и о том будущем бездомном скитанье, которое их ожидало.

— Куда вы, прелестные паненки, — кричал корнет Покровский, хорошенький мальчик, посылая воздушные поцелуи.

— В Варшаву, — отвечали, улыбаясь, паненки. И в улыбке их Саблин видел слезы.

— Зачем так далеко! Мы прогоним немцев и вы спокойно-но вернетесь домой.

— Ах, если бы так! — вздыхала старая толстая дама, сидевшая на низкой клетке с курами. — Ах если бы так, пан офицер!

Женщины и мужчины смотрели на прекрасных лошадей полка, на громадных солдат, красивых, молодец к молодцу, брюнетов, и надежда загоралась в них. Не может быть, чтобы эти не победили!

Бланкарда остановилась в раздумье. Но в эту минуту легкое дуновение ветра с запада донесло далекий неясный гул, шедший без перерыва, то усиливаясь, то ослабевая. Пан, сидевший с бичем на борту телеги решительно ударил по лошадям, бланкарда покатила по выбоинам шоссе, старая тетка запрыгала на курах, а паненки печально поджали губы.

— Эх и тетка, — кричали смеясь солдаты, — гляди как-ких цыплят высидела, пора и с посести вставать, смотри раздавишь.

Сзади, мыча, бежала большая пестрая корова, и гуси, испуганные лошадьми, бросались с тревожным гоготаньем через канаву и за ними гнался мальчишка.

За холмом стоял высокий крест. Распятый Христос, в изнеможении муки, опустил свое бледное лицо, с круглым румянцем и кровавыми каплями, к правому плечу и всё оно было покрыто пылью. У ног его, на небольшой скамеечке, лежал букет увядших васильков. Пестрые ленты, поблекшие от дождей и солнца, монисто, сердце, сделанное из белого металла, были привязаны к ногам Христа.

От распятия открывался широкий вид. Внизу протекала окруженная лесами и кустами небольшая речка. Подле нее в купах громадных лип и дубов стоял замок, а в полуверсте от него, по скату, обращенному к распятию разбежалось местечко. из полусотни маленьких домиков, окруженных садами, белел каменный шинок под железной крышей, да торчали тонкие шесты колодезных журавлей. За селением шли большие леса, они прерывались желтыми пятнами сжатых полей, черными полосами отдыхающей земли и зелеными клеверниками. Густое, лиловато-синее небо висело над холмами, лесами, полями и деревней.

Христос скорбно отвернулся от широкого раздолья полей, будто тяжело было смотреть ему на прекрасную Польшу, столько веков заливаемую кровью, столько веков служащую ареною войн и раздоров, истоптанную боевыми конями, покрытую курганами мертвых тел — татарских и турецких, венгерских и немецких, шведских и литовских, французских и австрийских, и Русских и польских, польских и Русских.

Неугомонная, задорливая, волелюбивая и поработенная, шумная и хвастливая Польша и сейчас заливалась потоками человеческой крови и рыла новые могилы.

Синие васильки на сжатом поле смешались с яркими пунцовыми маками. У дороги рос косматый и колючий, высокий репейник и бледно-лиловые нежные пушистые цветы его целой шапкой торчали вверх; желтые мальвы росли по межам, впереди из господского сада виднелись дубы в три охвата и громадные липы, в тени которых могла отдыхать целая рота. Стадо бурых однотонных коров, шерсть в шерсть одинаковых, паслось на толоке и тут же дремали серые густошерстные мериносы, Косматая собака поднялась от отары, потянулась, приготовилась лаять, но раздумала и стала отбрасывать задними ногами землю, злобно рыча.

От деревни, прямо к Саблину, плавно поднимаясь на облегченной рыси, с болтающейся на левом боку полевой кожаной сумкой, в сопровождении солдата, ехал офицер. Это был корнет Лидваль, посланный вперед квартирьером

— Господин полковник, — доложил он, задерживая свою лошадь и заезжая сбоку Саблина, — квартиры 1-му и 2-му эскадронам отведены. Господам офицерам разрешите стать всем вместе в помещичьем доме. Помещик, пан Ледоховский просит откусать у него. Очень богатый человек. У него винокурный и сахарный заводы и своя суконная фабрика.

— С какой стати одолжаться, — хмуро сказал Саблин. — Разве нельзя было найти в селении у войта или у жида какого-нибудь, где бы можно было заплатить и не одолжаться. Бог его знает, кто он такой, этот пан Ледоховский?

После смерти Веры Константиновны Саблину тяжело было общество посторонних людей. Могли найтись общие Петербургские знакомые, начаться распросы, а так не хотелось

бередить начинавшую подживать, но не могущую вполне зажить рану.

Он очень просит, — с мольбою в голосе говорил Лидваль. — Он такой богатый. Ему самому лестно. И дом у него переполнен прекрасными польками. Так хорошо бы было... Можно потанцевать.

Саблин нахмурился. Он готов уже был резко отказать, но случайно взглянул на столпившуюся подле него на лошадях молодежь, увидел их оживленные лица, и подумал, что, может быть, он и не прав, прилагая свою мерку к офицерам.

— Отчего бы Саша, и не стать у помещика, — сказал Ротбек. — И помыться бы можно хорошо и поспать на свежем белье. Дом, как видно громадный, наверно, десятка полтора *Fremdenzimmer**) имеет. Мы не только не стесним, а оживим общество.

Десять молодых красивых лиц в восемнадцать глаз глядело с ожиданием и мольбой на Саблина. Он сдался.

— Ну, хорошо, — сказал он, — но при условии, что в каждом эскадроне по одному офицеру будут дежурить по очереди в деревне при людях.

— О, будем, будем. Не беспокойтесь, — хором ответили офицеры. Шутки и веселые предположения и планы пикника с прекрасными польками оживленно посыпались со всех сторон.

XXIX.

Пан Ледоховский встречал гостей на крыльце своего громадного замка.

— О, пан полковник, — говорил он, мешая Русские слова с польскими, — прошу милостиво в наш убогий палац. Прощенья прошу, что не могу на каждого пана офицера дать по комнате. Но у меня такое стечение обстоятельств, беженцы со всей гмины, Войцеховские, Любитовские, княгиня Развадовская с двумя дочерьми, пан Лобысевич, пан доктор Карпиловский и все с детьми, полфлигеля занято беженцами.

*) Комнаты для гостей.

— Мы вас стесним, пожалуй, — сухо сказал Саблин.

— О! Ниц! Ни Боже мой! Пан осчастливит меня в моем палате. Но мне хотелось бы доставить полное удобство, достойно встретить знатных гостей. Вот сюда, пожалуйста.

В громадном вестибюле был сделан камин, в котором свободно можно было зажарить целого кабана. На стенах висели трофеи охоты, олени и козьи головки с рогами и просто рога, на отполированных лобных костях которых порыжелыми чернилами было написано когда и кто убил какого козла, или оленя. Вправо и влево от камина шла двумя маршами лестница, покрытая серым суконным ковром.

— Я покажу вам ваши комнаты. Теперь четыре часа, я пошлю вам по номерам чай и перекусить, а в шесть часов милости просим все вместе пообедать, и я вас представлю тогда графине.

Саблин с графом Ледоховским, сопровождаемые офицерами поднялись во второй этаж. Вдоль просторного коридора с окнами во двор, шли большие двери. Пан Ледоховский открыл одну дверь и указал комнату с двумя кроватями.

— Для пана полковника, сказал он. — Тут всё готово, — и, оставив Саблина одного, он пошел разводить других гостей.

В комнате был чистый, но несколько затхлый воздух. Саблин раскрыл окно. Прямо в стекла тянула ветви душистая липа. За окном был парк с тщательно разделанными газонами и куртинами цветов. Правее цветочного сада была зеленая лужайка, предназначенная для игр. Вся лужайка была заставлена экипажами и телегами. Большая карета, с откидным кожаным верхом, на железном ходу стояла с края, и лошади, в хомутах и седёлках, были привязаны к дышлу и ели из большого мешка сено. Рядом в бланкарде на сене и коврах сидели две польки и пили чай, наливая его из железного чайника в кружки. Молодой поляк, в штанах с помочами и рубахе, прислуживал им. У поляк были заспанные лица и растрёпанные волосы, к их блузкам пристало сено. Они быстро говорили поляку и тот отмахивался от них. Рядом с бланкардой пустая коляска, потом две телеги с разным до-

машним скарбом, поверх которого был привязан проволочный манекен модистки, потом длинная и узкая телега, в которой было много вещей и много черноволосых глазастых еврейских детей. Старая еврейка, с длинными сивыми распущенными волосами, в красном шерстяном платке, накинутом на плечи, сидела в конце телеги на узлах, опершись сухими костлявыми руками о подбородок, и тяжелое неисходное горе было в ее глазах. Молодая, очень хорошенькая женщина, с туго закрученными и подшпиленными на затылке волосами, в юбке и рубашке, без кофты, сверкая полными ярко белыми плечами и грудью, кормила ребенка и желчно что-то кричала старому седобородому еврею, в длинном до пят черном сюртуке, медленно ходившему подле худой с выдавшимися ребрами белой лошади, печально смотревшей большими черными глазами на положенную перед нею траву.

Мимо них проходили офицерские вестовые и несли в замок вьюки.

За парком были поля, за полями синел далекий хвойный лес и из-за него, то стихая, то снова начинаясь, слышался неровный и неясный гул. Там шло сражение; была слышна канонада.

Комната была в стиле empire*). Вещи были старинные, прочные, дорогие. На стене над кроватями висело хорошее полотно, изображавшее закат солнца в Венеции.

На противоположной стене две гравюры: море с зелеными волнами, по которому шла большая гребная лодка, переполненная людьми, и темная гравюра офорт олень с оленями в лесу. В углу у окна стоял туалет с тройным зеркалом и были разложены хрустальные флаконы и вазочки. По другую сторону низкий, пузатый, красного дерева с бронзою комод. У двери был шкаф и большой умывальник с двумя приборами хорошего английского фаянса.

Пришла кокетливо одетая в белом чепце и переднике хорошенькая горничная, принесла Саблину чай и сэндвичи и, поставив на стол у мягкого дивана, стала доставать из комо-

*) Империи.

да и слять чистое белье на обе постели и развешивать полотенца у умывальника.

Она нагибалась и выпрямлялась стройным станом, показывая молодые упругие ноги в черных башмаках и белых нитяных чулках, проворно ловкими руками расстелала пахнущее свежестью белье и искоса, лукавыми темно-карими глазами поглядывала на Саблина, сидевшего на диване.

— А что, пан, — вдруг быстро спросила она — герман придет сюда?

Вопрос был так неожидан, что заставил Саблина смутиться.

Он поднял глаза на горничную и молчал.

— Вишь, как бьет, сказала она. — Это из пушек. Хлопцы оттуда прибегли, сказывали много народа погибло. Будто отступить наши стали.

Она ждала ответа, авторитетного ясного указания и заверения, но Саблин не мог ничего сказать, потому что совсем не знал обстановки.

— Ой, беда будет, если герман придет. У меня отец больной в деревне лежит. Куда его увезешь? Мужа забрали. Запасный он.

— Я думаю, — сказал Саблин, — что сюда не придут немцы. Бой идет далеко.

— Да, кабы устояли, — сказала горничная. — Чаю позволите еще принести?

— Нет, благодарю вас, — сказал Саблин.

Горничная вышла.

В коридоре слышался звон шпор и веселые молодые голоса.

— Полина, вы вот за кем поухаживайте, — кричал Лидваль — посмотрите какой красавец.

— Полина, потрите мне спину.

— Да, полноте, баловни!

— Полина, вы Русская? Что вы так хорошо говорите по-русски.

Саблин закрыл дверь в коридор, сел у окна и задумался.

„Война“, — думал он, — „и богатый замок, и нежное белье, и Полина, и шутки, и любовь“...

„И старая еврейка, трясушая головой, и две растрепанные польки, ставшие, как бездомные кошки”.

„Кому шутки и веселье, а кому горе. А, может быть, и им завтра, после завтра... что будет? Кто знает? Быть может, смерть уже завтра заморозит эти жаждущие женской ласки молодые, горячие тела!”..

XXX.

В шесть часов вечера камердинер, одетый в ливрею с графскими коронами на белых плоских пуговицах, постучал в дверь комнаты Саблина и попросил по-польски идти обедать.

В большой столовой, со спущенными шторами, залитой электрическим светом уже собрались все офицеры Саблина, как почетного гостя. Едва он переступил порог столовой, как с хор трубачи грянули ему полковой марш. Это было так неожиданно, что Саблин вздоргнул и приостановился. К нему подошел Ротбек со сконфуженной виноватой улыбкой.

— Саша, прости, — сказал он, — что я без тебя распорядился и просил князя разрешить взять трубачей. Но молодежь, столько дам, барышень, отчего и не потанцевать потом.

— Эх, Пик, Пик! — укоризненно сказал Саблин и пошел к хозяйке.

Графиня, сорокалетняя, но еще видная и красивая полька, была одета в бальное платье и блистала своими широкими белыми плечами и высокою грудью. Она не хотела, или не умела говорить по-русски и заговорила с Саблиным на отличном французском языке. Саблина это взорвало и он сознавая свою грубость, отвечла ей по-русски. Разговор прервался. Ее дочь, Анея, прелестное существо, семнадцати лет, свежее, румяное с большими черными глазами, тонким носом, тонкими бровями и губами, церемонно присела перед Саблиным. Она воспитывалась во французском монастыре и с трудом говорила по-русски.

Саблин торопливо проходил вдоль стоявших группой гостей, мимо тянувшихся перед ним офицеров. Прилизан-

ные затылки и длинные носы вычурно, по-варшавски, одетых польских помещиков и туалеты их дам — то богатые бальные, то простые дорожные, мелькали перед ним. Много было молодых красивых лиц и Саблин понял, что Пик не мог устоять перед соблазном развернуться во всю. Сзади Саблина шел граф Ледоховский и представлял его дамам, а ему своих гостей.

— Пан Каштелянский с Кухотской Воли. А то полковник Саблин, наш защитник. Пани Ядвига Каштелянская, а то ее панночки Марися и Зося... Пан Зборомирский с Павлинова, где теперь бой идет, а то пани Анеля Зборомирская, сама красивая и веселая во всем нашем округе.

Мило подрисованное овальное лицо, с крошечными пухлыми капризными губами, с большими блестящими глазами, чуть вздернутым носиком с широкими нозрями и лбом, прикрытым задорными кудрями, повернулось к Саблину с нежной истомой. Ей было меньше тридцати лет, рядом стоял пан Зборомирский, старый лысый и бессильный.

„Самая веселая”, — подумал Саблин, — „есть отчего веселится при таком муже!”

На отдельном столе была приготовлена закуска и водки. Стол этот живо обступили гости и офицеры. Саблин стоял в стороне. Со дня похорон жены и объявления войны он дал зарок не пить ни вина, ни водки.

Пани Анеля и графиня несколько раз подходили уговаривать его, но он отказался.

— Саша, — подмигивая глазами, кричал ему туго набитым ртом Ротбек, — а я *ad majorem Poloniae gloriam**) четвертую шнапса хватил. Прелестный шнапс, на каких-то з-за-м-мечательных травах настоенный. А колбаса — не колбаса, а прямо мечта. Так под водку и просится.

— Пани Анеля, — говорил высокий и красивый штабс-ротмистр Артемьев, — ну вы, хотя пригубьте мне немного, чтобы я ваши мысли узнал.

*) За большую славу Польши.

Зборомирская смеялась, показывая два ряда великолепных зубов, кокетливо грозила маленьким пальцем, украшенным кольцами и говорила:

— О! зачем пану ротмистру знать мысли маленькой польской паненки. Черные мысли, нехорошие мысли.

Наверху трубачи играли попури из „Кармен” и шаловливо страстные мотивы оперы Бизэ волновали дам и возбуждали мужчин. О войне, о близости боя, никто не говорил.

За обедом Ледоховский, сидевший рядом с Саблиным, занимал его политическим разговором. Саблин угрюмо молчал.

— Вы слышали про манифест великого князя Николая Николаевича. Польша возрождается. Какой это хороший, красивый, благородный жест. Два братских народа, слившись в объятии, пойдут на защиту своей свободы от общего врага славянства. Вы, наверно, испытываете эту глубокую священную ненависть к германскому народу?

Саблин ничего не ответил. Он заглянул себе в душу и не нашел там ненависти. Он не мог ненавидеть Веру Константиновну, он продолжал любить баронессу Софию, а ее муж, прусский офицер, был в лагере врагов. Вся война казалась Саблину страшным недоразумением и он не понимал ее.

— Как вы думаете, — сказал он Ледоховскому, — что же будет представлять собою в будущем Польша. Царство, королевство, или иное что?

Ледоховский расправил красивый длинный ус, внимательно посмотрел на Саблина и начал:

— Конечно, никому другому не следует быть на престоле Польском и короноваться короною Пястов, как великому князю Николаю Николаевичу. За него все сердца польского шляхетства, вся Польша за него... Но, пан полковник, не находите ли вы, что в двадцатом веке уже неуместно говорить о коронах и престолах?.. Народ сам желает принять на себя управление странюю. Мы живем в век демократии и Речи Посполитой уместнее преобразоваться в республику, связанную прочным союзом с Российской монархией.

— Сейм будет править Польшей? — сказал Саблин, не думая ни о чем.

— О, да. Сейм. Парламент. Народ.

— Но как-же уроки истории. К чему привели вас сеймы и шляхетское veto?*)

— О, то не сейм, пан полковник, виновник развала Польши. О, то короли не сумели владеть достоянием народа. Не шляхетство пойдет теперь в сейм, но весь народ, подлинная демократия и они сумеют сберечь Польшу. Польша Пястов от моря и до моря должна возродиться снова, пан полковник, и как хорошо, что это будет по слову Государеву.

— Но в манифесте, — сухо сказал Саблин, — сколько я помню ничего не сказано о границах. Куда вы денете Курляндскую губернию и Малороссию?

— О, пан полковник, о Украине речь впереди. Украинский вопрос это есть часть вопроса Польского. Киев и Варшава — это начало и конец.

„Как странно”, — подумал Саблин, — „война только что началась, а уже идет речь о разделе России. Польша, Украина, Финляндия предъявляют свои старые счета к оплате тогда, когда еще неизвестно кто победит”. Ему неприятен был разговор о политике и он обратился к сидевшей по левую его руку, в голове стола, графине Ледоховской.

— Comtesse, dites, avez vous recue votre education en Russie ou a l'etranger?

— J'ai fait mon education au gymnase de Varsovie.**)

отвечала быстро графиня, обрадовавшись, что заставила гордого полковника говорить по-французски.

— Значит, графиня, — сказал Саблин, чаруя ее своими прекрасными мягкими серыми глазами, вы должны отлично говорить по-русски. Вся Варшава говорит по-русски.

Пойманная врасплох графиня смутилась и пролепетала по-русски:

— Я окончила Варшавскую гимназию.

— Но я так позабыла русский язык.

— Язык варваров, — сказал Саблин.

— Нет, почему же?

* Запрет,

***) — Скажите, графиня, вы воспитывались в России, или за границей?

— А вы помните... Вы, наверно, читали Тургенева, о красоте русского языка.

— Ну, а польский... Польский вам не нравится?

— Я боюсь быть грубым и оправдать свое варварское происхождение, — скромно опуская глаза, сказал Саблин.

— О, я знаю, — сказала графиня, — вы сейчас повторите эту остроту — не пепши Пепши вепрша пепшем, бо можеш перепепшить вепрша пепшем. Но это совсем даже и не по-польски. А в смом деле, разве наш язык не токий ласкавый, нежный, чарующий.

— Вот именно, ласкавый. В ваших устах, графиня, всякий язык прелестен, но кто жил на юге России, тот привык слышать все эти слова в устах простонародья и слышать их в устах прелестных дам кажется так странным.

Анеля Зборомирская с другой стороны стола протягивала бокал со сверкающим шампанским и, улыбаясь пухлым ртом и сверкая ровными, как жемчуг зубами, говорила:

— За победы, пан полковник!

Графиня Ледоховская примкнула к этому тосту.

— О! за победы! Защитите нас. Вы знаете, нашему палацу без малого двести лет. В 1812 году здесь ночевал Наполеон со своим штабом и пан Ледоховский имел счастье принять его величество у себя. У нас сохраняется и комната, где был Наполеон.

Граф Ледоховский нагнулся к Саблину и говорил:

— Потерять этот замок было бы невозможно. Это одно из самых культурных имений Польши. У нас своя электрическая станция, рафинадный завод, винокурня, суконная фабрика — здесь достояние на многие миллионы. У меня в галлерее Тенирс — граф сказал Тенирс вместо Теньер — и Рубенс лучшие, нежели в Эрмитаже. А коллекция Путерманов и Ван-Дейков — лучшая в мире. Я завтра покажу вам. Графы Ледоховские были покровителями искусства и мой прадед всю свою жизнь провел в Риме при Его Святейшестве. Я скорее умру, нежели расстанусь с замком.

Лакеи подавали мороженое. По раскрасневшимся лицам молодежи и по шумному говору на французском и польском языках Саблин видел, что вина было выпито не мало. Рот-

бек не отставал от полной и шаловливой пани Озертицкой, смотревшей на него масляными глазами. Пани Озертицкая была зрелая вдова с пышными формами, и Ротбек, подметивший взгляд Саблина, крикнул ему:

— Я, Саша, иду по линии наименьшего сопротивления. Где мне бороться с молодыми петухами. Ишь какой задор нашел на них.

Пани Анеля разрывалась между своими двумя кавалерами, рослым и молодцеватым штабс-ротмистром Артемьевым, который ее решительно атаковал, и скромным черноусым корнетом Покровским, смущавшимся перед ее прелестями, которого она атаковала сама. И тот и другой усиленно подливали вина ее мужу, старому пану Зборомирскому, не обращая внимания на притворные протесты пани Анели, а старый пан смотрел на всех мутными, ничего не понимающими глазами, хлопал рюмку за рюмкой и говорил:

— А я, пан, еще клюкну!

Его тянуло ко сну.

XXXI.

После обеда были танцы. Пржилуцкий с пани Люциной Богошовской танцевал настоящую польскую мазурку, помахивал платком, гремел шпорами, становился на колени, пока дама обегала вокруг него, прыгал сам козликом подле нее и очаровал всех поляков.

— Вот это танец, говорил восхищенный граф, — это не то, что там разные кэк-уоки, да уан-стэпы — танцы обезьян — это король танцев — и он вдруг схватил за руку свою дочь и помчался с нею в лихой мазурке.

В самый разгар танцев, лакей подбежал к графу и доложил ему что-то.

— Панове! воскликнул граф. — Бог милости послал! Еще паны офицеры приехали! Пан полковник, позвольте просить прямо до мазурки!

Саблин вышел в прихожую. Там раздевались, стягивая с себя шинели и плащи розовые, румяные юноши, только что выпущенные в полк офицеры.

Увидев Саблина они построились один за другим и стали представляться ему.

— Господин полковник, выпущенный из камер пажей Пажеского Его Величества корпуса корнет князь Гривен.

— Из вахмистров Николаевского кавалерийского училища корнет Багрецов.

Оленин, Медведский, Лихославский, Розенталь — всех их Саблин знал пажами, юнкерами, детьми. Он знал их отцов и матерей. Это всё был цвет Петербургского общества, лучшая аристократия России. Сливки Русского дворянства посылали на войну своих сыновей, на защиту Престола и Отечества.

Сзади всех, укрываясь за спинами молодых офицеров, появился высокий мальчик красавец, в солдатской защитной рубаше, подтянутой белым ремнем, при тяжелой шашке — его сын Коля.

Саблин нахмурился.

— Коля! — строго сказал он. — Это что!

Сын вытянулся перед ним и ломающимся на бас голосом стал говорить заученную фразу рапорта:

— Ваше высокоблагородие, паж младшего специального класса Николай Саблин является по случаю прикомандирования к полку.

— Кто позволил?

— Господин полковник.

— Нет, Коля! Это слишком! Пойдем ко мне. Господа, — обратился он к вновь прибывшим офицерам, — завтра я распределяю вас по эскадронам. А сейчас... Помойтесь, отмойте дорожную пыль и веселитесь... Идем, Николай.

Коля послушно пошел за отцом.

Саблин прошел в свой номер, зажег лампу и стал спиной к окну. Сын смотрел на него умоляющими глазами.

— Ну-с. Как ты сюда попал?

— Папа! Пойми меня. Мы были с бабушкой в Москве у дяди Егора Ивановича. Вдруг — манифест — объявлена война. Папа, я не мог больше ни минуты оставаться. Дядя Егор Иванович вполне меня одобрил. Он мне сказал: твой долг умереть за Родину!

— Старый осел! — вырвалось у Саблина.

— Папа, у меня отпуск до первого сентября. Позволь остаться. Посмотреть войну. Убить хотя одного германца... Папа!.. Я в нынешнем году лучшим стрелком. Во весь курс всего пять промахов. Папа... Мамы всё равно нет. К чему и жить. Папа, не сердись... Позволь.

— Сестра где? — сурово спросил Саблин. — Таню где оставил?

— Таня с бабушкой поехала в Кисловодск.

— Бабушка что? Разве пустила тебя?

— У бабушки горе. Дядя стал требовать, чтобы она переменила фамилию и стала называться Волковой, а бабушка рассердилась: — была, говорит, баронессой Вольф и умру баронессой Вольф и много нехорошего наговорила. Таня плакала потому, что у нее бабушка немка.

— Да что вы там, сдурели что ли?

— Папа — немецкие магазины разбивали и грабили, вывески срывали. У Эйнема карамель была рассыпана по улице, как песок, ногами топтали. Одни собирали, а другие запрещали.

— Какая дикость!

— Папа, ведь это хорошо! Это патриотизм.

Саблин пожал плечами.

— Плохой патриотизм, — сказал он. — Так ведь и еврейский погром можно патриотизмом назвать! Шуты гороховые!

— А дядя Егор Иванович ходил с толпой и говорил. что так им и надо, все они, мол, шпионы.

— Экой какой!

Саблин смотрел на сына. В душе у него был праздник. Да, он был рад, что сын приехал к нему в полк, на настоящую войну, а не остался в тылу, разбивать магазины и грабить ни в чём неповинных мирных немцев. Он поступил так, как должен был поступить Саблин.

Сын стоял, вытянувшись по-солдатски, и три пальца левой руки его чуть касались тяжелых черных ножен со штыковыми гнездами. В голубовато серых глазах было то же выражение упорной воли, готовности во имя долга умереть,

как и у его матери. И сам он, овалом лица, тонким носом и тонкими сурово сжатыми губами, напоминал мать.

Чувство одиночества, которое не покидало Саблина со дня смерти Веры Константиновны, смягчилось. Сын словно был прислан матерью, чтобы облегчить Саблину его долг.

— Ну, здравствуй! — сказал Саблин и горячо обнял и поцеловал сына в нежные бледные щеки. — Бог с тобой, оставайся.

Сын горячо охватил отца за шею. Слезы текли у него из глаз.

— Папа, — говорил он, всхлипывая, — мы одни. Мамы нет! Не будем расставаться.

— Ты ел?

— Я не хочу есть.

— Ну, умывайся, почистись и ступай. Танцуй, веселись. Видишь, какая война у нас...

Он с нежностью смотрел на белый торс сына, обнаженного по пояс. Коля, умывшись обтирался полотенцем. Молодая сильная жизнь сквозила в плотных мускулах рук и спины и красивом цвете здоровой кожи. Коля, протирая глаза, рассказывал свои впечатления от Москвы.

— Кестнер, ты помнишь, дядя, — присяжный поверенный, правовед, стал Кострецовым, так смешно! Мы, дорогой, корнета Гривена переделали в Гривина, а Розенталя назвали Долинорозовым. Папа, а правда, это глупо! Война это одно, а чувство это другое. Я хочу убить немца, ты знаешь, если бы я дядю, фон Шрейница, встретил, я бы его — убил, не колеблясь, потому что он враг — а я его очень люблю, дядю Вили и тетю Соню люблю. Но это война.

Коля пошел вниз в зал, а Саблин остался наверху. Если бы он мог молиться, он молился бы. Но он больше не верил в Бога и сухими глазами смотрел на шинель сына и на его раскрытый чемодан. Мысли шли, не оставляя следа, и если бы Саблина спросили, о чём его мысли, он не сумел бы ответить, так неслись они тусклые, неопределенные, отрывочные.

Ночь было тихая, темная, задумчивая. В окно было видно, как, точно зарницы далекой грозы, вспыхивали огни отдельных пушечных выстрелов. Но грома их не было слышно.

Саблину показалось, что взблески огней стали ближе, чем днем, слышнее была канонада. Огни появились сейчас за темной полосой большого леса, верстах в двадцати от замка.

„Неужели наши отошли“, — подумал Саблин. Снизу раздавался певучий вальс и в раскрытые окна слышались голоса.

В одиннадцать часов, как было условлено с Ротбеком, трубачи сыграли марш и ушли. По корридору с шумным говором расходились офицеры.

— Ты знаешь, Санди, — говорил Покровский, идя обнявшись с Артемьевым, — Анеля обещала меня ровно в два часа ночи впустить в семнадцатый номер.

— Какая же ты скотина, — смеясь говорил Артемьев, — ведь ты мне рога наставишь.

— Каким образом?

— Она обещала меня впустить ровно в двенадцать и с тем, чтобы в половине второго я ушел, а то муж придет.

— Ах, ты! Но это очаровательно.

— У вас, господа, настоящее приключение, сказал барон Лидваль, а мы с Пушнаревым делимся Полиной.

— А Пик-то!.. Не стеснясь при всех заперся с этой толстой Озертичкой.

— Ну, мы Нине Васильевне отпишем.

Артемьев с Покровским запели верными голосами дуэт из „Сказок Гофмана“.

О, приди, ты ночь любви,

Дай радость наслажденья...

Коля, оживленный, счастливый, гордый тем, что он с настоящими офицерами, на настоящей войне, вошел к Саблину.

— Как хорошо, папа! — сказал он. — И какой ты у меня хороший... Герой!..

XXXII.

Под утро Саблину приснился тяжелый сон. Ему снилось, что он с трудом, борясь с течением, часто захлебываясь, переплыл широкую и глубокую реку, а Коля, плывший рядом с ним, захлебнулся и потонул. Как тогда, когда умерла Маруся и ему снилась вода, он проснулся с тяжелым чувством,

что на него надвигается что-то тяжелое, от чего ни уйти, ни ускользнуть нельзя. Не открывая глаз, он продолжал лежать под впечатлением сна. Громкие однообразные удары, сопровождавшиеся легким дребезжанием стекол в окне, привлекли его внимание. Вчера пушечная пальба не была так слышна, она была дальше. Саблин открыл глаза. Было утро. В полутемной комнате мутным прямоугольником рисовалось окно с опущенною белою в сборках шторою. Выстрелы шли непрерывно и часто. Один, другой, два сразу, маленький промежуток и опять один, другой, три сразу. Отчетливые громкие, с дребезжанием стекол. „Это наши выстрелы”, — подумал Саблин. Им издали отвечал глухой, неясный гул, шедший почти непрерывно — то стреляли германские батареи.

„Наши выстрелы приблизились за ночь” — подумал Саблин, пораженный одною страшною мыслью, вдруг поднялся и сел на постели. — „Это значит: наши отошли. Немцы нападают”. — И та война, на которую он шел, на которую приехал теперь его сын, приблизилась к ним. Вчера танцевали, играла музыка, любезничали с дамами, а сегодня бой со всеми его страшными последствиями. Саблин повернулся всем телом к постели, на которой спал его сын. Коля лежал, улыбаясь во сне счастливой кроткой улыбкой. Строгие черты его лица, темные брови и тонкий нос напомнили Саблину Веру Константиновну. Он долго смотрел на него. Он теперь стал понимать, как сильно любил его. Всё находил он в нем прекрасным и теперь у него была одна мысль, сохранить его во что бы то ни стало до конца августа, а там отправить обратно, подальше от войны.

„Ах, Коля, Коля”, — подумал он, — „ну зачем ты приехал!”

Саблин посмотрел на часы. Шел седьмой час. Не одеваясь, он подошел к окну и поднял шторы. Утро было хмурое, моросил частый осенний дождь, тучи низко клубились над темными лесами, старые липы и дубы заботно шумели. Внизу, на поляне, устроив себе навес из тряпья, спали в бланкарде польки. Кучер поил лошадей, привязанных к дышла кареты. Старик еврей озабоченно запрягал белую лошадь

в телегу. Одна еврейка помогала ему, другая, молодая, укутавшись в платок, сидела на корточках над разведенным костром и кипятила что-то в котелке.

„Они собираются уезжать”, — подумал Саблин и опять забота и тревога о сыне охватили его. Саблин начал одеваться. Едва он был готов, как к нему осторожно постучали. Денщик, стараясь не разбудить молодого барина, доложил Саблину, что его просят к замковому телефону.

С ним говорил князь Репнин.

— Ты, Александр Николаевич, поймешь, что я не могу всего сказать. Собирай дивизион и к 10 часам утра сосредоточься у Вульки Щитинской. Я сейчас еду в штаб корпуса. На обратном пути заеду к тебе.

— А что? В чем дело? — спросил Саблин.

— Ничего особенного. И так поднимайся с квартир. Вечера долго веселились?... Ну, отлично.

Денщик ожидал Саблина в номере. Коля всё так же крепко спал счастливым сном юности.

— Ваше высокоблагородие, слышать, наших побили. Отступают, — шопотом сказал денщик.

— Откуда ты это знаешь?

— Тут солдат много проходит одиночных. Говорят, от колонны отбились. Не иначе, как бежали. Ужас сколько германа навалилось. Так, говорят, цепями и прет. Цепь за цепью, и не ложится. Артиллерия его кроет — страсть. Вчора, слышно, тяжелые пушки к нему подвезли. А у наших, слышать, офицеров, почитай, всех перебили. Разбредается без офицеров пехота. Без офицера-то солдат всё одно, что мужик... Молодому барину кого седлать прикажете?

— Диану, папа, — сонным голосом сказал Коля, услышавший последний вопрос. — Пожалуйста, папа, Диану. Ты ведь сам на Леде?

— Диана молода и горяча. Она тебя занесет.

Но Коля уже прыгнул с постели.

— Папа, милый, не оскорбляй меня. Я лучший наездник на курсе, да ведь я же ее знаю! Помнишь, в прошлом году с мамой в Царском Селе я на ней ездил. Она такая умница! Семен, мне Диану пусть седлают.

— Ну, хорошо. А молодым офицерам вахмистра из заводных назначат, которые получше. Да, ступай, Семен, скажи денщикам, чтобы будили господ, в девять с половиной всем быть при эскадронах.

Семен ушел.

— Ах папа! — одеваясь, говорил Коля. — Ужели и правда я на войне? И бой? Это пушки палят? Как близко? Правда, вчера мы ехали — было далеко, мы даже спорили, пушки это, или далекий гром. Как хорошо, папа!

В половине девятого Саблин зашел к графу Ледоховскому, чтобы поблагодарить его за гостеприимство.

— А, как думает, пан полковник, — что есть какая-либо опасность, али ни? Я думаю, беженцев лучше отправить подальше. Я останусь. Как мой прадед принимал Наполеона, я буду принимать врага. Немцы культурный народ. Тут свеклосахарный завод, спиртной завод, суконная фабрика — тут самое культурное имение этого края. Это нельзя разрушить.

— А не думаете вы, граф, — жестко сказал Саблин, что именно потому, что тут такие ценные заводы, что это такое культурное имение, оно и не может целым достаться врагу?

— Ну, то дело войска его оборонить.

— А, если оборонить нельзя?

— Но, пан полковник, я не могу позволить, чтобы разрушили это всё. Это строилось больше двухсот лет. Тут Тенирс и Рубенс, тут Ван-Дейки и Путерманы. О! вы их не видали? Это миллионы.

— Укладывайте их и увозите.

— Куда?

— В Варшаву... В Москву... подальше.

— Когда?

— Сегодня.

— Но, пан полковник шутить изволит. Ну как же это возможно? Надо устраивать ящики, надо подводы. Это требует целый месяц работы.

— Вы слышите — сказал Саблин, указывая на лес, от которого слышна была стрельба.

— Пан полковник, — бледнея и оловянными глазами глядя на Саблина, сказал Ледоховский. — Это невозможно. Вы понимаете, что легче умереть.

— Как хотите. Но сами уезжайте. И жену и дочь увозите.

Расстались они холодно. У Саблина на сердце была щемящая тоска. „Хорошо”, — думал он, — „отплатили мы за гостеприимство! Напили, наели и бросили на произвол судьбы. Отход по стратегическим соображениям... Лучше бы умереть, чем так отойти”.

На дворе замка была суета. Кучера торопливо закладывали кареты, коляски и бланкарды. Горничные и лакеи носили чемоданы, узлы и увязки. Толстая пани Озертицкая, наскоро причесанная, бледная, неряшливо одетая, сидела на бланкарде рядом с кучером и что-то гневно выговаривала смущенно улыбавшемуся Ротбеку. Артемьев и Покровский подсаживали в коляску пани Анелю Зборомирскую и ее мужа. Пани Анеля весело смеялась и кричала на весь двор:

— Только не ревнуйте, господа, друг друга и совсем не надо из-за этого дуэли устраивать. Это всё было дивно хорошо. За новые победы, панове!

Полина плакала, прощаясь в углу двора со сконфуженным и красным Багрецовым.

Дождь лил, теплый, мелкий и нудный. На дворе пахло свежим конским навозом и дегтем, пахло дорогой, неуютными грязными ночлегами и постоянным двором.

XXXIII.

В Вульке Щитинской солдаты развели лошадей по дворам, часть стояла на улице, расседлывать не было приказано, и люди томились от бездействия и неизвестности, ловя всякие слухи. Кашевары торопились приготовить обед. Дождь перестал, но погода всё еще была хмурая. Стрельба совершенно затихла.

Все офицеры забились в большой еврейский дом. Шестнадцатилетняя неопрятная, но красивая, дочка хозяина кипятила воду и, гремя посудой, готовила в просторной и чистой столовой завтрак. Молодой чернобородый еврей ей

помогал и острыми внимательными глазами осматривал офицеров.

— Вы меня простите, паны офицеры, — говорила еврейка, — всем стаканов не хватит. Половина стаканы, половина чашки. И мамеле может изготovit только яичницу и немного баранины.

— Отлично, отлично, Роза, пусть так и будет.

— Ты знаешь, Саша, — беря за талию Саблина и отводя его в сторону, сказал Ротбек, — мне не нравится, что пальба стихла.

— Ты думаешь, наши отошли?

Ротбек молча утвердительно кивнул головой.

— Или мы, или они. Но, если бы это были они, то наши пушки их преследовали бы. А тут ты слышал, как сперва постепенно замирала наша стрельба. А их, напротив, гремела таким зловещим заключительным аккордом. Тебе князь ничего не сказал?

— Нет. Но он скоро приедет.

— Ну, вот и узнаем... А ты знаешь, Саша, эта пани Озертицкая премилая. Только я умоляю — не надо никакого намека Нине. Она так глупо ревнива. А ведь это маленькое приключение.

Коля сидел в углу стола рядом с Олениным и Медведским и говорил, серьезно нахмурив темные брови:

— Самое лучшее в жизни это конная атака. И по моему, если рубить, то надо не по шее, а прямо по черепу.

— Пикой колоть лучше, говорил Оленин. — Ах, как в училище казачьи юнкера колют. Эскадрон за ними не угоняется.

— Всё-таки лучше немцев, — сказал Коля.

— Как похож твой Коля на мать, — сказал Ротбек. — Ты не находишь? И какой воспитанный мальчик. А нам с Ниной Бог детей не дал.

— Поди-ка ты жалеешь? — насмешливо сказал Саблин — ах ты, сказал бы я тебе — старый развратник, да уже больно ты молод.

— Таких же лет, как и ты.

— Ну, милый мой, меня жизнь состарила, а ты... ты как-то сумел порхать по ней, как мотылек.

— Un papillon.*) — А в самом деле, гляжу на Колю и думаю, что хорошо бы иметь такого молодчика. Вот только... не люблю этой прелюдии, когда жена так некрасива и ни в ресторан, ни к цыганам, ни на тройке с нею не поедешь. Милый твой Коля. Ты ему Диану дал? А управится?

— Я думаю, — с отцовской гордостью сказал Саблин.

— Господа, юнкерскую! — говорил штабс-ротмистр Маркушин, молодой двадцативосьмилетний офицер, — помните мне, старику, веселые годы молодости и счастья.

Как наша школа основалась,

красивым нежным баритоном запел, краснее до слез, Коля. Человек десять офицеров с разных концов стола пристроились к нему и песня полилась по столовой, то затихая, то вспыхивая с новой силой.

Тогда разверзлись небеса,

Завеса на небе порвалась

И слышны были голоса!..

— У Коли совсем твой голос и твоя манера петь, и также конфузится, как конфузился когда-то и ты. А помнишь Китти?, — толкая локтем в бок Саблина, сказал Ротбек.

Саблин ничего не ответил. Лицо его было неизменно грустным. Ему казалось, что всё это было так бесконечно давно и жизнь его совсем прошла.

Роза принесла на сковороде дымящуюся баранину и яичницу.

— Спасибо, Роза! — раздались голоса и проголодавшаяся молодежь набросилась на еду.

Во время завтрака, вестовой, карауливший у крыльца, доложил Саблину, что командир полка едет в деревню. Все засуетились.

— Продолжайте, господа, завтракать, — сказал Саблин, — я пока выйду к князю один, переговорю с ним, а потом приглашу князя пить чай и представлю ему молодых офицеров.

*) Бабочка.

— Мы уже представлялись его сиятельству, — сказал князь Гривен. — Мы вчера прямо в штаб полка попали.

— Ну, тем лучше.

Саблин вышел из дома.

Ясноло. Из за разорванных туч проглядывало солнце и загоралось искрами на придорожных лужах. Князь Репнич на громадном гунтере, в сопровождении адъютанга, графа Валерского, и трубачей, подъезжал рысью к дому. Саблин отпартортовал ему.

— Здравствуй, Александр Николаевич... Где бы нам поговорить откровенно. А? Тут у тебя все офицеры.

— Да, завтракают.

— Ну, пойдем что ли в эту хату. Бондаренко, — крикнул он старому штаб-трубачу, — посмотри есть там кто?

Все слезли с лошадей. Бондаренко кинулся в хату.

— Один старик поляк и с ним девочка лет четырех, — сказал он, выходя из хаты.

— Выгони-ка их оттуда. Граф, захвати карту.

В маленькой тесной халупе было темно и душно. На низком столе лежали хомут, ремни и шило. Граф Валерский брезгливо сбросил всё это на пол и разложил на столе двух верстную четкую Русскую карту.

— Граф, посмотри, нет ли кого?

Адъютант осмотрел халупу и сказал.

— Никого.

— Вот в чем дело, Александр Николаевич, — сказал тихо князь Репнин — N-ский корпус отступает. Сегодня к шести часам вечера он займет позицию... — вот видишь, как у меня красным карандашем отмечено — от Анненгофа до Камень Королезский. Надо продержаться до завтрашнего вечера. Гвардия высаживается с железной дороги и спешит на выручку. 2-ая дивизия уже подходит. На тебя с дивизионом возложена задача наблюдать левый фланг корпуса. Ты так и останешься здесь в Вольке Щитинской. Ночевать можешь спокойно. Арьергарды пехоты останутся впереди. Ну, конечно, установи с ними связь, а завтра уже высылай дозоры. Я думаю: — твоя роль только наблюдение и доносить начальнику N-ской пехотной дивизии и мне. Мы оба будем за тобою

в Замошье. В корпусе настроение крепкое. Удержатся наверно. Потери хотя и велики, но и противника наколотили порядком.

— Значит Волька Любитовская и замок, где мы ночевали остается у неприятеля.

— Да. Командир корпуса уже послал туда казаков. Приказано всё сжечь, чтобы ничего неприятелю не досталось, ни ночлега хорошего, ни фабрик. Там уральский есаул есть — молодчик такой. Он это сумеет сделать. Я еще был в штабе, когда он отправился.

— Хорошо мы отплатим за широкое гостеприимство и радушие графа Ледоховского!

— А что, милый друг, поделаешь. Графу что! Я слышал, у него два дома в Варшаве, а вот куда денутся рабочие и служащие экономии? Это уже драма! Это, Александр Николаевич, семена большого социального бедствия. Неудовольствие войною и ее разорение глубоко захватит все слои общества. Беда отступать. Суворов-то не зря говорил: — в обороне гибель.

— Так почему не наступают?

— Бог его знает. То ли слабее мы, то ли духом этим самым наступательным не запаслись в должной мере. Ну, так всё понял? Я поеду.

— А чайку, князь.

— Нет. Спасибо. Устал я. С восьми в седле, тороплюсь домой. Телефон тяни на Замошье, понял?

— Слушаю.

Из еврейского дома, где открыты были окна, слышался веселый говор, у подъезда стояли поседланые офицерские лошади, их держали вестовые в шинелях, накинутых на плечи с винтовками вдетыми в рукав шинели. Стройная, легкая караковая Диана стояла под тяжелым солдатским седлом, до белка косила глаза по сторонам и будто жаловалась, что она стоит под некрасивым и тяжелым седлом.

— Лошадей можно расседлать, — садясь с крылечка на своего гунтера сказал князь.

Офицеры выбежали из столовой на улицу.

— Здравствуйте, господа, — сказал им князь, приветливо махая рукой, — хорошо отдохнули вчера? Спасибо за приглашение к чаю, но прошу извинить. Тороплюсь домой — если можно назвать мою хату домом.

Князь Репнин толкнул шенкелями лошадь и поехал по деревенской улице.

XXXIV.

С четырех часов дня через Вульку Щитинскую потянулись серые полки пехоты. Они появились как-то сразу и сразу наполнили деревню глухим шумом, побрякиванием котелков, привешенных к скатанным шинелям, и кислым прелым запахом солдатских сапог и пота. Все вышли смотреть на них. Люди шли усталые с серыми землистыми лицами, молчаливо уставивши глаза в пыльную землю. Винтовки были на ремне, ряды невыровнены, шли не в ногу. Рота за ротой густыми толпами наполняли улицу, громыхла пустая кухня, ехал на давно нечищенной косматой лошади офицер, такой же серый и пыльный и с таким же землистым лицом, как у солдат, мотался на штыке за ним батальонный значек, и опять густая, серая, безличная масса людей с черными от грязи руками и бледными усталыми лицами наполняла улицу.

Солдаты Саблинского дивизиона вышли из хат и дворов и смотрели, кто сочувственно, кто с недоумением на вальм валившую мимо пехоту.

— Какого полка, земляк? — крикнул солдат в ряды.

Солдаты ничего не отвечали.

— Не слышь что ли, милой. Какого полка?

— Пехотного — ответил чей-то голос.

Два, три солдата засмеялись на шутку; из рядов вышел светловолосый парень и, подходя к солдатам Саблина, сказал;

— Земляк, дай папироску, смерть курить хочется.

Несколько рук с папиросными коробками потянулось к нему. Солдат закурил и на лице его отразилось удовольствие.

— Отступаете? — спросил кавалерист.

— Прямо гонит нас. Утром до штыка доходили. Отбили его. Отошел. Много его полегло, однако и нам попало. Сила его. наших всего две дивизии. Шестой день деремся. Патронов мало. А он так и засыпает. Пулеметов очинно много.

— Что же, совсем уходите?

— Нет, зачем? Опять драться будем. Погоди брат, гляди, еще и победим. Для Российского солдата ядра, пули ничаво. Знай наших Чарторийских. А вы, земляк, откелева?

Новая колонна надвинулась на деревню. Эта шла в большем порядке. Большинство в ногу. Офицеры хмуро шли впереди рот, заложив руки за скатку шинели и так же, как солдаты, с ружьем на плече. За этим полком очень долго тянулась артиллерия. Орудия сменялись ящиками, ящики орудиями. Они были в пыли и грязи, лошади косматые со слипшейся от дождя и пыли шерстью. Прислуга шла стороною дороги и обменивалась редкими словами. И снова шла пехота.

Потом густые массы ее оборвались и еще часа два через деревню, то партиями по десять, двенадцать человек, то по одиночке, шли солдаты. Они заходили в дома. Кое у кого за скаткой висела зарезанная курица, или гусь. Их лица были возбуждены, некоторые были заметно выпивши.

— Земляк, а земляк, хошь угощу! — кричал бородатый солидный запасный солдат, вытягивая из кармана бутылку с вином и подходя к группе кавалеристов.

— Где достал?

— А в экономии. Там казаки! Ух и перепились, гуляют! Всем раздают. Спирт спустили в канаву, фабрику жечь начинают. Душевный народ, уральцы эти самые. Сами пьют и проходящих не забывают.

Около семи часов вечера, за деревней над ольховой рощей, прикрывавшей Вольку Любитовскую, взметнулось пламя, потом исчезло и вдруг появилось сразу в нескольких местах сильное, властное, злобное. Пожар загудел и заревел, и стали видны летящие вверх искры и горящие головни.

Пьяный казачий есаул с тридцатью казаками, все с корзинами с вином, торжествующе въехали в деревню. Перед собою они гнали восемь породистых племенных коров, сзади бежали молодые лошади.

Есаул остановился у еврейского дома, где стояли офицеры дивизиона Саблина.

— Господа офицеры, — сказал он, слезая с лошади и чуть не падая. — У, стерва, замахнулся он кулаком на шарахнувшуюся лошадь. — Холера проклятая! Язви тебя мухи! — Не угодно ли винца на поминки помещика.

— А граф Ледоховский, спросило несколько офицеров, — что с ним? с его гостями?

— Так он еще и граф!.. Ах, язви его! Он, господа, германский шпион.

— Да, что с ним? Почему вы знаете?

— Гости его уехали. Так. Жена с дочерью простились с ним и уехали тоже. Так.. Прислуга, рабочие, все поразбежались, куда глаза глядят, как мы приехали и заявили, что жечь будем, а он, господа, остался „Я”, говорит, „картины беречь буду. Не смеете жечь”. А, каков гусь! Я его уговаривать. Уперся. Ну, думаю, пусть себе. Стали мы с ребятами пировать и готовить солому, он ходит, смеется. „Не смеете”, говорит, „жечь... Тут Наполеон был. Я самому Государю буду жаловаться”. Мы молчим, смеемся. Ну и он смеяться стал. Так.. Явное дело — шпион. Стали мы зажигать. Господин полковник, эту бутылочку, позвольте, я вам. Финь-шампань настоящий и три звездочки американские на синем поле, самая высокая марка. Я на счет спиртного горазд. Да..

— Да говорите, что же с графом Ледоховским, — нетерпеливо сказал Саблин, чувствуя какую-то противную томящую дрожь и от нее дурной вкус во рту.

— Да что! Дурак он ваш граф-то, — смеясь сказал есаул. — Хоть и граф, а дурак. Пошел в картинную залу и застрелился. Горит теперь там. Так финь-шампань, господин полковник, не изволите. Презент от покойника.

— О!.. Звери! — вырвалось у Саблина, но он сдержался и сухо сказал:

— Благодарю вас, но мне вашего коньяка, есаул, не надо. И вам, господа, я запрещаю брать и давать солдатам это вино. Напрасно вы не вывезли тела несчастного графа. Как будет убиваться бедная графиня.

— Но ведь он шпион, бормотал есаул, — уверяю вас, — совершеннейший шпион. У него там в картинах наверно безпроводочный телеграф был... Что такое!.. Как хотите! А коньяк — хороший, старый.

Саблин вошел в еврейский дом. У стены стояли еврей и молодая девушка, и глазами, полными нестерпимого ужаса, смотрели на Саблина.

„Война!“ — подумал Саблин. — „Да, неужели это и есть война!“

XXXV.

Вечером пришло приказание: быть в полной готовности к бою. Поседлали лошадей. Люди спали кучами по дворам на сеновалах чутким тревожным сном, прислушиваясь к ночной тишине. Ночь была ясная, холодная, сильно вызвездило. У каждого двора стоял солдат и смотрел на дорогу. Лошади, потревоженные ночью, звенели снятыми мундштуками, тяжело вздыхали и, то принимались есть положенное перед ними сено, то вдруг останавливались, пряли длинными тонкими ушами и тоже к чему-то прислушивались.

Солдаты молчали и думали свои думы. Смысл войны им был непонятен и неясен. Они много слышали за вчерашний день об убитых и раненых, но ни тех ни других не видали: путь эвакуации шел стороною, по большой дороге. Злобы к немцу они не испытывали, не было у них и страха перед неприятелем. Многих забавляла мысль о том, что вот был богатый помещичий дом, знатный пан помещик и ничего не осталось: всё пожжено и погребло в огне. Но никто об этом не говорил, все как-то притихли перед тем, что совершалось.

Офицеры были все вместе в большом еврейском доме. Ни они, ни хозяева не ложились спать и не раздевались. Сидели, толкались, ходя взад и вперед, обменивались незначущими, пустыми словами, часто выходили на двор и прислушивались.

Ночь стояла тихая и дивно прекрасная. Широко через всё небо парчевою дорогою протянулся млечный путь и таинственные дрожали звезды. Внизу чернел лес и за ним по-

лосою светлилось в темном небе багровое зарево — то тле-ли уголья на пепелище палаца графа Ледоховского.

— Там тлеют полотна Теньера и Рубенса, — задумчиво сказал Саблин, вышедший вместе с Ротбеком на улицу.

— И благородные кости пана Ледоховского тлеют там же, — сказал ему в тон Ротбек — и что, милый Саша, важнее?

— Кому как? Человечеству дороже бессмертные произведения кисти великих художников, а близким графа его кости.

— А что такое бессмертие? — тихо сказал Ротбек, — вот и полотна сгорели и сколько, сколько за историю все-ленной погибло и умерло того, что называют бессмертным. Как жалко, что Мацнева нет с нами. Он бы пофилософство-вал на эту тему.

— Мне вчера говорил князь, он недалеко отсюда, с ав-томобильной колонной Красного Креста работает, где-то здесь.

— Вот и любовь его к автомобилизму ему пригодилась, — сказал Ротбек. — Ну, пойдем до хаты. Тихо всё.

В большой столовой, ярко над столом горела висячая керосиновая лампа под плоским железным абажуром, и офи-церы, скуки ради, пили, сами не знали который по счету, бледный, мутный и невкусный чай.

— Совсем, Александр Николаевич, — сказал граф Блан-кенбург, — как на станции, в ожидании ночного поезда, кото-рый опоздал и неизвестно когда придет.

— Да и станции этого поезда неизвестны. Госпиталь, хирургическая, тот свет, — сказал Ротбек и все посмотрели на него с удивлением, так эти слова не подходили к всегда веселому и легкомысленному Ротбеку.

— Ты что же это Пик, — сказал ему Саблин, — вместо Мацнева, в философию ударился. Расскажи лучше анекдот, да посолонее.

— Для некурящих, — сказал штабс-ротмистр Марку-шин.

— Ну, я не мастер. Это дивизионер наш мастак был со-леные анекдоты рассказывать. А, Саша, расскажи.

Саблин пожал плечами, давая тем понять Ротбеку, что его положение старшего полковника, флигель-адъютанта и недавнего вдовца не позволяет ему рассказывать анекдоты.

— Позвольте я расскажу, — сказал корнет Гривен, вчера приехавший в полк.

— Слушайте, слушайте, господа, молодой зверь будет анекдоты рассказывать! — крикнул Ротбек, за руку, как артист выводит танцовщицу, выводя на середину комнаты молодого офицера.

— Silence!

— Attention!

— Achtung!

— Смирно!

— Смирно, лучше всего, — раздалось голоса, в конец смутившие молодого рассказчика.

— Это было тогда, тогда только что разрешили дамам ездить на имперьяле конок, — начал Гривен. — И вот, молодая и очень хорошенькая девушка стала подниматься по лестнице, а внизу стоял молодой человек.

— Старо, старо, как мир. Зверь, вы не выдержали экзамена.

— Позвольте, я знаю несколько лучше на ту же тему, — сказал барон Лизер.

— Ну валяй, барон!

— Когда Бог создал женщину, он вывел ее на суд для аппробации и кригики художнику, архитектору и обойщику.

— О! о! — и он думает, что скажет что-либо новое! — воскликнул Ротбек, — милые мои, верите ли, что новые анекдоты случаются только в жизни, да и то всегда скверные анекдоты.

— Господа, кажется, выстрел. Стреляют, сказал граф Бланкенбург.

Все сразу стихли. Недалеко, четко и звучно, в ночной тишине, раздавались выстрелы. Вдруг протрещал пять выстрелов пулемет, ударил еще раз, и смолк и снова таинственная тишина стала кругом. Все вышли на улицу. Офицеры, кто в фуражке, кто без нее, стояли и прислушивались.

— Это наши, — сказал Артемьев.

— Почему ты знаешь? — спросил его Маркушин.

— Звук, направление. Мне так кажется.

— Конечно, это наши, — сказал Саблин. — Показалось кому-нибудь на заставе, что подходят, вот и стали стрелять.

— А может быть и правда, кто подошел. Разведчики его, — сказал Артемьев.

— Ух и страшно должно быть теперь на заставе, в лесу. У-у-у! — сказал Ротбек. — Ничего не видно.

— Это так со света кажется, что ночь такая темная, а если приглядеться, то видно, — сказал Артемьев.

— А который, господа, теперь час? — спросил Ротбек.

— Второй уже.

— Надо бы и поспать. А то завтра тяжело будет.

Офицеры стали устраиваться, где попало. Ротбек и штабс-ротмистр Маркушин улеглись на столе, подложив шинели под головы, кто улегся на лавках, кто на сдвинутых стульях, кто на полу. Саблину еврей предложил свою кровать, но Саблин отказался и сел в углу, облокотившись на подоконник.

Офицеры долго не засыпали и обменивались незначительными вопросами и сонными недоуменными ответами. Загасили лампу и комната погрузилась во мрак, мутные очертились большие окна и ночь заглянула в них своим тревожным взором. Чья-то папироса долго вспыхивала красным огоньком, то исчезая, то появляясь. Наконец, курильщик бросил ее и с тяжелым вздохом повернулся на заскрипевшей под ним скамье.

Коля спал, неловко устроившись на двух стульях. Саблин не видел, но угадывал его голову, на которую он для мягкости нахлобучил фуражку, его руки, подложенные под затылок и ноги подогнутые на стульях, Шпоры чуть поблескивали на высоких сапогах. Нежное, непередаваемое чувство охватило Саблина. Он горячо, до боли любил в эти минуты своего мальчика. Он понимал теперь, что он простил Веру Константиновну, простил уже за одно то, что она подарила ему такого сына. Он думал о той карьере, которую сделает его сын и о том, как в нем отразится он сам, но без всех его пороков. — „Может, это хорошо, что Коля приехал на вой-

ну”, — думал Саблин. — „Пусть посмотрит. Суровая школа войны уберезет его и охранит от увлечений женщинами. Пусть у него не будет ни Китти, ни Маруси, пусть найдет он свою Веру Константиновну и отдаст ей чувство неизломанным и неизжитым. А что худого было в Китти?” — подумал он. — „Или в Марусе?” — Воспоминания хотели было подняться в нем, но в это время незаметно подкрался к нему сон и охватил его крепкими объятиями. Сам не замечая того, Саблин откинул голову на оконную раму, неловко прижался виском к переплету и заснул крепким сном усталого человека.

Его разбудили свет и холод. От окна тянуло утреннюю сырость. Он открыл глаза. Огород и поля за окном были залиты золотыми лучами солнца, вдали, позлащенный ими, веселый и приветливый, темнел густой лес, небольшими островами и рощами молодых елок разбегавшийся по полям. Небо было голубое, чистое, на самом верху, окруженная розовыми перистыми облаками бледная и высокая, с обломанными краями широким серпом чуть видная висела луна.

Было половина восьмого. Офицеры спали в самых неудобных позах и громкий храп сливался и дрожал в душевной комнате.

Саблин потянулся занемевшим телом, посмотрел на те стулья, где был Коля, и увидел, что его нет.

Саблин вышел на двор.

XXXVI.

Коля радостный, веселый, с чисто вымытым румяным от холодной воды лицом и еще мокрыми волосами прижимался щеками к мягким храпкам Дианы, трепетавшей от его ласки и старавшейся нежной верхней губой схватить ухо Коли, и осыпал ее нежными именами.

Он давал ей на ладони сахар, но Диана, забывая про лакомство, играла с мальчиком, дыша ему на щеки горячим дыханием розовых, раздутых ноздрей.

— Папа! какая прелесть, Диана! Ты знаешь, она меня узнала. Так и тянется ко мне.

Мальчик жил счастьем своих шестнадцати лет, восторгом радостного летнего утра и ласки молодого животного.

— Пойдем, папа, что я тебе покажу. Отсюда — я знаю, где стать, видна вся наша позиция.

Вестовой Саблина и трубач, такие же вымытые, свежие и блестящие, как и Коля, пошли за ними. Коля вывел отца огородами на небольшую поляну, которая спускалась вниз к широкой долине. Отсюда открывался далекий горизонт. Вправо к самому низу лощины сбегал лес и до ближайших его опушек было не больше пятисот шагов. Лес ровной полосой уходил на север. Он стоял на вершине длинной гряды холмов и спускался к востоку, постепенно расширяясь. На запад шли поля, то желтые сжатые, то черные, то зеленые, покрытые яркою сочною травою. Верстах в семи виднелся красный костел, тот самый, мимо которого шли эскадры Саблина третьего дня. Вдоль всего леса, верстах в двух от Саблина, длинной узкой серой полосой копошились солдаты. Простым глазом трудно было увидеть, что там делается. Саблин поднес к глазам бинокль. Вдоль всего леса, уходя за горизонт взметывался желтый песок. Он летел из-под земли непрерывными кучками и присыпался к желтой ленте уже нарытого окопа. Иногда из-под земли выскакивал солдат и бежал к лесу за ветками и деревьями. Из леса шли люди, несли деревья и сучья и исчезали под землею в окопе.

Саблин внимательно оглядывал позицию и оценивал свое положение. Он оказывался за ее левым флангом. Он наметил небольшой овражек за огородами, где легко мог поместиться весь дивизион в резервной колонне. К оврагу сбегали молодые елки саженного леса.

Жуткое чувство на минуту охватило Саблина. Он боялся не за себя, а за сына, за офицеров, за милого вселого Ротбека, за солдат, за лошадей — всё было ему в эти минуты бесконечно дорого. Но он сейчас же успокоил себя. Что может сделать в этом громадном бою его дивизион, двести всадников? Только наблюдать. В дозоры Саблин Колю не пошлет, а что издали, с двух верст, посмотрит на бой, ничего опасного тут нет. Неприятель никогда не догадается, что в

балке стоит дивизион. Он облегченно вздохнул и спокойно разглядывал роющуюся в земле пехоту.

— И всё роет и роет, — сказал сзади него его вестовой Заикин, на правах близкого человека, позволявший себе заговаривать с Саблиным. — Вчора часов с десяти копать начал. Наши ребята туда ходили. Бравый народ. Немца этого никак не боятся.

Саблин приказал трубачу вызвать к нему эскадронных командиров и, когда Ротбек и граф Бланкенбург пришли, Саблин указал им ложину и приказал свести туда лошадей в поводу и построиться в резервной колонне фронтом на запад.

— Неприятель? — спросил Ротбек.

— Неприятеля не видно, — сказал Саблин.

Эскадроны густыми колоннами наполнили всю низину. Люди лежали на траве между лошадьми. Большинство, плохо спавшие ночью разморились на начавшем пригревать солнце и заснули крепким сном, разметавшись на траве.

Саблин с офицерами стоял на краю оврага и смотрел, то на войска, заканчивавшие окопы, то на запад, откуда должен был появиться неприятель.

— Господа, только не толпитесь, — говорил граф Бланкенбург, — не надо себя обнаруживать.

Офицеры расходились, но потом опять незаметно сходились в кучки.

Солнце поднималось выше, ясный осенний день наступал, дали становились четкими и яркими, костел краснел на фоне зеленых полей.

— Вон они! — сказал сзади Саблина Заикин, простым глазом усмотревший неприятеля.

— Где, где? — раздались голоса и бинокли поднялись к глазам.

— Вот, ваше высокоблагородие, смотрите правее костела, вот где черное поле. Сейчас не видать, залегли должно быть.

Саблин повел туда бинокль. От волнения в глазах было мутно и он плохо видел. В бинокле показался край черного поля, камень лежал на нем. И вдруг из-за камня поднялся человек, рядом другой и длинная цепь встала поперек поля.

Это не были наши. Их мундиры имели особый синевато желтый оттенок. Саблин ожидал увидеть черные каски с блестящими медными украшениями, но головы были круглые и серые. Фигуры наступавших казались квадратными. Они быстро шли, неся ружья на ремень и сразу исчезли: должно быть опять залегли.

В их движении Саблину почудилась страшная сила и мощь и он с трудом заставил успокоиться свою ногу, начавшую дрожать дрожью волнения. Он оторвал бинокль и огляделся. Все офицеры побледнели, лица как-то осунулись, глаза смотрели напряженно. Вид наступавшего врага смущал.

— А вон наши патрули должно отходят, — спокойно сказал Заикин.

— Хорошо идут, — тяжело вздыхая, проговорил Бланкенбург.

— Я насчитал пять цепей, одна за другой, — сказал Артемьев.

Когда Саблин снова поднял бинокль, черное поле было пусто. Германские цепи спустились по желтому жнивью широкого господского чисто убранного поля. Теперь было видно, что на касках у них были чехлы, что ружья они несли на ремне и шли чрезвычайно быстро.

— И чего наши не стреляют? — сказал барон Лизер.

— Далеко. Версты три будет. Это в бинокль так кажется близко.

— Ну, а батареи почему молчат, ведь артиллерия хватила бы, — сказал Ротбек.

И, будто отвечая его желанию, вправо за лесом ударила пушка. Снаряд, скрежеща по воздуху, полетел через лес над нашими окопами и белый дымок повис низко над желтым полем, позади германских цепей.

— Эх! перелет дали! — со вздохом сказал Заикин.

Прошло томительных полминуты. Снова раздался выстрел, заскрежетал и завыл высоко в воздухе снаряд и на этот раз дымок появился над самою цепью. Но она не дрогнула и шла таким же ровным шагом.

— Что, господа, — взволнованно спросил поручик Кушнарев, — не видали, никого не свалило.

— Идут, — сказал, вздыхая, Бланкенбург.

— Нет, легли. Не видно, — проговорил Ротбек.

В ту же минуту, сначала четыре, потом, после полминутного перерыва, еще четыре выстрела раздалось за лесом и снаряды шумно пронеслись над окопами и восемь белых дымков один за другим последовательно вспыхнули над полем и сорванные ветром понеслись назад и растаяли.

— Кажется, хорошо попали? — сказал корнет Покровский, задыхаясь от волнения.

— Не видно, убило кого, или нет? — спросил Артемьев.

— Нет, бегут.

— Куда бегут?

— Вперед. Хорошо бегут, равняются.

Разбуженные выстрелами артиллерии, солдаты оставляли лошадей, подымались на край лощины и смотрели на наступавшего врага.

— А его артиллерия молчит, — сказал вахмистр Иван Карпович, все такой же полный, солидный, но уже совсем седой, ни к кому не обращаясь.

— Эй, вы там! — крикнул строго граф Бланкенбург, — не вылезай, не обнаруживай себя.

Солдаты подались назад.

— Сами вылезли, — проворчал один солдат, — а мы не смей.

Далеко за полями с костелом, глухо ударили четыре пушки и опережая их звук со страшною быстротою раздалось приближающееся шипение четырех снарядов. Все невольно присели и пригнулись.

— Вон, вон они где, — крикнул Заикин, показывая, как за окопами под самым лесом взметнулось четыре буро-желтых взрыва и полетела вверх черная земля.

— Гранаты, — сказал Ротбек.

— Ну, Господи благослови, начинается, — сказал Кушнарв.

С нашей стороны открыли огонь еще две батареи. Двенадцать выстрелов, сопровождаемых двенадцатью вспышками рвущихся шрапнелей, следовали один за другим. Воздух дрожал от сотрясения и в ушах стоял гул. Наши шрап-

нели осыпали противника пулями, и в бинокль уже видно было, как оставались лежать серые фигуры на зеленом клевере, как ползли назад раненые, как несли тяжело раненых.

— Эх, ловко, по санитарам хватило, — сказал Покровский, — бросили, каналы, раненого и разбежались.

— Нет, снова подходят, берут, — сказал Артемьев.

— Должно начальник ихний, — вздыхая сказал Заикин, простым глазом видевший так же хорошо, как офицеры в бинокль.

— На, Заикин, бинокль, — сказал Коля, — посмотри как хорошо видно. — Я ружья вижу и каски в чехлах. Сапоги видно.

— Хорошо идут, — сказал Заикин, рассматривая в бинокль. А сзади-то опять цепи. Резервы должно быть.

Все поля на западе, сколько хватал глаз, были покрыты маленькими серыми фигурами, казавшимися беспорядочными, в шахматном порядке разбросанными, но неизменно и быстро подававшимися к нашим окопам. Их, казалось, было так много, что нельзя было сосчитать их бесчисленных рядов. Передние цепи уже показались на склоне холма, покрытого сжатым хлебом и залегли. В это мгновение наши окопы загорелись стрельбою, и сражение началось по всему фронту.

XXXVII.

По расположению сзади идущих цепей Саблин увидал, что главный удар противника направляется на наш левый фланг, то есть, как раз к тому месту, где стоял его дивизион. Одну минуту ему в голову пришла мысль, что он может всегда уйти, что его это не касается, но он прогнал эту мысль. С лихорадочным волнением, почти не отрывая глаз от бинокля, он следил за развитием на его глазах большого сражения. Сколько прошло времени, который теперь час, он не мог бы сказать. Судя по тому, что тени от людей и деревьев почти исчезли, должно быть за полдень. Саблин посмотрел на часы. Был второй час. Он шесть часов простоял на поле, но не чувствовал усталости и не заметил этого. О Коле он позабыл. Иногда, бессознательно, когда приближающиеся

снаряды, казалось, неслись прямо на него, он говорил мысленно — „помоги Господи!.. Господи помилуй!..”

Несколько снарядов было брошено по деревне Вульке Щитинской. Германцы хотели выгнать оттуда предполагаемые резервы. В деревне началась суматоха. Из домов, как обезумевшие, выбегали люди, хватали что попало, грузили на телеги и мчались вон из деревни. Там слышалось тревожное мычание коров, бляение овец, крики кур и гусей, которых ловили и увязывали в ящики и корзины.

— Смотрите, смотрите, подожгли, загорелось, — говорили офицеры, указывая на сильно вспыхнувшее в деревне пламя.

— Как раз у того еврея, где мы стояли, — сказал Ротбек.

— Бедная Роза, — сказал Покровский.

Противник перестал обстреливать деревню. Он убедился в том, что там войск нет. Кавалерийский дивизион он не считал ни за что.

Из-за правого фланга неприятеля, на глазах у Саблина, верстах в трех от него, появилась неприятельская батарея. Она быстро спустилась в ложину и видимая простым глазом Саблину и его офицерам, но совершенно скрытая от пехоты, стала левее наших окопов и сейчас же открыла огонь.

— Ай-ай! Смотрите пожалуйста! — стонущим голосом воскликнул штаб-ротмистр Маркушин. -- Попали попали! Ай, что же это!

Столо́ бурого дыма вылетел прямо из наших окопов и оттуда полетели доски, палки. Потрясенное воображение рисовало летящие вверх руки и ноги, куски людей.

— Опять, опять!

Все бинокли офицеров были наведены теперь на это место. Батарея била без прсмаха. Стройная линия окопов обращалась в ряд бесформенных ям, куривших черным дымом. Оттуда стали выбегать люди и бежать к лесу. Шрапнель их настигала. Неприятельский ружейный огонь усилился здесь, а ему отвечало все меньше и меньше ружей. На глазах у Саблина разрушался важнейший участок позиции, германская пехота готовилась выйдти во фланг нашим окопам.

Саблин в волнении ходил взад и вперед недалеко от лесной опушки. Что мог он сделать? Спешить дивизион и послать его удлинить окопы? Но что могли сделать сто сорок спешенных кавалеристов, неискусных в пешем бою, без окопов, там, где бессильны были целые батальоны пехоты. — „Проклятая батарея! Проклятая батарея!” — бормотал он, всё быстрее ходя по полю. Одна пуля просвистала недалеко от него. Он не обратил на нее внимания. — „Проклятая батарея, надо уничтожить ее, убрать! Но как?!”

Конною атакою!

Саблин рассмеялся этой мысли. — „Разве возможна конная атака по чистому полю, в лоб батарее? Это хорошо на военном поле под Красным Селом, где стреляют холостыми патронами”. — Он остановился и посмотрел на свой дивизион. Офицеры, понимая, что наверху, они могут себя обнаружить, спустились вниз и отдельной кучкой стояли впереди эскадронов. Саблин их всех различал. Вон Ротбек, улыбаясь говорит о чем-то Маркушину. Милый Пик! Шалунишка Пик, в которого без памяти влюблена Нина Васильевна. Вон его Коля разговаривает с графом Бланкенбургом, старый Иван Карпович выговаривает солдату за то, что дал лошади лечь и тот обтирает сорванной травой замазавшийся бок. Бросить этих людей на верную смерть, уничтожить дивизион и ничего не сделать... Его поставили наблюдать. Он своевременно донес о прибытии батареи, даже нарисовал ее место, теперь его долг ждать, пока не начнет отступать пехота и тогда уйти и стать в безопасном месте. Это его задача.

Успокоившись на этом решении, Саблин опять начал ходить взад и вперед от первых елок леса до края оврага и думать свои думы. Смутно было на душе. Правильное решение ничего не делать томило и сосало под ложечкой, вызывало тошноту во рту. Саблин думал о конной атаке, его кидало в жар, пульс стучал в виски и в глазах темнело. — „Безумие”, — говорил он себе, — „храбрость должна быть разумна. Я отвечу перед Богом и Родиной за то, что погублю эти прекрасные эскадроны”,

Внизу слышался смех. Ротбек боролся с длинным и худым Артемьевым, стараясь повалить его на траву. Офицеры и солдаты окружили их и смотрели за исходом борьбы. Они забыли о бое.

„И этих людей я поведу на верную смерть”, — подумал Саблин и отрицательно тряхнул головой. Он хотел круто повернуть от леса и пойти в овраг смотреть на борьбу, чтобы так же, как они, забыть про бой, про проклятую батарею и не мучиться тем, в чём его долг, но в эту минуту из леса, продираясь сквозь кусты, показался солдат их полка на взмыленной, тяжело дышащей лошади, издали махавший ему листком бумаги.

Солдат боялся выехать на открытое место, где свистали пули и слезши с лошади стал привязывать ее к дереву. Саблин подошел к нему.

— К вам, ваше высокоблагородие, от его сиятельства. командира полка, приказание.

Саблин долго не мог разорвать аккуратно заклеенного конверта — руки дрожали, пальцы не слушались. Он вынул листок бумаги. Твердым ровным прямым и четким почерком князя было написано:

— „На нашем левом фланге, против вас, появилась неприятельская четырёхорудийная батарея. Она наносит нашей пехоте слишком большие поражения. Пехота не может держаться и начинает отходить. Это грозит проигрышем всего сражения. Вам необходимо уничтожить эту батарею. Бог да поможет вам! Свиты Его Величества генерал майор князь Репнин”.

Все запятые были на своих местах. Нигде, ни в одной букве не дрогнул карандаш. Князь Репнин весь был в этой записке. Сухой, холодный, рыцарь долга, долга прежде всего.

— А ведь он знал, когда писал, что посылает на верную смерть, — подумал Саблин и, нахмурившись, пошел от солдата.

— Ваше высокоблагородие, пожалуйста конверт, крикнул настойчиво солдат.

— Ах, да, — сказал Саблин и на конверте написал „Свой долг исполним. Полковник Саблин“. И проставил час: — 15 часов 42 минуты.

Саблин пошел к дивизиону. Всё было по-старому, но всё ему казалось не таким, как было раньше. Небо, солнце и дали казались маленькими, мутными, чужими и плоскими, как декорация. Отчетливо рисовался вереск и трава под ногами. Каждый камешек, каждая песчинка были ясно видны. Саблин не чувствовал под собою ног. Они были как на пружинах. Гула пушек и ружейной трескотни он не слышал. Ему казалось, всё было тихо. Рот был сухой и Саблин подумал, что он не сможет сказать ни слова. Он шел, прямой и стройный, и лицо его было белос, как снег, а глаза смотрели широко и были пустые. Он ни о ком и ни о чем не думал. Подойдя к оврагу и уже спускаясь в него он крикнул:

— Дивизион, по коням!

Он крикнул своим полным голосом, так, как командовал всегда, а ему показалось, что это кто-то другой командовал глухо и неясно. Эскадроны всколыхнулись и замерли.

— Эскадрон, по коням, звонко крикнул Ротбек.

— По коням, командовал граф Бланкенбург.

Все уже знали в чём дело. И все стали белыми, как полотно, и у всех мысли исчезли, но тело исполняло всё то, что привыкло и должно было исполнять.

Заикин бегом подбежал к Саблину и за ним рысью, играя и, стараясь ухватить губами за винтовку, бежала Леда.

Саблин согнул левое колено и Заикин ловко и легко посадил его в седло. Правая нога сама носком отыскала стремя, Саблин, не вынимая шашки, поднял стэк над головой.

— Дивизион садись, — командовал он и голос его совершенно окреп. Лошадь, на которой он сидел, придала ему силу.

— Первый эскадрон! — крикнул граф Бланкенбург.

— Второй эскадрон! — звонко крикнул Ротбек.

— Сад-дись — крикнули оба одновременно.

Команда следовала за командой. Зазвенели пики, звякнули стремяна, когда эскадроны выравнились.

— Шашки к бою! Пики на бедро, слушай! — командовал Саблин.

Сверкнули на солнце шашки и пики нагнулись к левым ушам лошадей.

— Эшелонами повзводно, в одну шеренгу, разомкнутыми рядами, на шесть шагов, — командовал Саблин и Бланкенбург и Ротбек повторяли его команду.

— На батарею!

— На батарею — повторили Бланкенбург и Ротбек.

— Первые взводы рысью!

— Марш! — раздалась команда и первые взводы раздвинулись в овраге и быстро стали выходить из него. Справа шел сопровождаемый трубачем Бланкенбург, слева в таком же порядке Ротбек.

Саблин пустил рвавшуюся вперед Леду и выскочил перед оба первых взвода. За ним, с трудом сдерживая нервную Диану скакал правее трубача Коля, но Саблин не видал его.

XXXVIII.

На германской батарее не сразу заметили появление атакующей кавалерии. Там были увлечены стрельбой по окопам, из которых убегала Русская пехота. Готовился решительный удар и германская пехота собиралась встать, чтобы броситься в пустеющие окопы.

Саблин успел спуститься в широкую ложину и подняться на холм незамеченный неприятелем. Перед ним было громадное сжатое поле и в полутора верстах была ясно видна батарея и рота прикрытия.

Батарея стреляла пол-оборотом влево и Саблину видны были желтые вспышки ее огней. Теперь она быстро стала поворачивать на него. Видно было, как бегали и суетились подле орудий люди.

— Полевым галопом! — скомандовал Саблин, но люди уже сами скакали, не дожидаясь команды.

Тяжело ухнули пушки и где-то сзади разорвались снаряды. Саблин видел, как неслась под ногами его лошади ему навстречу земля и подумал, что хорошо, что борозды

идут по направлению атаки, так легче скакать. Сам он упорно смотрел на батарею. Она росла на его глазах. Стали видны отдельные люди в серых касках, бегавшие к ящикам и носившие блестящие патроны, стал виден офицер, стоявший во весь рост за серединой батареи и пушки незнакомого чужого вида, снизу поднимавшие свои дула.

Какой-то неприятный свист несся навстречу, но свистали то ветер в ушах, или пули, Саблин не думал. Левее, его обгонял Ротбек с поднятой над головой шашкой, будто собирающийся кого-то рубить. Саблин увидал, как прямо перед ним вспыхнуло пламя и белое облако появилось подле Ротбека, и лошадь Ротбека упала, а когда Саблин проскакивал мимо, он увидел, что Ротбек лежал ничком на земле и низ его тела залит кровью.

— Пику оторвало ногу, — подумал он и это не произвело на него никакого впечатления.

Батарея была видна вся. Люди суетились и не владели собою. Рота прикрытия бежала врассыпную.

Мимо Саблина, развевая хвост, вылетела красивая караковая лошадь под солдатским седлом и Саблин узнал в ней Диану. Но он не успел подумать о том, что могло обозначить появление Дианы без седока, как всё для него изменилось. Страшный удар хватил его по груди. Ему показалось, что его лошадь споткнулась и он упал с нее. Разгоряченное лицо холодила черная пахучая земля и неприятно лезла в рот. Саблин приподнял голову. Мимо него мчались на тяжелых лошадях солдаты и хрипло кричали ура! Шеренга проносилась за шеренгой и топот конских ног гулко отзывался в ушах Саблина. Он ничего не понимал. — „Я ранен, или убит“, — подумал он, и увидал над собою синее бездонное небо. Мириады мелких прозрачных пузырьков поплыли перед глазами, ослепили его, он закрыл глаза и потерял сознание.

Граф Бланкенбург первым влетел на батарею и ударом шашки свалил стрелявшего в него из револьвера солдата. Его эскадрон и эскадрон Ротбека, под начальством штабс-ротмистра Маркушина, заменившего убитого Ротбека, облепили орудия и творили расправу.

Правее их, потрясая воздух, гремело ура! Пехота, выскочив из окопов бежала за отступавшими германцами. В полуверсте влево, сколько хватал глаз, поле было покрыто скачущими на вороных лошадях всадниками: — подоспевшая к бою 2-ая дивизия бросилась преследовать отступавшего неприятеля.

Победа была полная. И этой победой Российская Армия была обязана безумно смелой атаке дивизиона Саблина!

Сам Саблин, тяжело раненый в грудь, лежал без сознания на поле. Его сын Коля с изуродованным туловищем и оторванной головой, исковерканный до неузнаваемости стаканом шрапнели, валялся в луже дымящейся крови, в двух шагах позади. Штабс-ротмистр Артемьев, корнет Покровский, поручик Агапов, корнет барон Лизер были убиты, поручик Кушнарев, барон Лидваль и граф Толь ранены. Из приехавших третьего дня вечером шести офицеров: — трое — князь Гривен, Оленин и Розенталь были убиты и двое, Медведский и Лихославский, ранены. Двадцать три солдата убито и шестьдесят два ранено.

Когда ротмистр граф Бланкенбург собрал позади взятой батареи дивизион, то эскадроны едва набрали по два взвода. Вахмистр Иван Карпович был убит на самой батарее в тот момент, когда рубил ее командира.

К собранным людям по затихшему полю рысью подъезжал князь Репнин. Его лицо было величаво спокойно. Лошадь пугливо косилась на лежавшие повсюду тела лошадей и солдат.

— Спасибо, молодцы, за лихую атаку. Поздравляю вас со славным делом, — крикнул он.

— Р-рады стараться, — крикнули всё еще бледные, тяжело дышащие люди.

— А где полковник Саблин? — спросил князь Репнин.

— Убит, — ответил граф Бланкенбург.

— Нет, ранен, — сказал Маркушин. Я видел: его сейчас понесли. Он стонал.

— Славное дело, лихое дело, господа, — сказал Репнин. — Вы навеки прославили наш полк!

Он слез с лошади и устало подошел к обрыву высокой межи.

— Граф, веди людей к полку в Замошье, сказал он Бланкенбургу и, обращаясь к адъютанту, сказал: — достань, граф, книжку донесений. Надо послать телеграмму Его Величеству, порадовать его громкой и славной победой.

Когда адъютант составил подробное донесение и, поместив в нем фамилии всех убитых и раненых офицеров, дал подписать его князю Репнину, князь задумался и долго держал карандаш в руке, оглядывая поле, по которому ездил телеги и санитарные повозки и ходили пехотные санитары, собирая раненых.

— Блестящее дело! -- тихо сказал он, наконец, подписывая донесение. — Блестящее дело! Сколько цвета Русской молодежи погибло! Пусть знает Россия, пусть знает весь мир, что наш народ един, что офицер наш умеет умирать, вместе с солдатом, впереди солдата. Час суровой расплаты перед народом настал и мы полным рублем платим за наше привилегированное положение, за наши богатства, за наши земли, за сытую и веселую жизнь в мирное время. Пусть видит Государь и вся Россия, что отцы отдали своих сыновей на алтарь отечества и сами легли рядом с ними. Бедный Саблин! Знает он о том, как ужасно погиб и изудорован его сын, этот прекрасный мальчик!? Какой ужасный рок его преследует. Месяц тому назад потерять жену, при таких трагических обстоятельствах, теперь сына. Может быть, лучше и самому ему умереть! Что у него осталось?

— С л а в а ! — гордо и торжественно произнес граф Валерский и в тихом воздухе это слово прозвучало необычайно ярко. На поле лежали мертвые. Раненые стонали и кричали, стараясь обратить на себя внимание санитаров, черная земля еще не впитала в себя кровавые лужи, убитые лошади безобразно вздувались большими животами. Но это великое слово, казалось, покрыло собою всю безотрадную картину поля смерти.

— **Красота подвига осталась Саблину!** — снова сказал адъютант. Умрет он, или будет жить, но этот день конной

атаки, им веденной и приведшей нас к победе, будет сиять вечным неугасаемым светом!

Да будет! — сказал Репнин. На его строгом лице легли торжественные тени. Он встал с межи, на которой сидел, знаком подозвал к себе вестового, сел на лошадь и, снявши фуражку, медленно поехал по полю мимо убитых. Клонившееся к западу солнце бросало длинную тень от его худой и прямой фигуры. В сухих чертах его лица отразились целые поколения героев, славу и подвиг почитавших дороже жизни, верность Государю и Родине дороже счастья.

XXXIX.

В конце ноября 1914 года N-ская кавалерийская дивизия, в которую входил Донской казачий полк Карпова после ряда утомительных маршей, исколесивши всю Восточную Галицию, под напором австрийских армий, прикрывая отходившую пехоту, подошла к реке Ниде. Полк Карпова был расквартирован в длинной деревне, носившей странное наименование Хвалибоговице, вытянувшейся по каменистому обрыву шумящей быстрой речки, впадавшей в Вислу.

Соприкосновение с противником было утеряно. Противник остановился и произошла случайная передышка.

Осень стояла мокрая. Грунтовые дороги развезло и в них тонули подводы интендантских транспортов. Подвоз с тыла прекратился и полки были предоставлены самим себе. Они посылали фуражиров по окрестным деревням для закупки сена и овса.

Утром хмурого декабрьского дня Карпов проснулся задолго до рассвета. Его мучила забота. Ему надо было ехать за сорок верст в штаб корпуса по тяжелому и неприятному делу. Несколькими днями тому назад, два фуражиря 1-й сотни, Скачков и Малов, были посланы за Вислу, в Галицию, за сеном. В одной хате они нашли много сена, но старик Русин и его молодая дочь отказались продавать сено. Тогда Скачков с Маловым сами наложили сотенную подводу сеном и пришли к Русину, чтобы рассчитаться за нее. Русин отказался принять деньги, а его дочь стала ругаться. — „Разбойники

вы! Воры, и Государь ваш такой же вор!" — кричала она. — Нас ругай, мы смолчим, — строго сказал ей Малов, — а Государя нашего обижать не смей, а то плохо будет. — Но баба разошлась. Она стала поносить Государя последними словами. — Тогда, — как показывал потом Малов, — не стерпел я такой обиды, затмение на меня нашло, я взял, приложился в сердцах в злую бабу из винтовки, выстрелил и положил ее на месте. — Дело получило огласку, наехали полевые жандармы, сбежался народ, да и Малов не таился, чистосердечно всё рассказал. — Что у ей, — говорил он, — души у ей нет, один пар, жалеть ее не приходится, а ругать Государя она не смеет. — Но дело обернулось серьезно, полевой суд усмотрел в этом мародерство и убийство и Малова приговорили к смертной казни через расстреливание.

Карпов не мог этого допустить. Он слишком был христианином, чтобы не ставить выше всего побуждения сердца. Он понимал, что в поступке Малова не было убийство, а была запальчивость и святое и гордое чувство глубокого и сильного, до самозабвения, патриотизма, и в сердце своем Карпов, не оправдывая Малова, не обвинял его. Малов был храбрый казак уже имевший георгиевский крест. Карпов знал его отца, **мать**, деда и бабушку, знал весь обиход их станичной жизни и понимал, что смертная казнь Малова убьет всю его семью. Эта казнь казалась ему чудовищной особенно на войне, где и так легко было умереть и где так дороги были такие честные и верные казаки, как Малов. Он переговорил обо всем с начальником дивизии и с его разрешения решил ехать с личным ходатайством за Малова к командиру корпуса. Ночь он не спал. В маленькой убогой хате крестьянина в Хвалибоговице было холодно и грязно. Карпов ворочался на жесткой походной койке. Рядом на сдвинутых скамьях, на сене спал адъютант. На печи лежал сам хозяин. За окном стояла холодная лунная ночь и лучи месяца падали в избушку. В углу, под образами и литографированной картиной Ченстоховской Божией Матери в короне, стояло темное знамя в чехле, и Карпову чудилось, что знамя благословляет его на поездку.

Встал он в пять часов утра. Николай, его денщик, зажег жестяную лампочку, поставил на стол и принес ему чай. И

он, и вестовой, седлавший лошадь, и оба трубача, Лукьянов и Пастухов, которые должны были с ним ехать, знали, зачем едет их командир и сочувствовали ему.

В шесть часов утра Карпов сел на лошадь и поехал по подмерзшей дороге на восток. Луна красным диском опускалась за темный лес, смутно рисовалась узкая дорога между густых кустов. Карпов ехал, то шагом, то рысью, думая свои думы. Он видел станицу и Маловых, у которых бывал, видел осанистого с красивой седою бородою деда Малова с георгиевским крестом за Ловчу и не мог представить, что почувствует старик, когда его внук будет расстрелян по приговору полевого суда. Он обдумывал, что и как скажет командиру корпуса, генералу Пестрецову, и ему его речь казалась такой убедительной, что Пестрецов не мог не тронуться ею.

В двенадцать часов дня он въезжал в железные ворота большого парка господского дома Борки, где помещался штаб корпуса. Ему было странно, что штаб корпуса помещался так далеко от фронта, но он не думал об этом и не придавал этому никакого значения.

Двор был чисто подметен. Куртина, против главного подъезда, была уставлена цветами, закутанными соломой и увязанными рогожей. Красавец Лукьянов и Пастухов, одевшие лучшие свои шинели казались на этом дворе жалкими и убогими. Резко видна была бедность их одежды, оторванная кисть на шнуре сигнальной трубы, заплатка на сапоге. Карпов самому себе в тяжелом пальто, обтянутом амуницией, показался грубым и неизящным. Речь, так блестяще подготовленная в уме, испарилась из памяти и самая причина приезда стала казаться не такою важною.

В подъезде его встретил изящный унтер-офицер с желтыми аксельбантами на чистой рубахе и в сапогах с блестящими шпорами. В углу большой передней, у окна, за круглым столом, сидел припомаженный писарь и читал газету. Он посмотрел на Карпова и подумал, встать, или нет, но не встал, а дождался, когда Карпов снял пальто и амуницию, и тогда сказал, вставая:

— Пожалуйста, неудобно ли присесть. Вот газетка свежая. Угодно почитать?

Карпов ничего не сказал и не пошел садиться. Большое зеркало отразило всю его фигуру. Он увидел загорелое до черноты лицо с поседевшими бакенбардами, смятые почерневшие от сырости погоны, тяжелые ремни амуниции, сапоги, забрызганные дорожной грязью и чувство неловкости охватило его. Точно на бал приехал в домашнем платье. Жандармский унтер-офицер и писарь чувствовали свое превосходство над ним и молча оглядывали его. Он был из другого мира. Из того мира, где умирают на постах, где бьются, добывая корм лошадям и продовольствие людям, где по суткам не спят, где забывают обедать, где мутные и тяжелые тянутся дни, сливаясь с ночами в одну нудную вереницу. Они были из того мира, где день идет по аккуратному размеренному расписанию, где обозначено время для сна, для прогулки, для обеда и для доклада.

— Как доложить о вас прикажете? — спросил унтер-офицер.

— Полковник Карпов. Командир N-ского-Донского полка. По личному делу.

Унтер-офицер деловито посмотрел на часы на кожаной браслетке и сказал:

— Не иначе, как пообедать вам придется в штабной столовой, а после обеда вас примут. Сейчас заняты с начальником штаба.

— Нет, — сказал Карпов, — я прошу доложить теперь. Мне обратно сорок верст ехать. Хотелось бы к ночи быть у себя.

— Попробую сказать адъютанту, — сказал унтер-офицер.

В это время за стеклянной дверью, ведшей на лестницу, покрытую сукном, с зеркалом и двумя статуями, окруженными растениями в кадках, раздались голоса. Вниз спускалась красивая, лет сорока, дама в роскошном меховом мантио. Впереди бежал холеный фокс в ошейнике, с нагрудными ремешками и розовым бантом на спине. Подле дамы шел молодой, безупречно одетый офицер, во входившем тогда в мо-

ду английском френче из мягкой, желтоватой материи, усеянном значками, и с орденом св. Станислава 3-й степени с мечами и бантом в петлице.

— Дмитрий Дмитриевич, вы пойдете со мною на прогулку? — говорила дама офицеру. — Это ничего, что вы дежурный? Вы мне обещали показать сыроварню.

— О, непременно! ваше превосходительство.

Унтер-офицер кинулся распахивать двери. Дама в лорнет посмотрела на Карпова.

— Кажется, кто-то к мужу, — тихо сказала она офицеру. Офицер подошел к Карпову и сухо спросил:

— Вы к кому?

— Я к командиру корпуса по спешному и очень важному делу, — сказал Карпов.

— Командир корпуса занят. Пожалуйста обедать и после обеда...

— Я не могу ждать и прошу вас доложить обо мне сейчас.

— Вы понимаете, я не могу этого сделать, полковник.

— А я настаиваю, чтобы вы это сделали.

Дама стояла в нерешительности у выходной двери. Маленький фокс нюхал воздух у двери и тихо повизгивал, прося выйти. Офицер выразительно посмотрел на даму и пожал плечами, как бы говоря: идите одна. Ничего не поделаешь с этим хамом.

Дама улыбнулась.

— Догоняйте меня после — сказала она. — Я буду гулять по липовой аллее.

— Слушаюсь, — сказал адъютант, кланяясь даме и открывая перед нею двери.

— Хорошо, я доложу, — сказал он, возвращаясь к Карпову, — только ничего из этого не выйдет.

Он ушел и через несколько минут вошел в прихожую и сказал официально:

— Пожалуйста. Его превосходительство вас просит.

XL.

Когда Карпов подъехал к господскому дому, у командира корпуса был его начальник штаба и старый друг, генерал Самойлов. Доклад был давно кончен и они говорили об общем положении дел.

— Я знаю, — говорил Пестрецов, что командующий Армией писал об этом великому князю Главнокомандующему и великий князь сочувствует этому и понимает это, но что поделаешь, когда в дела стратегии вмешивается политика.

— Милый Яков Петрович, — стоя против большого стола с бумагами, говорил Самойлов, — без патронов и снарядов нельзя воевать. Я официально тебе говорю, что у нас осталось по 200 выстрелов на орудие. В Бресте взрывают склад с тяжелыми снарядами и, конечно, делают это нарочно. Из-за этого мы в ноябре не взяли Краков, теперь идем назад и теряем дух нашей прекрасной армии. Поверь, что второй раз так не пойдём.

Но что же делать? — разводя руками, сказал Пестрецов.

— Опять, как тогда, перед японской войной, говорил тебе, так и теперь скажу. Не надо сентиментальничать, не надо таскать своими голыми руками горячие каштаны для других, нельзя вести войны *pour les beaux yeux de la reine de Prusse*,*) нельзя освободить Европу и губить Россию. Мы не можем воевать одни против Германии и Австрии тогда, когда французы и англичане ничего не делают. Мы отдаем свои земли на поток и разграбление своих и чужих войск, германцы уже были под Варшавой. Наши доблестные сибиряки отогнали их, но какой ценой! У нас уже нет теперь сибиряков...

— Николай Захарович, оставь, пожалуйста. Ведь это только критика ради критики. Что же мы можем сделать? Мы не можем заставить воевать Англию ранее, нежели она создаст свою армию, мы не можем потребовать от Франции больше того, что она дает.

— А какое нам дело до Англии и Франции? Ведь мы Россия. Россия мы и нам дороги только свои, Русские инте-

*) Ради прекрасных глаз Прусской королевы.

ресы. Пора стать эгоистами и понять, что эту войну нас заставили вести во вред нашим интересам.

— Ну, что же?

— Мир.

— Мир?

— Да, мир с приобретенной Галицией, с нефтяными источниками и угольными копями, со старым Львовом и Перемышлем...

— Его еще надо взять.

— Отдадут и так. Быть может, с проливами.

— Это невозможно.

— Воевать, Яков Петрович, невозможно, это точно. Мы учили, что такая громадная война, в которой развернуты миллионные армии может длиться четыре, максимум, шесть месяцев. Не хватит средств. Надо поступать по науке. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь — и баста. Дальше „от лукавого“. Мобилизация промышленности: — это разорение своего дома. Во имя чего?

— Во имя честности.

— В политике честности нет. Поверь, Яков Петрович, что если, не дай Бог, мы придем в беду, ни англичане, ни французы не пожертвуют для нас ни одним солдатом, и немцы тогда займут Россию и обратят нас, при общем молчании, в навоз для германской расы.

— Нет, со вздохом сказал Пестрецов, — мир теперь, — это позор навсегда. Нельзя будет Русскому человеку показаться в Англии, или Франции. Кличка предателя и изменника куда как не сладка.

— Яков Петрович, привези золото и тебя встретят поклонами и самыми льстивыми и ласковыми словами.

В эту минуту вошел адъютант и доложил о Карпове. Разговор о мире был тяжел и неприятен Пестрецову и он обрадовался возможности прервать его.

— Просите полковника, — сказал он. — Николай Захарович, остаься. Это, говорят, лихой казак. Он великолепно работал с полком.

— Все они грабители и мародеры, казаки, — сказал Самойлов, — но остался стоять у стола, когда вошел Карпов.

— Здравствуйте, дорогой полковник, — поднимаясь на встречу Карпову, масково сказал Пестрецов. — История конницы — история ее генералов. Одного из них я имею, наконец, удовольствие видеть у себя. Мне так много о вас рассказывал Развадовский, о ваших победах в августе. Блестательно работали ваши донцы. Как это говорили вы — „долбанем“, а? „заманивай, да заманем его в вентеречек“, а? Ну, садитесь, дорогой полковник, Степаном Сергеевичем вас звать кажется, а?

— Павел Николаевич, — сказал Карпов, ободренный приветливостью корпусного командира.

— Садитесь, Павел Николаевич. Ну, как у вас? всё благополучно? Отдыхаете немного. Вот еще денька два отдохнем, да и в наступление опять. Пора. Пора!

Карпов сел в тяжелое кресло против корпусного командира и молчал, не зная, как начать. Горячий рассказ о подвигах Малова, о том какая у него хорошая патриархальная семья, как чисто убрана их хата и как кротко сияет из угла большой образ Богоматери, каким ужасным ударом для семьи было бы известие о смертной казни сына, перед этими двумя генералами казался неуместным. Из-за масковых слов холодно и строго, а, главное, безразлично смотрели серые блестящие глаза генерала. В его холеном, тщательно вымытом и побритом лице, в обстановке кабинета с громадным столом, креслами, с различными безделушками, в карте, висевшей на стене и разрисованной акварелью, где маленьким синим квадратом у Хвалибоговице был показан и его, Карпова, полк, было столько чужого, не похожего на войну, как ее видел и понимал Карпов, что Карпов смутился и неловко начал.

— Дело вот в чём, ваше превосходительство. Тут на днях судили казака моего полка, Малова. Приговорили к смертной казни. Приговор должен состояться завтра. А между тем обстоятельства дела таковы...

— Знаю, знаю, дорогой Павел Семенович, — перебил Пестрецов, уже позабывший имя Карпова, — мне это дело доподлинно известно. И, знаете, я возмущен, что в вашем полку могли явиться такие негодяи. Мы измучены жалобами

населения на казаков. Этому надо положить, наконец, предел. Ваш Малов убийца женщины — этого достаточно. Смертная казнь, утвержденная Командующим Армией — это наказание, которого он заслужил.

— Ваше превосходительство, суд не вошел в обстоятельства дела, в обстановку, в психологическую подкладку этого преступления...

— Э, милый полковник, предоставьте всю эту ерунду гражданским судам с присяжными заседателями. Полевой суд стоит перед совершившимся фактом. Убийство было? Я вас спрашиваю, Семен Данилович, было убийство, а?

— Было. Но...

— И никаких „но” тут нет. И о чем вы меня просите? Это не от меня зависит.

— Я прошу вас ходатайствовать перед командующим армией. Я умоляю вас послать, если нужно, телеграмму верховному главнокомандующему.

— Э, что говорить о пустяках. Разве можно, глубокоуважаемый, беспокоить командующего армией такими пустяками? Разве мыслимо, чтобы я, представитель власти, дискредитировал ее, заступаясь за преступников? Казаки всегда грабили и безобразили и это надо, наконец, прикончить.

Самойлов, видя, что Карпов порывается что-то сказать, посмотрел на часы и сказал Пестрецову.

— Половина первого, ваше превосходительство. Нина Николаевна обещала нам сегодня завтракать вместе с нами.

— Ваше превосходительство, — сказал Карпов, вставая, потому что Пестрецов поднялся. — Я умоляю, я прошу... Это будет лучшей наградой мне и полку...

— Э, милый мой, оставим этот пустой разговор. Идем завтракать. И не думайте о пустяках.

Карпов решительно отказался от завтрака. Он не мог сесть со всеми этими холодными людьми, с богато одетой барыней за стол и есть тогда, когда он знал, что его казак будет ими расстрелян. Он задыхался в богатой обстановке господского дома, в высоких комнатах, ему было страшно ходить по паркетным полам. Тянуло вернуться скорее в маленькую холодную избушку Хвалибоговице и там быть со

своими казаками и офицерами, для которых казнь Малова был не мелкий эпизод войны, а громадное событие в полковой жизни.

Лукьянов, подававший у крыльца лошадь, по его лицу узнал что заступничество за Малова потерпело неудачу: в присутствии часовых и жандармов он ничего не сказал.

Сардапанал, соскучившийся ожидать на морозе, нетерпеливо рыл копытом землю, производя беспорядок на приглаженном дворе. Он попрашивал повода и свободным широким шагом вышел из ворот, точно и его томила атмосфера большого штаба, холодного и чуждого их полковой жизни.

Они отъехали верст пять от имения, два раза шли рысью и въехали в большой буковый лес. Узкую дорогу тесно обступили громадные черные деревья. Непрерывная капель шла с них на землю. Солнце пригрело и таяло. Дорога стала мягче, глубокие колеи блестели и осыпались под ногами лошади. Лукьянов с боку продвинул свою лошадь и почти поровнявшись с Карповым сказал:

— Что, ваше высокоблагородие, не удалось отстоять Малова?

— Нет, не удалось, — просто ответил Карпов, которому понятен был вопрос его штаб-трубача.

— Ничего, ваше высокоблагородие, вы не жалкуйте об этом. Вы только одно устройте, чтобы Малова конвоировали не казаки, а пехотные.

— А что?

— Да, Малов не такой парень, чтобы в обиду себя дать. Убежит. Своих пожалеет, не побежит, да и наши присягу твердо знают, хоть и свой, а пристрелят, а пехотных обмануть не грех. Хорошо, ежели бы ополченцы. Те и совсем народ розиня.

Карпов ничего не ответил, но, приехав домой, послал телеграмму, в которой просил о наряде конвоя к Малову от ополченской роты.

Через два дня Лукьянов утром зашел к нему. Его лицо, красное от мороза сияло восторгом, он едва сдерживал улыбку, собиравшую в складки его красивое лицо. Убедившись,

что в хате Карпова никого не было, Лукьянов тихим голосом сказал:

— Малов то, ваше высокоблагородие... Малов... — Он не мог больше сдерживать смеха и рассмеялся залиvisto и весело.

— Убежал, ведь. С полчаса тому назад. Они его на казнь повели. Только до лесу дошли, он у правого конвойного винтовку из рук, сиганул через канаву, да лесом такого чёса задал, что никогда не догнать. Те дураки и не стреляли. Жаловаться домой прибежали. Ну и конвойные! Горе одно с таким народом!..

XLI.

В первых числах декабря Карпов неожиданно получил приказание спешить к Новому Корчину, где поступить в распоряжение командира Зарайского пехотного полка. Зарайцы, после тяжелого боя, прорвали фронт противника и предполагалось широкое преследование его конницей. Карпов по тревоге собрал полк и по замерзшей прибрежной дороге рысью пошел к видневшемуся вдали небольшому местечку. Чем ближе подходил он к нему, тем больше были заметны следы только что бывшего здесь боя. На поле были видны наши винтовки, воткнутые штыком в землю и брошенные нашими ранеными. Кое-где под кустами лежали убитые солдаты, кто, подставив белое страшное лицо лучам заходящего солнца, кто ничком, подогнувши неловко ноги. Часто валялись окровавленные тряпки, разорванные рубахи, котелки и походные сумки. Всё поле влево от дороги было изрыто неглубокими одиночными окопами. В них была примятая солома. Здесь ночевали перед штурмом Зарайцы. Между окопов, впереди и сзади, были большие темные воронки от снарядов тяжелой артиллерии. Теперь артиллерия сюда больше не стреляла, вероятно была увезена с поля битвы и только под Новым Корчиным часто продолжали вспыхивать бело-оранжевые дымки австрийских шрапнелей. Бой еще продолжался.

Карпов рысью вошел в крайнюю улицу и здесь остановился и приказал полку слезть. Очевидно преследовать было

рано. По улице пролетали редкие излётные пули. Одна лошадь и один казак были ранены ими. Заведя людей с лошадьми за дома и поставив их укрыто за стенами, Карпов с адъютантом и Лукьяновым поехали отыскивать командира пехотного полка. Боковая улица с растоптанной и разлизанной глубокою грязью была сплошь заставлена артиллерийскими зарядными ящиками. Ящичные ездовые сидели, нагнувшись на лошадях и не обращали никакого внимания на посвистывавшие пули. Среди них, ругаясь скверными словами, протискивались кашевары с кухнями, дымящими пахнущими щами. По обеим сторонам дороги были глубокие заплывшие до верху жидкою грязью канавы с частыми мостами. Между ящиками и канавами оставалось слишком узкое место чтобы кухни могли проехать. Одна сунулась было, но колесо провалилось, рассыпалось, и серые щи вылились в канаву и легли толстым слоем поверх грязи. Кашевары и обозные толпились подле, не зная, что делать. Навстречу ехали лазаретные двуколки и вдоль домов непрерывной вереницей тянулись легко раненые с перевязанными руками и обвязанными головами. Карпову пришлось остановиться и ожидать, когда и как распутается вся эта суматоха.

— Ну, что вы наделали, черти паршивые, — в отчаянии кричал кашевар завалившейся кухни. — Что я теперь делать буду?

— Я ж тебе говорил, не проедешь. Замадил одно, проеду, да проеду. Вот и проехал! По головке за щи не поглядят, — невозмутимо отвечал ездовой того ящика, который помешал проехать.

— А ты, паря, не робей, собирай скоренча остатки, да заправляй щи заново. Так с землицей-то они еще вкуснее будут.

— Настоящие землееды слопают, еще и похвалят тебя. Го-го-го! — хохотали артиллеристы.

— Земляки, пропустите ранетых, — просил фельдшер, — неужто у вас совесть окончательно пропала!

— Пропусти! Да куда я тебе пропущу, когда ни вперед, ни назад податься нельзя.

— Господи! и не пожалеют своих страдальцев, — со вздохом сказала сестра, стоявшая в высоких сапогах и подоткнутой выше колена коричневой юбке, по щиколодку в грязи.

— Эх, казаки, — кричал раненый в руку молодой солдат, — опоздали маненько. Мало мало орудия его не захватили.

— Ну, как там? — спросил у него Кумсков.

— Да, как, — злобно отвечал шедший сзади него пожилой запасный солдат, не раненый, но бывший без ружья. — На реке застряли, мост наводят, теперь опять оттяжка будет. Надолго.

— Что же, ироды, — посторонитесь вы, аль нет. Пропустите куфни, ведь со вчерашнего дня пехота не ела.

— Да что ты лаешься, — со злобой сказал артиллерист, — ну, куда я денусь, когда податься некуда.

— Погоди, — говорил фельдшер, — офицер приедет он укажет, как распутать. — Вот жестокий народ, — сказал он, обращаясь к сестре милосердия. Та только рукою махнула.

— Я не понимаю, — сквозь слезы сказала она, — как можно дойти до такого озверения, чтобы и раненых не пожалеть.

На косматой лошади подъехал пожилой артиллерийский штабс-капитан. Он быстро разобрался в обстановке и завопил сердитым простуженным голосом.

— Ездовые слезай. Все ко мне!

Солдаты неохотно слезали в глубокую грязь и подходили к ящику.

Ну, на руках подвинь влево ящики! Эй вы пехота, что рты разинули, иди помогать!

Общими усилиями, откатывая ящики с передками к самой канаве очистили место для двуколок и они стали протягиваться из улицы. Карпов воспользовался этим и проскочил перед ними в город.

Город спускался одной широкой улицей к реке с разрушенным мостом. С того берега стреляли вдоль по улице и ехать по ней было нельзя. На самой середине ее, недалеко от реки, застрял артиллерийский ящик. Две лошади в уносе были убиты и лежали, утонувши в грязи, дышловые, то бились,

то стояли, тупо расставив ноги и тяжело вздыхали. Людей при них не было. Австрийцы сосредоточили по ящику огонь и никто не отважился подойти, чтобы выпростать их из упряжи. Вдоль домов, укрываясь выступом громадного серого каменного костела, непрерывным потоком, одни вверх, другие вниз, шли гуськом солдаты. Они натоптали в грязи сухую тропинку и теперь все стремилось на нее.

Карпов с адъютантом и Лукьяновым свернули во двор и здесь за домом спрятали лошадей и слезли. Карпов оставил Лукьянова с лошадьми, а сам с адъютантом пошел отыскивать командира Зарайского полка.

— Где командир полка? — спросил он у поднимавшегося навстречу солдата.

— Должно внизу, — сказал тот.

— Кабы не на той стороне уже, — сказал другой, шедший сзади.

— Да разве мост навели уже? — спросил первый.

— Однако, по досточкам уже проходят, — отвечал тот. — Я видал, раненные шли..

Карпов пошел вниз. На улице валялись трупы австрийских солдат. Наши уже были подобраны, австрийцы лежали, утонувши в глубокой грязи. Карпов невольно вздрогнул, когда увидел совсем подле тропинки убитого австрийца. На него в свалке боя наступали и его совершенно затоптали в грязь. Шинель, руки, ноги, всё было сравнено с землею и только лицо, белое, обросшее небольшою холеною бородкой торчало из земли и ветер тихо шевелил волосами бороды. Чем ближе к реке, тем чаще посвистывали пули и тем больше лежало затоптанных в грязь людей. Здесь между австрийцами в их сизых шинелях стали попадаться и серые шинели наших солдат.

За костелом была большая площадь, прикрытая его стенами. Она была наполнена толпою австрийских пленных. Они стояли покорным стадом, хмурые и скучные и тихо переговаривались между собою. Русский офицер, молодой, красивый, высокий, в солдатской шинели с помятыми и выцветшими золотыми погонами, считал их, переталкивая с одного

края площади на другой. Лицо у него было усталое, измученное, но счастливое.

— Тысяча восемьсот два, восемьсот три, восемьсот четыре, — говорил он, толкая людей, как вещи и, искоса поглядывая на подходившего Карпова.

— Скажите, поручик, где командир Зарайского полка? — спросил его Карпов.

— Тысяча восемьсот пять, восемьсот шесть, восемьсот семь, — продолжал тот считать. — Какова добычка, господин полковник, — я думаю больше двух тысяч будет. Кабы не все три. Здесь и сдались, как мы ворвались. Бригадного генерала взяли, двух полковников, майора, восемьдесят офицеров, шестнадцать пулеметов. Командира полка вам? Полковника Дормана? Он сейчас только прошел вон в ту хату, видите, большой каменный дом, откуда солдат вышел... Тысяча восемьсот восемь, восемьсот девять — ну пошел, раззява, к тем, чего топчешься, — крикнул он на австрийского солдата, замывшегося и не знавшего куда ему податься.

Карпов направился по указанному ему направлению. Вечерело. Румяное солнце спускалось за горизонт и наверху уже отчетливо проступала большая бледная луна. Пули свистали редко, артиллерийский огонь смолкал.

XLII.

Дом, в который вошел Карпов, принадлежал зажиточному еврею. Из сеней Карпов попал в большую очень чистую кухню с плитой, выложенной белыми изразцами. На плите готовился ужин. Молодая, смуглая, черноволосая еврейка суетилась возле плиты. В углу, сидела старая еврейка, и еврей с черной бородой, тревожно следивший за молодой еврейкой.

С потолка, на толстой проволоке, спускалась большая медная керосиновая лампа.

За двумя столами, стоявшими у окон, сидели офицеры и солдаты. На ближайшем к двери, в кожанной сумке, был поставлен полевой телефон и солдат с серым землистым лицом и злыми глазами непрерывно кричал:

— Терехов! Терехов, ты что ль? Чего ж молчишь? А? Шестнадцатая отвечает, а?... С пятнадцатой порвана связь? Надо наладить. Командир спрашивал... Второй батальон где?

Два солдата сидели на полу на разостланной шинели, ели из котелка какую-то серую мутную жидкость и громко чавкали. Тут же, за столом, сидели еще два солдата и писали под диктовку очень худого и длинного офицера в кителе с аксельбантами.

— „Ровно в восемь часов утра я передал приказание первому и второму батальонам броситься в атаку“, — говорил он, глядя на записку. — Петр Степанович, поступило от первого батальона сведение о потерях?

Тот, кого назвали Петром Степановичем, сидел в группе других офицеров за вторым столом и пил мугный чай.

— Нет еще, — отвечал он, с трудом прожевывая кусок хлеба с маслом.

— Господа, мне чаю оставьте. Петр Степанович, намажь мне кусок хлеба, да вот им тоже, — он кивнул на писарей. — Написали что ль?... Батальонам броситься в атаку...

При входе Карпова все встали.

— Вам кого, господин полковник? — спросил адъютант.

— Командира Зарайского полка, — отвечал Карпов.

— Он рядом в комнате, пожалуйста.

Адъютант раскрыл дверь и Карпов попал в небольшую, жарко натопленную комнату, убранную, как гостиная. Но стенах, вместо картин, висели большие красивые плакаты „Hamburg-Amerika-Linie“. Все кресла были заняты офицерами, кто в кителе, кто в солдатской шинели, кто в пальто мирного времени серо-синего сукна, все при амуниции. Несколько офицеров стояли у комода. На столе горела под синим стеклянным абажуром лампа, стояли в беспорядке тарелки с остатками жареных кур, хлебом и колбасой и стаканы с мутным бледным чаем.

На диване сидел плотный, среднего роста, человек с большим пухлым, обветренным, загорелым, бритым лицом, на котором торчали грубые стриженные усы. Он весело сверкал маленькими узкими глазами и оживленно говорил.

— Прежде всего, господа, надо накормить солдат. За кухнями послали?

— Послали, — отвечал из угла молодой офицер с бледным лицом, на котором, как угли, горели темные воспаленные глаза.

— А, полковник, здравствуйте! Вас напрасно потревожили. Но это уже штаб корпуса. Не моя вина. Не моя-с. Им там, в прекрасном далеке, всё кажется очень легко и просто. И не легко это и не просто. Мы только завяли Новой Корчии, ну а теперь пойдет работа тихой сапой. Попотеть придется не мало. За то, надеюсь, так же бескровно.

— Что же мне делать с полком? — спросил Карпов.

— Мой вам такой совет. Стоять здесь негде. Всё переполнено. Лошадей некуда поставить. Вы из Блотна-Воли пришли? Ну и с Богом -- туда и идите. Оставьте при мне связь, офицера расторопного и пять, шесть казачков, да, и я вам скажу, когда надо будет. Дай Бог, денька через три. Вот тяжелые пушки подойдут, мортирки подтянем, — тогда пойдет дело глаже. Ведь они Корчинский господский дом в настоящую крепость обратили. Два ряда проволоки на стальных кольях. Попотеть придется. А раз вы уже приехали, хотите минут через пяток пройдемте за реку, вы местность осмотрите. Теперь луна, так кое-что видеть можно. Чайку не хотите. Ах, да. Я и забыл вам представиться, — полковник Дорман, командир полка.

Высокий бледный офицер поставил перед Карповым стакан чая и положил кусок хлеба. Подполковник, с изрытым оспою лицом, в неуклюжей, подбитой ватой шинели, очистил ему место в кресле, Карпов обменялся рукопожатиями с ближайшими офицерами и сел.

— Итак, господа, прежде всего накормить людей. И с мясом, понимаете. Мясо-то заложено? — говорил Дорман.

— Заложено, господин полковник.

— Эх жалко, водочки нет. Водчонки бы теперь дать, в самый раз. Ночью 1-й батальон должен переправиться и окопаться по дороге **кремальерами**, — отчеканивая сочное слово, говорил Дорман. — Семен Дорофеич, сможете подать туда две батареи?

— Это как мост, отвечал смуглый чернобородый артиллерийский полковник.

— А броды не пробовали?

— Не пройдешь. Где мелко — топко, не вытянешь, на броду пониже, замки зальет, по дну волочить придется, хлопот много.

— Да мост, господин полковник, часа через два готов будет, — сказал худой офицер.

— Ну, ладно. Итак, господа, обед, обед и обед. Без жратвы, чтобы на том берегу ни одного человека не было. Узнаю, если кто не накормил, не взыщите, ротного командира от роты отставлю и вам, господа батальонеры, не поздоровится. Ну, идемте.

Дорман встал. Он находился в том исключительно счастливом настроении, которое дает победа. Он не чувствовал усталость и не испытывал голода, хотя жадно съел полкурицы и два больших ломтя хлеба и выпил быстрыми глотками три стакана невкусного чая. Он неустанно говорил, то диктовал донесение, то отдавал приказания, он не видел грязного селения, у большинства домов которого были выбиты от артиллерийского огня стекла, не замечал затоптанных в земле трупов, не спрашивал о потерях. Он чувствовал только одно, что он с полком выгнал из Нового Корчина австрийскую бригаду, что он взял около трех тысяч человек, что о нем теперь послана телеграмма, что его имя теперь на устах у всей России. Ему грезился георгиевский крест и, может быть, генеральский чин. Всё зависит от дальнейшего и все силы своего ума и воли он напрягал на то, чтобы это дальнейшее вышло так же хорошо. Ему, полковому командиру, молодому сорокадвухлетнему полковнику, подчинили еще два полка их дивизии и полк казаков. Сердце у него быстро билось, земля не чуялась под ногами, молодою стала походка и звонким и звучным голос.

— Господа, прошу по местам, согласно приказу. Наблюдайте за тем, чтобы люди не шатались по местечку.

Он отдал общий поклон и, взявши Карпова под локоть, пошел из комнаты.

XLIII

За те полчаса, которые Карпов провел в доме, картина посада совершенно изменилась. Солнце скрылось за горизонт и на западе горела только узкая темно-красная зловещая полоса. Луна высоко поднялась на небе и под ее серебристыми лучами костел, каменные столбы ограды, маленькие жалкие еврейские домики приняли сказочно красивый вид. Почти всюду окна были освещены. Стрельба затихла, и во всю ширину улицы, не обращая внимания ни на грязь, ни на трупы, толпились солдаты. Лошади в загрузшем передке каким-то чудом остались живы и были уведены, и теперь люди возились, выпрастывая из грязи упряжь с убитых лошадей. Пленных куда-то угнали и за костелом дымили и сверкали топками кухни, пахло вареным мясом, слышался гомон людей и смех. Вся площадь была покрыта чавкающими и икающими солдатами. Повсюду вспыхивали огоньки — загорались папироски.

— Это какой батальон? — властно, хозяйственно крикнул Дорман.

— Первый... первый... первый, ваше высокоблагородие, — раздались с разных мест голоса.

Дорман через толпу направился к кухне.

— Всё выбрали? — спросил он у кашавара.

— Нет. Чуток остался.

— Ну, плесни!

Кашевар нагнулся над большим кухонным котлом, размешал черпаком щи и, зачерпнувши со дна, подал на черпаке Дорману. Ближайший к ним солдат достал ложку.

— Перца мало, — пробуя, сказал Дорман.

— Нигде достать не могли, отвечал сзади фельдфебель.

— Эх вы! А запас? Запас! Помнишь, обратился он к кашевару, — про монаха. А? — Запас хлеба не жрет и денег он не просит... и Дорман вкусно договорил циничный меткий русский стих.

Кашевар и близ стоявшие солдаты захохотали.

— Это точно, ваше высокоблагородие.

К Дорману подошел командир 1-й роты. Это был капитан, лет тридцати, с красивым загорелым лицом. Увидавши Карпова, он представился ему:

— Капитан Козлов.

— Ну, как у вас настроение, Александр Иванович.

— Прекрасно, спокойно, — отвечал капитан.

Вы первые.

— Слушаюсь.

Дорман пошел дальше. Боковой дорожкой, сзади костела, он спустился к реке. Ночь была холодная, морозило. Местами, где меньше ходили люди, грязь уже сковало, и тонкие лужицы хрустели свежим ледком под ногами. Странно было видеть поэтому на берегу раздетых, в одних рубахах, людей; пожилые, большинство бородатые, кто с черной, кто с рыжей, кто с седеющей бородой, в пестрых рубахах на голом худощавом теле, поросшем волосами, они топтались на берегу, не решаясь идти в темную ледяную воду.

— Ну, пошел, пошел что ль! Кто поотчаянней, кричал такой же раздетый седой человек с большим животом, притоптывая ногами по холодному песку. — Нябось, не утонешь.

— Утонуть не утонешь, простудиться можно, — отвечал солидно бородатый мужик.

— Ах ты! Всё одно помрешь, закричал старик. — Ну, ребята! За веру, Царя и отечество! Айда-те что ль!

И старик бросился в воду.

— Ах, ой! Ух! ай-я-я-яй! — закричал он из воды, точно обожженный. — Ничего, робя, привыкнешь... Тащи топор кто-нибудь. Емельянов чорт, пошел что ль...

Раздетые люди стали, охая и ухая, входить в воду и застучали топоры. На старые обгорелые сваи насаживали толстые бревна, устраивая мост для артиллерии. Работала ополченская саперная рота.

Старый, лет пятидесяти, офицер, командир роты, сидел на подвезенных бревнах, хмурился и пожимал плечами. Увидав Дормана, он подошел к нему.

— Все простудятся, все помрут, — мрачно сказал он, указывая на рабочих.

— Ну, что же поделаешь. А нам мост нужен. На то война.

— Эх, что и говорить, — безнадежно махая рукой сказал старик.

Дорман с Карповым пошли вверх по реке по берегу и против шоссе увидели на месте главного моста узенький мост в одну досочку. По нему проходили взад и вперед люди.

— Пойдите там, — крикнул адъютант Дормана. Не ходи, ребята. Командир полка.

Люди на том берегу остановились и Дорман, за ним Карпов, Кумсков и пехотный адъютант прошли по доске над темною рекой.

Противоположный берег поднимался сажени на две над водою. Дорога взрывалась в него и шла прямая в даль. Вся она простреливалась ружейным огнем неприятеля. Незаметная, за шумом и гамом полного людьми Нового Корчина, стрельба здесь стала отчетливо слышна. Выстрелы, то одиночные, то сливаясь по два, по три, следовали непрерывно и так же непрерывно посвистывали, щелкали и клокотали в воздухе пули.

Дорман тяжело вздохнул.

— Одна верста до него, — сказал он. — Здесь впереди только команда охотников.

Он быстро прошел по ровному полю к небольшому, глубокому окопу и спрыгнул в него. В окопе были люди. Там сидел артиллерийский генерал с молодым офицером, телефонист и пехотный поручик. Место оставалось только для двоих.

— Ступайте вы под откос, на берег, — почему-то шопотом сказал Дорман адъютантам. — Пожалуйте, полковник.

Он спрыгнул в окоп и потащил за собою за рукав Карпова.

— Да, лучше здесь не ходить, — медленно и отдельно проговорил артиллерийский генерал, протягивая руку Карпову и с недоумением смотря на него. — Сейчас одного охотника убило, а двоих ранило.

— Вон лежит, — показал артиллерийский поручик Карпову на неясное пятно на серебристом поле, поднимавшемся

полого вдаль. — Упал и не шелохнулся. Должно быть, в голову.

Пули свистали часто и часто ударяли в песок окопа, как бы напоминая о том, что высовываться нельзя. И, вероятно, от сознания близости смерти, врага и опасности все говорили тихо.

— Рассмотрелись, ваше превосходительство, — шопотом, но всё так же оживленно спросил Дорман. — Возможно?

— Тяжелая и обе мортирные уже подошли -- сказал генерал. — Я уверен в успехе.

— Слава Богу, слава Богу, -- прошептал Дорман.

— Я здесь сегодня ночью устрою свой командный пост, а поручик Перепелкин пойдет с телефоном с головной ротой. Сколько времени вы думаете подвигаться к нему?

— Я полагаю дня три, — сказал Дорман.

— И я так думаю. Торопиться некуда. Пока мы будем бить только одними тяжелыми. Полевую оставим до последнего момента. Там проволока есть? Ее как думаете?

— Вручную. У нас ничего нет. Ручные гранаты только обещали.

— Ну, если нет техники, я помогу вам искусством. В момент резки проволоки ни одна винтовка по вас не выстрелит. Я ручаюсь, — сказал артиллерийский генерал.

— Вот, видите, полковник, — сказал Дорман, обращаясь к Карпову и только теперь сообразил, что ему совсем незачем было тащить с собою Карпова, потому что видеть было нечего и сделал он это только для того, чтобы порисоваться перед чужим человеком своею личною храбростью.

— Вот, видите, какова обстановка. Голое место, ровное, как бильярдная доска до самого господского дома. Если бы не дорога, которая идет поперек позиции, то совсем невозможно подойти. Но и дорога вся взята им под ружейный и пулеметный огонь, а днем по ней непрерывно бьет артиллерия. Граната — шрапнель, граната — шрапнель. Обойти невозможно. Его правый фланг упирается в Вислу, левый в болота. За перегибом опять до самого Хвалибоговице и только вправо есть большой дубовый лес. Вот я и думал, если Господь поможет, нам прорвать у господского дома,

да овладеть им, так, чтобы гнать его до самого Столина. А? Как вы думаете?

— Как Господь поможет, — сказал Карпов. Я местность знаю хорошо. Пять суток стоял в Хвалибоговице, в восьми верстах отсюда.

- - У него там тыловая позиция, -- сказал Дорман.

— И должно быть отличная. Там ручей в крутом каменистом ложе бежит.

— Возьмем! — уверенно сказал Дорман. — Значит, нам как-будто здесь и делать нечего. А? что ж, пойдемте. Оставьте мне офицерика для связи, а сами домой. А я пойду первый батальон двигать. Пора уже. Девятый час.

Карпов прошел опять в посад, простился с Дорманом у костёла и пошел отыскивать Лукьянова с лошадьми. Он нашел бы не скоро, так как совсем позабыл двор, на котором оставил его, но заботливый штаб-трубач сам высматривал командира полка.

— Ваше высокоблагородие, здесь я! — крикнул он из ворот и побежал отвязывать лошадей.

Карпов проехал к полку и приказал командиру третьей сотни оставить при командире пехотного полка хорунжего Растеряева с шестью казаками. Есаул Каргальсков оставил с офицером урядника Алпатова и пять казаков, в том числе молодого охотника Виктора Модзалевского. Растеряев нашел полковника Дормана снова на неприятельском берегу в маленьком окопчике и, в сознании важности данного ему поручения, остался при нем.

Карпов около десяти часов, при полной и яркой луне, пошел обратно на свой квартиро-бивак и стал в деревне Блотна-Воля, в готовности каждую минуту выступить. Лошадей расседлали, но вьюки не вывязывали и все сотни были связаны со штабом полка телефоном.

XLIV

В девять часов вечера первая рота, по одному, переправилась по дощечке через реку Ниду и залегла под берегом. Ротный командир, капитан Козлов, рассказал задачу един-

ственному своему офицеру, поручику Пышкину, и унтер-офицерам. Задача состояла в том, что надо было по одному пробегать к углубленной дороге, прижиматься к ней плотно и сейчас же вкапываться в ее края, образуя в земле глубокую нишу, в которой и ожидать, пока весь первый и второй батальоны не закопаются таким образом в землю, а передовые не подойдут на шестьдесят шагов к неприятелю. Тогда, предполагалось ночью первому батальону выкопать траншею вправо от дороги, а второму влево, залечь до того момента, пока не будет подан сигнал к атаке, и тогда прямо в штыки броситься в лоб на неприятеля. Весь расчет боя был на лопату и на артиллерию. Патронов у солдат было мало. Их надо было беречь. — Бой решался штыком.

— Я пойду, как всегда, — сказал Козлов, — первым.

Козлов был самым обыкновенным Русским пехотным офицером. Он родился в казарме, в глухом польском местечке, где отец его командовал ротой. Их фамилия была не задачливая — дальше майорского чина не шли. Бабушка рассказывала Козлову, что их предок при Петре Великом тоже был капитаном, командовал ротой и убит под Нарвой. Прадед в майорском чине погиб в Лейпцигском бою, дед долго командовал ротой и на старости лет устроился смотрителем госпиталя. Отец умер капитаном, простудившись на зимних маневрах. Детство Козлова была казарма, потом кадетский корпус — та же казарма, потом Павловское училище — опять казарма и, наконец, Зарайский полк — казарма. Весь мир для него от рождения и навсегда замкнулся в казарме и в ее интересах: — хорошо упревшая, рассыпчатая каша, жирные щи, мясная порция в 20 золотников не меньше, прицельные станки, нежная любовь к винтовке, благоговение на стрельбище и церемониальном марше и штыковой бой. Мимо неслась суетливая жизнь. Народы рвались и искали какой-то особой свободы, решались социальные вопросы, печатались и неизвестными руками щедро раздавались брошюры о капитале и борьбе с ним, о вреде самодержавия, о политических партиях, о союзах, — всё это не касалось Козлова. Он твердо руководствовался в своей жизни мудрым правилом — „от сна восстав, читай устав, ложаясь спать, читай опять”.

В полку он считался образцовым офицером. Шесть лет подряд был начальником учебной команды, и теперь все унтер-офицеры полка были его учениками. Он их великолепно обучил и воспитал. Они были прекрасные гимнасты, отличные стрелки, благоговели перед Россией и Императором, веровали в Бога, даже знали немного историю России. Они были хорошо грамотны, и считали себя образованными людьми, потому что умели толково составить донесение и начертать небольшие кроки. Унтер-офицеры и первая рота, которую теперь командовал капитан Козлов, любили и уважали его и считали его настоящим офицером. Даже **барина** они в нем не видели, но своего брата, душевного и сердечного человека, заботящегося о них, с которым служба шла легко, сытно и весело.

На походе он ел с ними из одного котла, спал в одной хате, пел с ними песни, читал и пояснял газеты. Когда он говорил — **моя рота**, он знал, что она действительно **его** и ничья больше. Солдаты о нем говорили **наш ротный**, или просто наш. Такими капитанами, ротными командирами, была полна в 1914 году вся Русская армия и они даже лицом и сложением были похожи друг на друга, одинаково печатали с носка, притоптывая по земле на маршировке, одинаково тянулись перед начальством, покрикивали на ленивых солдат и твердым голосом, лежа в ста шагах от противника, говорили по телефону батальонным командирам — „мы достреливаем последние патроны. Нам остается одно — встать и атаковать”, —или — „прошу прислать заместителя, пока сдал роту фельдфебелю, я — убит”.

Капитан Козлов от тысяч и тысяч таких капитанов отличался только тем, что за два года до войны женился по любви на очень хорошенькой девушке, дочери генерала, из хорошей, старой семьи, хрупкой, болезненной и любил ее и родившуюся год назад девочку больше себя. В серой казарменной жизни, в сером существовании изо дня в день, по полковому приказу, явилось светлое пятно, которое осветило и скрасило существование.

Мок он под косыми струями ледяного дождя на стрельбище — он думал — „дома ждет меня моя Зорька”... Изне-

могал в жару на походе — „а Зорьке”, — думал он, — „хорошо в уютной казенной квартире, где ярко горит электричество и из окон виден зеленый полковой садик, полный прохлады”. Она в его мечтах была всегда и всюду с ним. И теперь, думая о ней, он сказал спокойным голосом, обращаясь к правофланговому солдату, — Железкин, дай мне твою лопату.

Набравши воздуха в грудь, как будто собираясь нырнуть в воду, надевши винтовку на ремень, придерживая его руками и засунув лопату рукояткой за пояс, Козлов бросился, что есть духа, бежать по дороге. Навстречу ему посвистывали пули. Вдруг разрывная пристрелочная австрийская пуля ударила о край дороги, вспыхнув таинственным зеленым огоньком, точно светлячок, и тихо и нежно пропели ее осколки. Козлов испуганно бросился к другому краю дороги, будто туда не могла ударить пуля.

Та-пу! Та-пу! — часто стучали выстрелы и в темноте дороги было видно их вспыхивающее желтое пламя. — Та-та-та — протрещал пять, шесть раз пулемет и опять щелкали ружья.

„Это всё по мне”, — думал Козлов. — „Нет, на авось, меня не видно, тут темно”, — успокаивал он себя и всё бежал, задыхаясь от волнения и бега.

Наверху ярко светила полная луна, и небо с тонким узором звезд переливалось, как серебряная парча. Там был Бог, который смотрел и видел весь этот ужас. Внизу в коридоре дороги было темно. Труп солдата лежал поперек дороги. Козлов едва не упал, споткнувшись об него, и, перепрыгнув, почувствовал, что дальше не может. Силы покидали его, дыхание прервалось. Он прижался к правому откосу дороги и замер. Стало безумно страшно от сознания, что он один здесь и так близко от неприятеля. — „А вдруг рота не пойдет”, — мелькнуло у него в голове, и сердце захолонуло от ужаса. Он услышал свист пуль. Какая-то пулька неожиданно и сильно чмокнула подле него по земле и впиалась в дорогу.

„Боже! Боже! и я стою здесь, как на расстреле, совсем один!”

У него явилось желание врости в землю, уйдти в нее и скрыться от пуль и от людских взоров. Ему казалось, что прошло ужасно много времени и скоро будет рассвет, он думал о том, что каждую минуту из австрийских окопов могут выйти люди и забрать и убить его, у которого такая милая, любящая Зорька, и славная девочка Валя.

Обеими руками он схватил лопату и стал рыть землю. Верхний слой подмерз и земля только скрипела от ударов лопаты. Винтовка мешала. Он снял ее с плеча и поставил подле. Несколько секунд он рыл и работа заставила его забыть-ся. Мокрый холодный пот проступал по всему телу и хотелось согреться работой. Песок и земля осыпались тяжелыми комьями и падали к его ногам. Он выкопал в откосе дороги жёлоб и прижался, лицо и голова, прижатые к холодной, пахнущей сыростью и корнями земле, были укрыты.

„Как хорошо! Как хорошо!” — подумал Козлов и запах земли показался ему приятным. Но в это мгновение пуля ударила в землю позади его и он сейчас подумал: — „Господи, а левый бок, левый бок, где сердце и часть живота, ведь, эта вот попасть могла”.

Волосы зашевелились под фуражкой, он повернулся спиной к неприятелю и прижался к земле левым боком, но сейчас же такой жгучий страх охватил его от того, что он не видел неприятеля, что он снова повернулся и схватился за лопату. Но руки не слушались его и он ничего не мог сделать.

„Ну что-же”, — подумал он, — „и пусть, пусть.. Но куда?” И он стал перебирать все части тела, куда могла попасть пуля и говорить — „о Господи, только не в живот... не в глаз... не в лоб...”

Он слышал теперь каждую пулю, свиставшую над головой. „Эта высоко”, — думал он. — „Эта пошла далеко”. — И вдруг неожиданно чмокала подле. Козлов ёжился и в ужасе вспоминал, что ту, которая ранит, он не услышит.

„Неужели я трус”, — подумал он. — „Ведь шел же я еще утром впереди роты на посад и ничего не боялся, а теперь? Это нервы. Надо успокоиться. — Живой в помощи Вышнего в крове Бога небесного водворится”, — начал он

читать про себя свой любимый псалом, но оборвался на второй строфе: просвистала пуля и он снова съёжился, ожидая смерти, или ранения. Он хотел ни о чём не думать, но против его воли, мысли и воспоминания неслись ураганом и прошлое казалось удивительно милым и прекрасным. Ему вспомнилось, как, двенадцати лет, в корпусе, он попал в карцер. Он сидел в темной комнате на скамье и горько плакал, и жизнь казалась ему конченной. „О”, — подумал он теперь, — „я готов бы всю жизнь прожить в этом карцере, только, чтобы жить!” Представил себе солнце, ярко освещенную траву, тени парка и золотые кружки солнечных лучей, прыгающие по былинкам. Вдруг представил себе, что он лежит в густой траве и прямо перед ним торчат мохнатые зеленые палочки тимофеевки и шмель с толстым пушистым желтым брюшком, то поднимается над нею, то опускается и деловито и озабоченно жужжит, а кругом голубой эфир бесконечности. „Это жизнь, — подумал он, — „это мир Божий”. Волна беспредельной любви и благоговения перед Богом охватила его. „Это всё Он, всеведущий и всемогущий, создал, — и шмеля, и траву, и небо, и сосновый лес, и белый гриб, притаившийся во мху, и красивую белку с пушистым хвостом, и серого зайца, и эту дивную, мило пахнущую землю. Земля бо еси и в землю отыдеша”. И опять он вздрогнул и стал думать о смерти. „Но не может же этого быть, чтобы меня убили”, — подумал он. — „А как же тогда Зорька с Валея. На что будет жить? Выйдет замуж? Она молода и красива”. Жгучее чувство ревности закопошилось в нем. Опять совсем близко щелкнула пуля.

Козлову казалось, что он давно лежит у края дороги. Часы у него были на руке и месяц так ярко светил, что, если вытянуть руку на освещенное место, то можно было увидеть стрелки циферблата. Но Козлов боялся пошевелинуться. Ему страшно было выйти из кошмарного оцепенения, в котором он находился. Он осторожно приподнял голову. Больше всего он боялся увидеть потухающую луну и близкий рассвет. Днем его увидит враг и тогда — всё кончено. Полный круглый ликующий диск месяца висел все на том же месте над головою, немного сзади и так же затмевал собою кроткое

сияние звезд, которые казались маленькими точками, наколотыми на небе.

„Боже, Боже! Что еще будет!” — простонал Козлов — „Скорее! Скорее бы!” — и он сам не знал, чего хотел он скорее — смерти, раны или какой-то перемены в своем состоянии.

В это мгновение сзади него быстро набежал человек, споткнулся о винтовку, уронил ее и схватив крепкими руками Козлова за плечи прошептал: — ваше благородие, вы?

XLV.

Это был Железкин. При свете луны лицо его казалось бледным. Длинный тонкий нос бросал тень на рот. Глаза были черные.

— Фу! слава Те, Господи. Как далеко отбежали, — говорил Железкин, устраиваясь впереди Козлова и беря из его рук лопату. — Я уже думал не случилось ли чего. Гляжу, убитый лежит. Посмотрел. Нет, австриец. Ишь поют пульки-то! Не дремлет он. Понимает, что вся жизнь теперь здесь, или патрули его донесли что ль?

Железкин ловкими мерными взмахами сильных рук рыл землю, врываясь в откос дороги.

Сладкое чувство сознания, что он прикрыт теперь Железкиным на мгновение овладело Козловым. „Сперва его убьет. Я могу им прикрыться”, — подумал Козлов. Но ему стало стыдно этого чувства, однако, он сознавал, что страх его теперь прошел и он спокойно прошептал:

— А рота где?

— Идет следом, — переставая рыть и отдуваясь, сказал Железкин. — Минуты не прошло, как я за вами бросился. Следом телефонист Егоров. Он той стороной идет, чтобы ребята провод не порвали.

Железкин быстро уходил в землю. Он подкопал землю под собою, сваливая ее спереди и устраивая небольшой траверс. Козлов вспомнил, что это он так учил солдат и даже чертеж им сделал, а сам, когда рыл, зря разбросал землю.

Прошло несколько минут и Железкин исчез совсем в вырытом углублении и только мерно и часто через равные промежутки вылетала из-под земли кучка песка и расширялась и поднимался траверс. Теперь Козлов смело вытянул руку на свет и посмотрел на часы. Было половина одиннадцатого. Вся длинная зимняя ночь была впереди. Железкин всё рыл и рыл.

— Ваше благородие, пожалуйста сюда.

Железкин выполз из-под земли и потянул Козлова за рукав.

Ниша, выкопанная в дороге, расширилась под землю, образуя подобие большой норы, в которой, тесно прижавшись, могли поместиться два человека. Пахло землей и сыростью, но уже сквозь этот запах пробивался запах жилья, солдатского пота и кожи.

— Постой, ваше благородие, погоди здесь, я на деревню сбегая, пока ночь, соломки принесу подстелить, досточку подложу, то-то дворец будет! — И Железкин, оставив винтовку и сумки в норе, выполз наружу и пошел по дороге.

„Какой он храбрый!.. Какой он добрый... Какой он хороший, Русский солдат“, — думал Козлов, усаживаясь на сумках и упираясь головою в землю.

Здесь пули не только не могли достать, но не было даже слышно их неприятного посвистывания. Было тихо и темно, как в могиле. В отверстие ниши была видна дорога, противоположный скат и голый ивовый куст, несколькими ветками торчавший над обрывом. Козлов рассчитал, что он теперь укрыт даже от снарядов и только, если граната прямо ударит в их нишу, только тогда от них ничего не останется. „Ну, на это мало вероятия“, — подумал Козлов, но почувствовал, как сердце его похолодело.

Жутко и холодно было сидеть одному в земляной норе. Время тянулось тягуче и медленно, но проходили часы, а Железкина не было. Козлов дремал, просыпался и снова дремал, наконец, заснул по-настоящему.

Проснулся он от сильного шороха рядом и сразу не мог понять, где он находится. Кругом была сырость и земля, бока и спину ломило. В отверстие был виден мутный свет

раннего утра и солома, которую протискивали снаружи чьи-то руки в яму.

— Принимай, ваше благородие, услышал он голос Железкина.

Вслед за большой охапкой соломы ввалился и сам Железкин с доской и стал разминать и устраивать ложе из соломы.

— То-то славно будет. Он сейчас с артиллерии палить начал, а мы и не услышим — говорил Железкин, задевая в тесноте ямы Козлова по лицу, и наступая на него сапогами. Он наполнил яму свежим запахом морозного ясного утра.

— У жиды насилу солому достал. Давать не хотел, сволочь. Гривенник ему отдал. Такие люди, ваше благородие, такие... Тут жизнь отдаешь, а ему берем соломы жалко. А солома хорошая, цеповая. Там ребята машинной набрали, — ну какая же это подстилка, раструсится вся, пока донесешь. Фельдфебель приказали доложить вашему благородию, что рота наша вся закопалась. Деревянкина ранило в щеку. Дохтур говорит, ничего, жить будет. Так сквозь щеки и прошла. Ребята шутят, что мол поцеловала сладко... Вкусная она пуля, или нет? А он и говорить не может, руками показывает, что, мол, — горькая. По концерту не съедим, ваше благородие, я принес.

Железкин вынул из карманов две жестянки и стал открывать их кривым ножом.

— Телефонист, ваше благородие, тут рядом, только аппарат не работает. Должно провод порвали, чинить ночью пойдут. Сейчас не пройдешь, на выбор бьет... В посаде народу! Страсть! Нежинский и Болховский полки подошли. Их ребята сказывали, что видали, как тяжелые пушки наши становили. На, восьми лошадях везут, и лошади, сказывают, огромные. Наш второй батальон уже на этом берегу, следом переправили. Сегодня ночью, сказывали, весь полк здесь будет. То-то австрийцу жутко теперь. Он, поди, чует... А ведь во, ваше благородие, не выйдет. А почему? Кажись, вышел бы ночью, всех нас задарма поколоть бы мог. А не вышел. Значит, боится. А ведь его там, в штабе сказывали, две, или три дивизии, а нас... рота.

Железкин весело засмеялся. Офицер и солдат сидели рядом, прижавшись друг к другу так, что Козлов чувствовал острые плечи Железкина сквозь его шинель. Оба ели холодное мясо консерва, доставая его руками. Их думы были одинаково просты и скованы они были на такое житье надолго — пока весь полк не устроится.

XLVI.

Сон это был, кошмар, дававший ночью или жуткая явь? День теперь или ночь? Судя по тому, что в отверстие ниши льется мутный свет и глухо стучат частые выстрелы пушек — день. Который день? Напряжением памяти Козлов восстанавливает, что это уже третий день идет, что он сидит так, прижавшись к Железкину в земляной могиле. Эта яма уже стала смрадной ямой, потому что выйдти из нее было нельзя. Австрийцы сосредоточили огонь тридцати восьми легких и восьми тяжелых орудий по дороге. Снаряды падали правее и левее дороги, и осколки гранат и пули шрапнелей впились в землю, взрывали траверсы, и щелкали по краям отверстий. Одна граната упала на самую дорогу и вывернула одиннадцать человек, обратив их в кровавые лохмотья мяса и засыпав их черною землею. Из одиннадцати мертвых выполз один и пополз по земле, как полураздавленный червяк, волоча разбитую ногу. Пуля стрелка из австрийского окопа добила его и он затих, скорчившись в неловкой позе, черной от земли и крови.

Днем все сидели, притаившись по ямам, молчали и тяжело вздыхали, ожидая, когда кончится артиллерийский огонь, и прекратится эта страшная лотерея, где выигрышем была смерть. Днем огонь стихал на полчаса. В земляных нишах, наполненных людьми, тихо говорили; — **обедать пошел**, а сами ту же подтягивали ремнями голодные животы. Около четырех часов дня опять умолкала канонада и в земляных норах тяжело вздыхали православные и говорили — **каву пьет**. Перед закатом австрийцы били со страшною злобою, пуская снаряды целыми пакетами, земля кипела кругом дороги и в ямах сидели тихо и ни о чем не думали. Ночью всё

оживало. Телефонисты выползали чинить провода, люди отправлялись за сухарями и за консервами. Пули, однако, продолжали бить по дороге, и эти экспедиции никогда не были безопасны. Не проходило ночи, чтобы кого-либо не убило, или не ранило, но ночью чувствовалось легче. В ямах люди вздыхали, крестились, и там, где было по два, или по три, тихо переговаривались.

-- Вот так-то, ваше благородие, года три тому назад сподобился я посетить святой город Киев, рассказывал Козлову — Железкин. -- Возили мы туда с отцом скотские кожи. Был я в Киево-Печерской лавре и видел подземелья. Вот, как у нас с вами здесь. Тишина, темно. Монах свечку зажжет и видишь, лежит обернутый в красную матерью какой-то угодник. А почему в красную?.. Да, жили люди в тишине, под землею храм у них выкопан был махонький, молились они там. Чудно! Жили, значит, и ничего не ведали. Просвиркой одною питались. Ничего им не надо. А мой отец и говорит монаху. Значит, испытать его хотел. — „Это”, — говорит, — „разве святость от мирского соблазна под землю спастись?.. По мне”, — говорит, — „больше святости, ежели в миру спасешься”. Вот я, ваше благородие, и сейчас не возьму в толк, где спасение? Там, в пещере, где тихо, мирно, и никто не тревожит, или, как здесь, где людей бьют, где этакий страх и жизнь вовсе не похожа. Прошлою ночью я за водою, чаю вам согреть, иду и вижу, лежит нога в сапоге. А на подошве железные набивки, знакомые такие. Чья, думаю, нога? А потом и вспомнил. Это ефрейтора Забайкина нога, у него такие набойки, он при мне в Новом Корчине набивал. Набил и говорит: „ну, эта до самого конца войны хватит”. А тут вот лежит нога, а его нет. Там, ваше благородие, ста шагов отсюда не будет, снаряд, как попал в край дороги, так ничего не осталось. И кто убит не знаем. Фельдфебель говорит: „опосля, на перекличке узнаем”. У края ямы лежит голова и грудь вся разворочена, красная, ну прямо, как в мясной лавке туша. И дух от нее нехороший. Я прошел, было, мимо. А потом, чувствую, смотрит он на меня, ну, будто зовет, что ли. Хочет, чтобы опознал я его. Не могу дальше идти. Зовет. Повернулся я, пошел к нему. Луна

светит так ясно, ясно. Нагнулся. А он смотрит: глаза открытые, мертвые, лицо восковое, губы открыты, зубы белые, ровные, усы черные ветер растрепал, голова коротко стриженная. Кто же вы думаете? Запевало 2-ой роты Лепешкин, Иван Лепешкин! Ах, думаю! помяни, Господи, раба Твоего Иоанна, на брани за веру, Царя и отечество убиенного!.. А тут пуля — чмок ему прямо в затылок. А он и глазом не моргнул. Господи, ваше благородие! Век помнить буду. Что значит мертвый-то! Пуля и всё такое, а он ничего. Пустился я бежать. Бегу, а всё мне кажется кричит мне Лепешкин: „чего бежишь, и тебе то же будет!..“

В эту ночь пришло приказание выйти из ям и рыть землю под самыми проволоками. Тысячи людей шло, прорывая канаву и под самыми проволоками металась земля, насыпаясь длинным пухлым валиком. По этой земле всю ночь били пушки и стреляли ружья, но выйти австрийцы не смели.

В глубоком австрийском окопе, с бойницами, обшитыми досками или хворостом, с узеньким банкетом, на котором едва можно было стоять, такую же жуткою нечеловечески страшною жизнью жило восемь тысяч австрийской пехоты. Они стреляли днем и ночью по каждому подозрительному пятну, по каждому шороху. Они видели днем, как кипела и клубилась земля от множества разрывавшихся снарядов, им казалось, что они, вместе с досками и соломой, летящими кверху, видели руки, ноги и тела Русских солдат. Но они чувствовали, что Русские накапливались в земле вдоль дороги, наполняли ее массами людей. Каждое утро их наблюдатели усматривали на дороге новые следы соломы, а ночью стрелки слышали всё усиливающееся и приближающееся скрежетание земли, которую роет множество лопат.

Всё страшнее становилось в неприступных окопах. Длинные ряды кольев сомнительно качали своими верхушками и проволока казалась жалкой паутиной.

В эту страшную ночь вдруг увидели австрийцы, как стала невидимыми руками из-под земли выбрасываться земля, и в ужасе почувствовали, что неприятель так близко, что, когда затихала стрельба, то слышен был сдержанный говор и непрерывный шорох земли.

Офицеры с бледными лицами проходили сзади стрелков и говорили по-немецки и по-славянски.

— Не бойтесь. Никогда Русским не пролезть через проволоку, никогда не одолеть наших укреплений.

Но голоса их звучали неуверенно, лица их были бледны, а из широко раскрытых глаз глядела пустота смертельного ужаса.

В это ясное декабрьское утро они увидели, что вдоль всего фронта, в расстоянии шестидесяти шагов насыпана длинная полоса свежей земли. Австрийцы стали подтягивать сюда резервы. С первыми утренними лучами солнца вдруг, сильно нагнетая воздух, прилетела шрапнель и — бомбмю! — лопнула и разорвалась веселым белым дымком позади окопа.

Над длинной грядой свеженакопанной земли на секунду высунулось молодое лицо со счастливыми взволнованными глазами и сейчас же юркнуло под землю и раздался торопливый голос, говоривший по телефону. Восемь Русских батарей, тридцать орудий, — в одной батарее два орудия были подбиты и испорчены, — и четыре тяжелых пушки проверяли свои выстрелы. Через совершенно равные промежутки, очень редко, каждые пять минут с Русской стороны прилетала одна шрапнель и с неизменною точностью била по гребню австрийских укреплений. И этот редкий размеренный огонь производил впечатление большее, нежели непрерывная пальба австрийских пушек.

— У Русских нет снарядов, — говорили офицеры, обходя солдат.

Но солдаты смотрели на них с тоскою и ужасом и не верили потому что они чувствовали, что так размеренно, по часам, посылать снаряды, может только тот, кто уверен в своих силах и в своей победе.

Огонь австрийцев становился беспорядочнее. Меньше пуль попадало по гребню Русского укрепления и больше свистало по полю, падая, где попало. Самая тишина Русской позиции их раздражала. Эти пять минут от выстрела до выстрела казались вечностью, их ждали с омертвелыми лицами и с дрожащими руками. Принесли в плоских котелках аро-

матный кофе, но никто не притронулся. Настало время обедать, но никто не пошел за обедом. Ждали чего-то решительного и то, что время шло, а решительного не было и огонь был уныло методичен, — лишало сил.

Ровно в два часа дня, когда зимнее солнце значительно склонилось к западу и светлый и ясный день стал догорать, полковник Дорман сказал по телефону артиллерийскому генералу:

— У меня всё готово, можно начинать.

— Начинаю, — ответил в телефон спокойный голос, и даже в трубке телефона чувствовалась могучая уверенность в силе своего оружия.

Прошло около двух минут в полной тишине. На правом нашем фланге, далеко за Новым Корчиным тяжело, залпом, сливаясь в один звук, ударили четыре тяжелые пушки и сейчас же по всему полю раздался непрерывный раскатистый грохот тридцати орудий, он перебежал по полю, подобный небесному грому и не успело стихнут эхо, как снова загредел он, раскатываясь шире и громче. Со страшным скрежетом, раздвигая морозный воздух, неудержимо неслись снаряды к австрийцам и с неумолимою точностью попадали под самые окопы. Гранаты, бросая тучи черной земли и громадные клубы бурого вонючего дыма, разрывали проволоки, выворачивали колья, или, попав в бруствера, выворачивали доски, били людей и сметали бойницы. Шрапнели обвесили гирляндами белых дымков край укрепления и не успел ветер отнести их, как новые стаи вспыхивали перед бойницами и плыли, ликующие и ясные. Издали казалось, что белым дымом курилась вся позиция.

Уже никто из австрийцев не стрелял. Все забились по своим глубоким **лисьим норам**, ямам, выкопанным в толще земли, или прижались к углам траверсов и слушали непрерывный металлический грохот лопающихся снарядов, свист шрапнельных пуль и вой осколков.

Австрийские батареи отвечали с не меньшею яростью. Но они не знали, куда стрелять. Линия Русских стрелков была так близка, что австрийцы, боясь поразить своих, давали

перелеты и били по площадям, стараясь помешать Русским подвести резервы.

Один час и пятнадцать минут непрерывно раскатисто гремела артиллерия и вдруг сразу смолкла и наступила тяжелая зловещая тишина. Но никто в австрийских окопах ей не верил. Так же бледны были лица, так же сидели за траверсами, так же лежали, не смея шелохнуться в лисьих норах, и изредка шорохом несло тихое и болезненное, как предсмертный стон:

— *Jesus, Maria.....**)

Ухо обманывало, и в тишине, на Русской позиции, ловило далекий гром пушек снова начавшейся канонады, вой несущихся снарядов и ждало оглушительного треска взрывов.

Но всё было тихо.

И вдруг отчаянный, как вопль умирающего, раздался дикий крик офицера — — *Hier sind sie! Feuer?**)*

Сотни лиц высунулись над бруствером и то, что они увидели, было ужаснее всякого артиллерийского огня. Всё поле, минуту назад пустое и мертвое, с черными бороздами вспаханной земли, со снегом, сохранившимся в глубине их, с ямами, кустами, всё ровное поле было сплошь покрыто серыми шинелями Русских солдат. Их казалось бесчисленное множество. Над ними рвались оранжево-белые дымки австрийских шрапнелей, но так мало было этих дымок и так много солдат. Передние уже прошли проволоку, которая лежала, порезанная ножницами и разоренная снарядами. Не больше тридцати шагов отделяло первую цепь от укрепления и отчетливо были видны белые, точно мертвые лица с большими, горящими ужасом глазами и можно было различить офицеров, идущих впереди, с винтовками, как и солдаты.

Несколько беспорядочных выстрелов раздались из австрийских окопов и навстречу им грянуло громовое ура!

Оно казалось громче орудийной канонады, оно не походило на крик людей, но что-то невероятно грозное слыша-

*) Иисусе, Мария...

**) Вот они! Пли!

лось в нем. От него, одни люди забыли то, что они люди и стремились только к убийству, другие забыли то, что они солдаты, и их долг сражаться и думали лишь о том, чтобы спасти свою жизнь. Колени позорно подгибались, руки бросали винтовки. Одни, с поднятыми руками, умоляли о пощаде, другие, бросая оружие и шинели, чтобы легче было бежать, бежали стремглав по громадному широкому полю. Огонь австрийской артиллерии оборвался, артиллеристы дрожащими руками старались нацепить пушки на передки и ускакать впереди бегущих нестройными толпами обезумевших от ужаса людей.

Над всем громадным полем мощно и властно, зверски дико, наводя трепет на самые смелые сердца, и, вместе с тем радостно, гремело ура, слышное на многие версты.

Из господского дома, обращенного в неприступную крепость, с неповрежденными проволочными частоколами, полного солдат, вышел австрийский офицер в серо-сизой шинели и высоком кепи. Он нес навязанную на палке громадную простыню и сам отодвинул рогатки, перегораживавшие дорогу. Лицо его было бело, слезы текли по щекам и подбородок неестественно прыгал.

Навстречу ему бежал с толпою солдат полковник Дорман.

В подъезде молодой красивый венгерский лейтенант в расшитой куртке вдруг порывистым движением выхватил из кобуры револьвер, вложил его себе в рот и выстрелил. Когда Дорман вбегал в подъезд, его тело лежало поперек, из развороченной головы текла черная густая кровь и смешивалась с белыми мозгами, выпавшими на камни. На изуродованной щеке один глаз был открыт и что-то смешливо жалкое было в еще блестящем зрачке.

Зарайцы, Нежинцы, и Болховцы бежали, задыхаясь от крика, останавливались, стоя стреляли по бегущим австрийцам и снова бежали. Они уже не кричали ура, но кто-то крикнул безумно радостным голосом:

— Кавалерию!..

Всё поле подхватило этот крик и ликующим стоном, отдаваясь на многие версты, раздался громкий зовущий клич:

— Кавалерию вперед! Кавалерию вперед!..

XLVII.

Как только прогремел первый орудийный выстрел с нашей стороны и обратился в грозную канонаду, полковник Дорман, сидевший в своем расширенном и обращенном в маленькую землянку окопе за мостом, вызвал к себе хорунжего Растеряева и сказал, глядя на него блестящими восторженными глазами.

— Посылайте за полком. Через два часа у нас всё будет кончено.

Растеряев отчетливо и точно написал донесение командиру полка, тщательно проставил время, и, вложивши в конверт, спустился вниз к мосту, где по очереди дежурили казаки. Одно мгновение у него мелькнула в голове мысль, что столь важное донесение было бы лучше отвезти ему самому, но страстное желание быть свидетелем самой атаки, удержало его. — „Я могу понадобиться здесь, как проводник“, — подумал он. В казаках он не сомневался. Очередным у моста был доброволец Виктор Модзалевский.

— Смотри, Витя, это очень важное и спешное донесение, — говорил Растеряев, глядя в красивые смелые глаза — добровольца. — Три креста я поставил на конверте для того, что очень важно.

— Понимаю, — коротко ответил Модзалевский, жадными глазами глядя на маленький желтый конверт. — **Духом** слетаю.

— Поезжай к Алпатову, у него возьми казака и скачите вдвоем, оборони Бог, ежели что случится с одним, другой доставит.

— Понимаю, — снова сказал Модзалевский и побежал под откос к реке. Здесь был небольшой пешеходный мостик в три доски с жиденькими в одну жердь перильцами. Модзалевский перебежал и убедившись, что Растеряев его больше не видит, тихо пошел к крайнему двору, где стояла его лошадь и был его подручный, глуповатый молодой казак, бывший в полк с пополнением в октябре — Федотов.

Три месяца Модзалевский болтался при штабе полка, всячески угождая адъютанту и Карпову и изучая характер командира.

Он вспоминал задачи, данные ему Коржиковым, и инструкцию, выработанную в Циммервальде. „Война должна идти к поражению” — так сказал Ленин. А, если будут такие полковники, как этот Карпов, — будет победа. Он чувствовал, как с каждым боевым днем таял лед между казаками полка Карпова и пехотой. Пехотные офицеры с уважением говорили о казаках, казаки любовно относились к пехоте. Солдаты полупрезрительное **казачки**, выговаривали уже с ласковым оттенком и чаще горделиво называли их **наши казаки**. Между двумя родами войск зарождалась великая душевная христианская любовь, когда казак готов был отдать свою жизнь за солдата, а солдат готов был пожертвовать своею для казака. Они начинали верить друг в друга. „Этого нельзя допустить”, — думал Виктор, — „если будут между людьми доверие и любовь, — они победят и задача моя не будет исполнена”. Хотелось выслужиться перед Федором Федоровичем и Бродманом. „Может быть и самому Ленину доложат!” — Ураганом неслись мысли. — „Как правы те, кто еще в Неаполе написал мне — „и лучшего из гоев убей, — всё держится лучшими. Но мало убить. Надо так убить, чтобы позором покрылось имя, чтобы тошно было умирать. Как учили меня: „Все навозные черви, все равны, нет лучших!.. Мы не дадим им Наполеонов! И побед им не дадим!”

Он нервно сжал пальцами конверт. Он знал задачи полка. В этом пакете всё. „Это будет первая моя заслуга перед партией и перед Лениным... То-то посмеются они!..”

Он зашел за дом, намочил конверт и легко расклеил его.

— Так, так, — сказал он, прочитавши написанное, достал карандаш, переправил цифру 14 на 16; так что вышло, что донесение послано не в 2, а в четыре часа и, раскуривая папироску, сказал про себя: — самое, что мне теперь нужно.

— Ну, Федотов, — сказал он, — веди лошадь до нашей избы, а я сейчас туда приду.

— А что? — спросил, глупо улыбаясь, Федотов.

— А ничего. Скажи уряднику Алпатову, что Витя сейчас придет и водки и пива принесет.

— Вот-то ладно, — сказал Федотов, и затрусил с заводною лошадию к дому, на окраине Нового Корчина, где помещался их пост.

Виктор, имевший значительные деньги, понемногу занял среди казаков сотни и штаба полка положение богатого барчука. Он умел в нужную минуту достать водку, или пиво, и принести тогда, когда люди изнемогали от усталости.

— Настоящий казак, — говорили про него. — Умеет расстараться.

Он был моложе всех, почти мальчик, а пожилые урядники и солидные казаки обращались с ним почтительно. Было в нём что-то, что не позволяло быть с ним за панибрата. Умел он хорошо говорить, умел будить в казаках неясные волнующие чувства и заставлять их думать о том, о чём они никогда раньше не думали.

Урядник Алпатов изнемогал от волнения со своими четырьмя казаками, сидя в небольшой чистой избе. По орудийной канонаде, по тому, что посад, еще ночью полный пехотой, опустел и только фельдшера и сестры стояли группами на улицах под домиками, на которых висели белые флаги с красным крестом, он понимал, что сейчас совершится что-то важное и великое. Он выходил из избы и с тоскою думал чья возьмет — наша, или их. — „Это наши” — говорил он, слушая гул пушек вправо и влево от себя. — „А это их заговорили. Не пора ли за полком посылать?”

Приезд Федотова с известием, что сейчас с водкой и пивом придет Витя обрадовал и смутил его.

— Как будто и не время теперь, — сказал он Федотову и повторил Виктору, когда тот нагруженный бутылками входил в избу.

— По Русскому обычаю, товарищ, для этого время всегда найдется. А тут случай такой... Хорунжий послал..

— А разве его благородие не с донесением послал? — перебил Виктора Алпатов.

— С донесением, товарищ, с донесением. Приказано ровно в четыре часа послать, не раньше и не позже.

Виктор достал конверт и показал подрисованную цифру.

— Странно, кубыть, — сказал Алпатов, — Растеряев обстоятельный такой человек и вдруг заблаговременное донесение?!

— Хотите, распечатаем, — предложил, нагло глядя на Алпатова, Виктор.

— Ну, что с тобою, Витя! Разве же можно?

На водку и пиво из соседней избы подошли телеграфисты и солдат-фельдшер.

— За успех и победу, — сказал Виктор, поднимая чайную чашку с водкой. — Славно жарят. Товарищи солдаты, казачьей водки неужгодно ли?

Солдаты конфузливо пододвигались к столу.

Алпатов гостеприимно очистил им место и заказал хозяину поляку приготовить мятку из картофеля.

Отвыкшие за войну от водки и пива, казаки и солдаты быстро хмелели. Виктор не пил. Лицо его было бледно, какие-то думы бродили по ясному белому лбу и хмурились прекрасные глаза.

— Что, товарищи, — обратился он к солдатам, — хороша казачья водка, а и плётка казачья не худа?

— Ну, зачем такое говорить, Витя, — недовольным голосом сказал Алпатов, — кто старое помянет, тому глаз вон.

— Причём тут плётка? — спросил раскисший от водки и тепла солдат-телеграфист.

— Будто, товарищ, не помните, — сказал подмигивая Виктор.

— Ну, будя, будя!.. — толкал под бок Виктора, Алпатов.

Нет, почему, товарищ... А помните, как тогда, когда рабочий хотел вырваться из-под гнета капитала, а крестьянин пошел добывать себе от помещика ту землю, которая ему принадлежит по праву, казаки стали на сторону насильников бедного народа и кровью и плетью загноили его в тенета рабства!

— Ах, Витя! — досадливо морщась сказал Алпатов. — Ну, ни к чему это! Ну, разве мы виноваты? Ежели приказание. Присягу сполнять одинаково должен, что казак, что солдат.

— Нет, товарищ, — звонко отчеканивая каждое слово сказал Виктор, — ежели бы тогда, в 1905 году, не казаки, совсем по-иному пошла бы жизнь и не было бы ни войны этой, ни этого неравенства.

— Что же, господа казаки, — сказал фельдшер — малый правильно говорит. Видать образованного человека. Много тогда душегубства наделали казаки.

— Да что вы, земляки, — сокрушенно мотая головою, сказал Алпатов, — Ну, совсем же это не так. И солдаты шли тогда на усмирение и все потому... Ну, словом, присяга.

— Казаки были всему коноводы, — сказал фельдшер.

— Вы, земляк, так рассудите, ведь я там не был. Я тогда и в малолетках не числился, чего же корить. Это, Витя, неправильно совсем, — заговорил скромный белокурый казак Польшинсков.

— Всё одно, брат, или отец, сословие казацкое пошло, — сказал телеграфист.

— Да, товарищи! В этом великий грех казачества перед крестьянством... Казачество пошло на защиту буржуазии от восставшего пролетариата и за то оно получило себе в награду легкую и привольную жизнь, — звонко, чеканя слова, говорил Виктор. — Смотрите, вот уже четвертые сутки непрерывно гремят пехотные пушки и льется крестьянская кровь, а казаки сидят глубоко в тылу и в ус себе не дуют. Но будет час и солдат вспомнит это и выместит свою злобу на казачке.

— Ах, Витя, — сказал Алпатов, — ну какой там пропре-лият, что ты говоришь такое? Будет наш час и придем. И как еще поможем пехоте.

— Нет, господа казаки, — сокрушенно мотая головою говорил фельдшер, — его речь правильная, умная, тяжелая речь. Не люди вы, казаки.

— Как не люди! — воскликнул Польшинсков.

— Так, непонятные, не крестьянские вы люди. А так отчаянные какие-то.

Спор разгорался сильнее. Виктор отошел к дверям, надел снятую было винтовку и с улыбкой смотрел, как началась ссора между этими людьми, которые полчаса тому на-

зад искренно любили и гордились друг другом. „Так, так“, — думал он, — „поддай, поддай!”

Артиллерийский огонь, потрясавший окна, вдруг оборвался, прошла секунда томительного затишья. Спорщики примолкли и сидели, прислушиваясь. И сразу, как всплеск могучего моря, грянуло и широко на несколько верст разлилось могучее ура.

— Товарищи! — крикнул, распахивая двери Виктор, — там сейчас потоками льется кровь солдатская, крестьянская и рабочая, а казаки спят по хатам, нажравшись вина!

— Виктор! — грозно крикнул Алпатов, сжимая кулаки! Земляки! это измена!

— Федотов, — спокойно сказал Виктор, — нам пора ехать. — Ай-да по коням!

И он вышел из избы.

XLVIII.

Эти дни Карпов сильно волновался ожиданием. Каждый день в определенные часы он получал от Растеряева записки с описанием обстановки и следил за каждым шагом пехоты.

В этот день утром он получил известие, что сегодня, между четырнадцатью и шестнадцатью часами, произойдет бой, а когда надо выезжать Растеряев обещал сообщить дополнительно.

К двум часам дня, к началу канонады, полк был посажен и сотни собраны по дворам. Карпов хотели идти, но адъютант Кумсков его удерживал.

— Поспеем, господин полковник, — говорил он. — Нет хуже, как если мы опять понапрасну приедем. Люди потеряют порыв и охладеют.

— Вы правы, Георгий Петрович, но не случилось ли чего с Растеряевым?

— Самый аккуратный офицер, господин полковник.

— А, если убит?

— Там Алпатов. Пехота прислала бы сказать. Да ведь вы знаете пехотный бой. Они до утра будут вести артилле-

рийскую подготовку. Я думаю, сегодня ничего не будет. Не так-то легко взять укрепления.

— Пойдемте на улицу, я не могу сидеть в избе, сказал Карпов и вышел с адъютантом из хаты.

Красное солнце опускалось к горизонту. Гром пушек и грохот рвущихся снарядов внезапно смолк. И вдруг оттуда, где в мутном туманном мареве лиловыми пятнами рисовались деревья господского дома послышался неясный гул.

— Георгий Петрович, что же это?! — схватывая за руку Кумскова, воскликнул Карпов.

Адъютант стоял бледный и широко раскрытыми глазами смотрел вдаль.

— Ведь это. Ура!.. Вы понимаете? Они атакуют... А мы... в восьми верстах. Нам сию минуту нужно быть там!.. Трубач! труби тревогу....

Через пять минут полк просторною рысью шел по направлению к Новому Корчину. Но уже темнело. Солнце скрылось в полосе тумана и луна высоко висела в небе. Были обманные, тусклые сумерки. Навстречу Карпову скакало два казака. Это были Федотов и Модзалевский. Виктор передал пакет с донесением Карпову, но тот его не стал даже читать. По тишине, которая наступила кругом, тишине победы, когда не слышно ни пушечных, ни ружейных выстрелов Карпов уже, помимо всякого донесения, понимал, что всё конечно и он опоздал.

— Почему так поздно? — крикнул он на ходу Виктору.

— Не могу знать, — громко и отчетливо прокричал Виктор.

Полк широким потоком, не сокращая рыси спустился к реке, и, так как мост был занят толпою пленных, которых вели в посад, то Карпов свернул на брод и по броду по брюхо лошади перешел через реку Ниду и поскакал к господскому дому.

Навстречу ему, по всему полю шли наши солдаты. В подоткнутых спереди шинелях, в заломленных на затылок старых смятых фуражках, с винтовками на плече они имели лихой ухарской вид победителей.

— Эх, казаки, родимые! — кричал молодец, шедший навстречу, — что же опять опоздали! Мы пешком нагоняем, а вы и на конях не можете.

— Казачки, казачки — мало-мало батареи не забрали, а вы! Эх вы! — говорил офицер с красным, возбужденным бегом лицом, обтирая пот.

— Нагаечники, — слышался из сумрака злобный голос, — им мирный народ усмирять это одно, а воевать... Ку-у-ды ж!

Кто-то из темноты пронзительно свиснул и было в этом коротком свисте столько презрения и оскорбительной досады, что он хлеснул Карпова и его казаков, как бич. Карпов невольно оглянулся и первое, что бросилось ему в глаза — улыбка, которая плыла по лицу Модзалевского и которую он никак не мог удержать.

— Ты чему смеешься, каналья! — крикнул Карпов. Лицо Виктора мгновенно стало серьезным и он пробормотал — я-то? Я ничего...

Но уже была аллея господского дома. Густая толпа солдат гомонила по саду.

— Я бежал за ими, версты две бежал, — задыхаясь счастливым молодым голосом говорил кто-то, — ну разве догонишь? Они на лошадях, слышь себе громыхают рысью. Ну, вот не догнал, рукой схватить можно.

— Я его, милый человек, как схвачу за горло, у него и сабля из рук вон выпала. Ну, пожалуйста, ваше благородие, в плену значит.

— Он в меня выпалил, ну во, как ты стоишь, и — жжи — ничего, промахнулся.

— Я его штыком как в живот шарахну — у него глаза аж завертелись.

— Больно, должно быть.

— Эх, кабы кавалерия подоспела, всех бы забрали, а то сколько его убежало.

— И пушки увезли. Главное досада, что пушки.

— А меня, братцы, офицер спас, — говорил в толпе второй роты высокий и нескладный Железкин. — Ротный наш, капитан Козлов. Он в меня штыком, а ротный штык от меня

отвел и штык прямо ему в грудь. Кровь пошла. Я говорю: — вы ранены за меня. А он говорит: — ничего тебе бы в живот, а мне в грудь — пустяки и упал значит. В век не забуду. Умирать буду, а помнить его благородие Александра Ивановича буду!

Полковник Дорман, счастливый, сияющий, насквозь пропитанный запахом победы, встретил Карпова у самого подъезда среди трупов немногих австрийских солдат, заколотых в пылу боя.

— Что же вы, — с горьким упреком сказал он Карпову, — многоуважаемый, опоздали, а? Полторы дивизии и шесть батарей были ваши. Мои конные ординарцы и то две пушки взяли. Эх, вы! Гаврилычи!

Кровь прилила к лицу Карпова от этого оскорбления, но он так понимал Дормана, что ничего не ответил.

— Теперь что же? Идите домой. Вы мне больше не нужны. Я здесь закапываться буду. Корпусу донесу, что не моя вина, что мы не в Столине, а здесь.

— Я догоню! — сдержанно сказал Карпов.

— Куды! К чорту под хвост догоните. Он поди окопался уже.

— Я догоню! — решительно сказал Карпов и повернул лошадь.

Злоба кипела в нем. Он ничего не помнил, но сознавал одно, что оскорблено его родное войско, его прекрасные казаки и оскорблены по его вине.

Полк, собравшийся в резервную колонну подле господского дома, ожидал его хмурый и недовольный. Казаки сидели нахолившись и опустив головы. Им было обидно и они до глубины сердца чувствовали вину своего командира.

— Третья и четвертая сотни в лаву на Столин, — рысью — крикнул Карпов. — Есаул Каргальсков, ведите лаву. Войсковой старшина Коршунов идите с остальными сотнями в полуверсте сзади. Я пойду с лавой!..

У него уже созрел свой план и план его сулил ему успех.

XLIX.

Карпов ехал по дороге за серединою рассыпавшихся в лаву казаков и картина будущего боя отчетливо рисовалась ему.

Там, где-нибудь, в восьми верстах от него, толпою, молчаливо нахмурившись, меся башмаками глубокоую грязь, идут остатки австрийской дивизии. Они потрясены боем. Усталые лошади едва вытягивают пушки из грязи. Кругом холодная, обманчивая в лунном свете ночь. Он обогнет справа лесом эту колонну и ударит на нее в конном строю. Они сдадутся. Они не могут не сдаться. Тогда он покажет, что такое его казаки. Он возьмет пленных и пушки не из-под пехоты, а сам в большом и смелом ночном бою.

Его ночная конная атака при луне станет достоянием истории и дело у посада Столина будут также изучать как Бегли-Ахметское дело, а имя Карпова будет навеки прославлено, как имя кавалерийского вождя!

Он выпрямлялся в седле и бодро ехал по дороге. Брошенные повозки и кухни, валяющиеся вдоль дороги ранцы показывали ему, что паника и усталость в рядах австрийской пехоты были велики. В четырех верстах от Нового Корчина, в стороне от дороги, загрузшие по самые оси в болоте, стояли две пушки с передками. Должно быть, обезумев от страха, бросились обгонять пехоту, сорвались с дороги и погрузили в болоте. „Хорошо! хорошо”, — думал Карпов и шел свободною рысью.

Близка была деревня Хвалибоговице. Здесь дорога поднималась на бугор.

По бугру вспыхнули яркие желтые огоньки и раздалась трескотня ружей. Хвалибоговице было занято неприятелем, готовым дать отпор. Пули щелкали кругом. Две лошади в лаве упали, казак со стоном склонился на луку седла. Лава подалась назад.

— Стойте! Стойте! — крикнул Карпов. Это его арьергард. Тут всего какая-нибудь рота не больше. Есаул Каргальсков, отведите немного лаву и ждите. Я обойду их с осталь-

ными сотнями. Георгий Петрович поедемте со мною, посмотрим в чем дело.

От широкого, грязного растоптанного отступавшими австрийцами шляха вправо шла чистая узкая упругая полевая дорожка. Сарданал, как только ступил на нее, облегченно фыркнул, охотно ответил на шпору и пошел полевым галопом к черневшему в стороне лесу. Кумсков, Лукьянов, Пастухов и Модзалевский скакали за Карповым. Они въехали в темный лес и невольно перешли на шаг. Пахло сыростью и прелым листом. Лошади неслышно, точно крадучись, ступали по мягкой, усеянной коричневыми листьями дороге. Лунный свет бросал серебряные блики на мокрые стволы буков и осин и блестел на оставшемся в глубине леса снегу. Капель падала с деревьев и шумела по сухому листу и, казалось, что кто-то осторожно подходит. Влево лес становился реже, начиналась опушка, за ней были холмы и край деревни Хвалибоговице.

Карпов остановился, слез с лошади и пошел к опушке.

Лукьянов и Модзалевский шли следом, адъютант рядом.

Они вышли на край леса. Из темноты леса деревня, озаренная полною луною, казалась совершенно светлою. Каждая хата, огороды, поля, журавель колодца были ясно видны на фоне серебрищегося неба. Выстрелы продолжались и огни их вспыхивали только влево, против большой дороги.

— Я так и думал, — сказал Карпов шопотом. — Тут и роты не будет. Скачите к Коршунову и ведите его этою дорогою сюда. Мы пошлем вторую сотню пешком в деревню, а со всеми остальными на конях в обход. Скажите Каргальскову, чтобы присоединил обе свои сотни к полку. Вы понимаете меня?

— Понимаю, понимаю, проговорил Кумсков. Волнение командира полка передалось и его адъютанту. Он также дрожал внутреннею дрожью, как дрожал и Карпов.

— Мы покажем им, что такое донцы! — горделиво сказал Карпов так громко, что Лукьянов и Модзалевский услышали его слова.

Кумсков побежал к лошади и слышно было, как он поскакал по дороге. Затем всё стихло.

Карпов стоял на опушке, в пяти шагах от него был его штаб-трубач. Модзалевский отошел назад.

Вдруг резкий выстрел совсем подле, заставил Карпова оглянуться. Он увидел, что Лукьянов без стопа свалился, как сноп на землю, два раза судорожно дернулась его нога и он затих. Не успел Карпов сообразит откуда и кто стрелял, как яркое пламя выстрела метнулось подле него, страшный удар в грудь толкнул его и сбил с ног, и, захлебываясь кровью, он упал на землю. Но он сознавал, что не убит. Затылок с которого слетела папаха, явственно ощущал холодный и сырой мох и он царапал и щекотал его шею. В ту же минуту он увидал над собою юное лицо Модзалевского и хотел спросить его. Ему казалось, что Модзалевский пришел к нему на помощь. Но Модзалевский смотрел на него со злобою и ненавистью и медленно вытягивал шашку из ножен. Карпов пошевелился и потянулся рукою к револьверу, но в ту же минуту страшный удар по черепу оглушил его, красные искры посыпались из глаз, всё завертелось под ним и исчезло сознание жизни.

Виктор толкнул Карпова ногой и убедился, что он мертв. Тогда он вложил шашку в ножны и быстро побежал к деревне, занятой австрийцами.

Пастухов, оставшийся на дороге с четырьмя лошадьми слышал выстрелы и не знал, что ему делать. Спешить на выстрелы с четырьмя лошадьми он не мог, лес был густой и с ними нельзя было пролезть, бросить лошадей он не смел. Смертельно бледный, в страшной томительной тревоге он повторял только: „с нами крестная сила!“ — тяжело вздыхал и отдувался. Но в лесу стало тихо. Никто не кричал, не стонал, не звал на помощь, выстрелов больше не было.

Минут через десять неясный гул идущей рысью конницы раздался по лесу. Коршунов и Кумсков скакали впереди полка.

— Вот здесь! — сказал Кумсков, увидавши Пастухова с лошадьми.

Коршунов остановил знаком сотни и поехал через лес на опушку. На зеленом мху, освещенные высоко поднявшимся месяцем лежали два трупа — командира и его штаб-трубача.

Оба были убиты сзади почти в упор. Карпов, кроме того, был зарублен. Доброволец Виктор Модзалевский пропал без вести. Страшное подозрение закралось в души казаков. Урядник Алпатов и казак Польшинсков были уверены в том, что никто другой, как Виктор убил командира. Но никто не говорил об этом.

Известие о смерти любимого командира, как громом поразило казаков. Бодрость сменилась апатией. У Коршунова не хватило силы воли выполнить план Карпова, который ему рассказал Кумсков. — История конницы — история ее генералов. Вождь, способный на лихую ночную конную атаку был убит и его некем было заменить.

Уньмо и скучно, без трофеев, везя убитого командира возвращался к пехоте полк Карпова. С этого дня его слава померла и он стал самым обыкновенным заурядным полком.

Тот, кто исповедывал завет Мехильта — „лучшего из гоев умертви, тучшей из змей раздроби мозг“, — знал, что делал.

Виктор, раздробивши мозг Карпова, раздробил и мозг его полка.

Л.

Автомобиль Красного Креста, на котором сидел Мацнев, поддерживая лежащего рядом на носилках Саблина, дрогнул, перезжая с поля через канаву на шоссе, и от этого толчка Саблин очнулся, застонал и открыл глаза.

Автомобиль, выбравшись на ровное мощенное кирпичом на ребро стратегическое шоссе, точно обрадовался, заскрипел рычагом и покатил, мерно жужжа.

— Где я? — хрипло спросил Саблин.

— Со мной милый Саша, — ласково проговорил Мацнев.

Саблин поднял глаза, узнал Мацнева и кротко улыбнулся.

— А, милый философ, — сказал он. — Вот неожиданная встреча... Что батарея? — вдруг тревожно спросил он. Перед ним на миг стала картина последнего момента атаки.

— Взята, Саша, взята! Ты со своим дивизионом вписал славнейшую страницу в историю нашего полка, да и не толь-

ко его, а вообще всей конницы нашей, всей Русской армии. Четыре пушки! Прислугу наши молодцы порубили. Вы спасли пехоту.

Но Саблин уже слушал его со странным равнодушием. Точно Мацнев рассказывал ему о чем-то давно, давно прошедшем, скучном и неинтересном. Он слабо улыбнулся, усилием воли заставляя себя вспомнить всё что было, но ничего уже не мог вспомнить. Была скачка и Диана без седока его обогнала под солдатским седлом. Почему Диана была под солдатским седлом?

— А Коля? — вдруг тревожно спросил Саблин.

— Ты герой Саша, — не отвечая на вопрос о сыне, говорил Мацнев. — Ты теперь великий герой. Георгиевский крест обеспечен. Князь уже телеграфировал Государю о тебе. Помнишь, я тебе всегда говорил, что ты в сорочке родился. Первое дело и такое славное дело, удивительное дело.

Саблин слушал его и не понимал. Всё то, что говорил ему Мацнев было скучно и навевало тоску. Слава, подвиг, взятая батарея, всё это было не главное, не существенное... Коля? Но и вопрос о Коле возник как-то случайно в связи с Дианой, поседланной солдатским седлом, и значения не имел. А что же главное?

Мерно журчавшая машина и мягко покачивавшийся на рессорах авомобиль мешали сосредоточиться. Саблин видел подле своей головы мягкую белую руку Мацнева с пальцами, украшенными дорогими перстнями и нежное чувство к старому товарищу охватывало его.

— Что я очень тяжело ранен? — спросил Саблин и сейчас же почувствовал, что вот это и есть самое главное, что ему нужно было знать и что его так сильно беспокоило.

— Я буду жить? — спросил он, жадно устремляя глаза на Мацнева и с тревогою ожидая его ответа.

— Ну, конечно. Две шрапнельные пульки, да какой-то осколочек тебя повредили, но существенного ничего.

— Правда?

— Клянусь Анакреоном.

У Саблина явилось сильное желание поцеловать красивую холеную белую руку за эти слова. Свое, личное, заслонило всё остальное.

— Ты куда меня везешь?

— Прямо в Варшаву, в лучший лазарет, на попечение лучших врачей и Александры Петровны. Помнишь?

Саблин поморщился. Теперь легкомысленная Александра Петровна Ростовцева, любительница пикантных разговоров и приключений с молодыми мужчинами, навязывавшая когда-то Саблину была ему неприятна. Он знал, что и у Мацнева было с нею какое-то особенное и притом противоестественное приключение.

Мацнев понял его.

— Ты, Саша, не узнаешь ее. Ты знаешь она разошлась с мужем и стала святою. Она работает в солдатском отделении и исполняет самые тяжелые и грубые работы. А? Кто бы мог подумать, что Саша Ростовцева будет мыть грязные раны? Знаешь, она как-то высосала гной из раны и тем спасла солдата. Ах, подвиг так меняет женщину. У ней лицо, — этот ее единственный недостаток при ее дивной фигуре, стало прекрасным.

Но Саблину было неинтересно слушать про Александру Петровну.

— Что мне операцию будут делать? — спросил он.

— Не знаю, Саша. Ну, если будут — самые пустяки...

Мысль об операции снова взволновала Саблина. Он не слушал, что говорил Мацнев. Мерный стук машины раздражал его и усыплял, явилось какое-то неясное, неопределенное, близкое к бреду состояние и Саблин впал в полузабытье.

Иногда, на несколько секунд сознание возвращалось к нему. Он видел темный сосновый лес, несшийся навстречу, пухлую белую руку с перстнями подле лица и снова забывался. Дневной жар сменила прохлада вечера, потом сияло небо короткими звездами, где-то горели огни и отражались на синем небе. Одно мгновение его поразил шум. Горели яркие фонари. Автомобиль стоял, кругом возились люди.

— Где я? — сквозь забытье спросил Саблин.

— В Варшаве, отвечал Мацнев. — Вот мы и приехали.

Во время переноски в палату Саблин почувствовал сильную боль в груди и голове и потерял сознание.

II

Сознание, грёзы и полное беспмятство, сменяли одно другое в продолжение нескольких дней. Чаще всего грезились Саблину, что он лежит на постели и множество людей окружает его. Они маленькие в полроста человека с громадными головами и небольшими туловищами, вроде тех людей, которых рисуют на карриатурах. Их очень много толпится кругом Саблина, они приходят и уходят, наполняют комнату и проваливаются куда-то, они оживлены и всё время разговаривают друг с другом, но голосов их не слышно. Они ничего не делают Саблину, но от их присутствия Саблину неудобно и он не знает, как их прогнать. Иногда, сквозь эту толпу маленьких, суетливых человечков, вдруг протискается большая нормальная фигура, но она похожа на тень. Она что-то делает над Саблиным и после нее человечки исчезают, наступает мрак, спокойствие и нирвана. А потом, через сколько времени Саблин не мог определить, — опять он лежит в низкой тесной комнате и маленькие человечки с большими головами оживленно толкуются вокруг него, говорят, входят, проваливаются куда-то и от них так мучительно беспокойно.

Мало по малу те высокие, похожие на тени фигуры стали выявляться и приобретать реальные формы и Саблин стал понимать, кто они такие. Первым он узнал короткого толстого человека с рыжими усами и бородой, который трогал его холодными чисто вымытыми пальцами, и после его прикосновений становилось легко и приятно. Человек этот одет в длинный белый балахон с рукавами, завязанными у кисти. Саблин знал, что это доктор, знаменитый хирург Эвальд, делавший ему операцию. Другая фигура была высокая стройная, одетая в длинную юбку в сборках, скрадывающую формы ноги, в черной монашеской косынке, из под которой на лоб выдвинут узким краем белый платок. Косынка спускается на плечи и доходит почти до пояса, и

оттого не видно очертаний высокой груди. Маленькие руки, с точеными изящными пальцами и нежными ладонями, холодные, сухие, осторожно прикасаются к самым больным местам и боль утихает. Косынка закрывает весь овал лица и ясно смотрят оттуда из-под озабоченно нахмуренных бровей большие серые глаза. Мягкое сияние этих глаз скрадывает неправильные черты лица. Саблин знает, что это Александра Петровна Ростовцева, друг графини Палтовой, с которой они при Саблине говорили, что женщина имеет право так же мысленно раздевать мужчину, как это делают мужчины с женщинами. Когда при ней сказали, что кто-то имел интригу с хорошенькой горничной своей жены, а Ротбек, бывший тут воскликнул: „как я понимаю его, эта Танюша такая конфетка!“ Александра Петровна совершенно серьезно сказала что, если мужья могут флиртовать с горничными и увлекаться ими, то нужно предоставить и женам право отдаваться лакеям и кучерам своих мужей.

— Твой Иван, — сказала она, обращаясь к Палтовой, *un bel homme tout a fait**) я бы не прочь иметь с ним роман.

У нее всегда был *esprit mal tourne***) и в обществе, где были молодые барышни, ее боялись. Теперь эта самая Александра Петровна сияла неземною кротостью больших серых глаз и греховное улетело от нее.

Третье лицо Саблин долго не мог признать. Оно появлялось подле него преимущественно ночью, когда ни доктора, ни Александры Петровны, ни служителя, ни няньки не было подле. Стоило Саблину застонать, пошевелинуться, стоило ему подумать о каком-нибудь желании, как, разгоняя бредовый кошмар маленьких человечков, являлся к нему этот человек. Он подходил, как дух, тихо и незаметно. Ловкими, сильными руками он сразу, как никто другой, устраивал удобно Саблина, иногда садился подле и клал мягкую теплую руку на лоб и тогда Саблин успокаивался, глубокий сон охватывал его и он засыпал до утра, чтобы проснуться окреп-

*) В полном смысле слова красавец.

**) Дурное на уме.

шим. Саблин не знал, кто этот человек, а спросить не мог, язык еще не повиновался.

Но постепенно сильное здоровое тело брало свое. Кошмары рассеялись. Определился и третий и оказался священником N-ского пехотного полка, отцом Василием, тяжело раненым в Восточной Пруссии и теперь поправлявшемся в лазарете. Он с Саблиным вдвоем занимал высокую комнату со стенами, окрашенными масляной краской и большим восьмистекольным окном, за которым были деревья сада с пожелтевшею листвою.

Саблин проснулся глухою ночью. Под синим покрывалом чуть светила на потолке электрическая лампа. Штора была спущена и плоским тёмным пятном лежала на стеклах. За окном беспокойно бил по окнам дождь, и ветви деревьев стучали в стекла. Было слышно, как непрерывным потоком лилась из трубы вода в поставленную кадку. Страшное беспокойство охватило Саблина и сердце его стыло в каком-то суровом предчувствии неотвратимого.

Он уже всё знал. Знал, что Коле оторвало снарядом голову, что Ротбек убит, что убита почти вся молодежь, которую он повел в атаку, а он жив и будет жить и будет здоров.

Георгиевский крест, лично присланный ему Государем, лежал на столике под пучком мохнатых хризантем. Всё это было ненужно, все это подчеркивало черноту и безотрадность его жизни. Первый раз память, вместо ярких счастливых моментов жизни, развернула перед ним целый ряд мучительных страниц. Объяснение с князем Репниным по поводу Китти, оскорбление от Любовина, Распутин, его Коля без головы...

Саблин беспокойно заметаился на постели и застонал от душевной боли.

— Вы не спите, — услышал он ласковый голос. — Вам опять больно. Позвольте, я вам помогу.

Вспыхнула лампочка на столике у отца Василия. Но она тщательно была заслонена от Саблина книгою и осветила только подушки и часть стены у койки священника.

— Нет, благодарю вас, — сказал Саблин.

Священник накинул на себя серый подрясник, выпростал волосы, надел наперсный крест на георгиевской свежей ленте, большим гребнем расчесал волосы и бороду и, уютно съежившись, сел под лампой и стал читать небольшую книгу, в которой Саблин угадал Евангелие.

Саблин глядел на него. Лицо у священника было благообразное, красивое, одухотворенное, с маленькою курчавою, чуть раздвоенною бородой, такое, каким на Русских иконах пишут лик Иисуса Христа. Оно было в меру худощаво и бледно, большие голубовато-серые глаза были прикрыты длинными темными ресницами. Ему можно было дать и 50 лет и 25. В темно-каштановых густых, волнистых волосах пробивалась чуть заметная седина, в углу у глаз были маленькие морщины и губы, покрытые усами, были тонки и сухи. Ничего телесного не было в нём, но всё было душевное.

Саблин разглядывал его.

— Читает евангелие, — подумал Саблин. — Читай, читай, ничего не начитаешь, вздор там написан. Толковали его каждый по-своему и каждый не понимал. Вон Толстой такого нагородил! А всё потому, что никто не хочет понять, что толковать нечего, потому что главного, Бога, нет.

— Ну, конечно, — думал он, — ибо если бы был Бог, разве возможна была бы война? Коля с оторванною головою? За что? Вера и Распутин? Распутин терзал ее тоже во имя Божие. А Бог молчал.

— А Виктор и смерть Маруси? Застрелившийся Корф и несчастный Ротбек. Что теперь будет делать бедная Нина Васильевна?!

— Иисус Христос был первым социалистом, и евангелие, по настоящему, запрещенная книга, а мы ее сами распространяем.

— Всё это чепуха. И как просто — когда нет Бога? И угрызений совести не нужно, и этой сердечной муки и томлений, и бессонных ночей... Был бы исправный желудок, а остальное всё приложится.

Священник поднял голову от книги, посмотрел своими синеватыми глазами с неизмеримою кротостью на Саблина и сказал вполголоса:

— Рече, безумец, в сердце своём: — несть Бог.

Саблин вскочил и сел на постели. Воспаленный блуждающий взгляд его остановился на спокойном лице священника.

— Вы это почему, батюшка? — хрипло спросил он в тревоге.

— Это я здесь прочел, -- сказал спокойно отец Василий.

— Но почему вы это вслух прочли? Почему вы знали, что я думал о том, что Бога нет, — сказал Саблин.

— Я этого не знал и думаю, что вы так не думаете.

— Почему?

— Вы образованный и по-видимому верующий человек, сказал священник. — Ошибаться и заблуждаться всякий может, но не верить не может никто.

— Я верил, но я так много раз убеждался в ошибочности своей веры, что перестал верить. Я искал правды в этой книге — и не нашел.

— Что же, это так понятно. Вы не умели искать. Вон социалисты полагают, что евангелие одного с ними толка, а между тем учение Христа диаметрально противоположно учению социалистов. Христианство и социализм это два полюса. И то, что вы сейчас так легко отметились от Бога тоже вполне естественно. Вы его не знаете.

Отец Василий помолчал немного и продолжал:

— Вы много пережили несчастий мирских и искали у Бога мирской помощи и не нашли. Это так и должно было быть. **Царство Божие не от мира сего.**

— О каком таком Царствии Божием говорите вы, — сказал Саблин.

— О том, о котором непрерывно и повсеместно молится весь род человеческий: — „да придет Царствие Твое!“

— Э, батюшка. Я, как себя помню, крестился на картинку, обложенную золотом и самоцветными камнями и бормотал: „да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя... Не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого“. А вышло что? Вся жизнь, и лукавый и искушение и где же воля Божия? Да, извольте, я вам расскажу. **Вы не спите всё равно. Садитесь ко мне и слушайте.**

Саблин, приподнявшись на подушки, уселся на постели и стал рассказывать свою жизнь. Выходило так, что главное в его жизни сначала были женщины. Он рассказал какую страшную драму оскорбления, рождения Виктора и смерти Маруси кончились его увлечения женщинами. Он победил беса похоти и сумел в чистой любви к Вере Константиновне и детям найти удовлетворение. И что же Бог дал ему в награду за эту победу над собою? Распутин, самоубийство Веры Константиновны, поруганной и опозоренной, и трагическая, никому ненужная, бесцельная смерть сына...

— Но это только часть! Только часть, батюшка, — это личное и этот крест я бы смог нести и справиться с собою. Я любил духовную великую любовью Государя и Государыню, любил Русский народ и что же, что же вышло!?

Волнуясь и перебивая мысли и воспоминания, громоздя одну картину над другою, Саблин рассказал всю гамму своих разочарований в Государе и в Русском народе, в котором не оказалось героев. Он говорил, со слезами и горечью, и как бы оправдывался в том, что он дерзнул не верить в Бога.

— Да, да, всё это так понятно, сказал отец Василий. — Вы никогда не задумывались над евангелием, вы никогда не думали над святыми словами Христа: „ищите же прежде царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам*)”, потому что вы никогда не хотели понять, что „Царствие Божие не от мира сего”, но хотели великую проповедь Христа насильственно приклеить к земной жизни, как это делают социалисты. Христианская религия есть религия внутренних побуждений, в этом вся ее страшная сила.

— Я вас не понимаю, батюшка.

— Да и не вы один, многие этого не понимают. Многие думают, что Христос пришел на землю, чтобы законодательствовать и ищут в евангелии какого-то устава жизни. Искал его и великий писатель наш, граф Лев Николаевич Толстой, и все они забыли, что сказал о себе Христос: — „Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить”...**).

*) Евангелие от Матфея. Глава 6 ст. 33.

Отец Василий примок, опустивши голову. В комнате была тишина. За окном стояла глухая осенняя ночь. Никакой шум извне не доносился до них. Саблин, широко раскрывши глаза, смотрел на отца Василия и ждал чего-то. Странно билось его сердце и было хорошо от вдруг охватившего его с непонятною силою волнения.

ЛП

Отец Василий вдруг поднял голову и смотрел вдаль. Он точно видел какие-то картины, доступные ему одному и говорил, рисуя их перед Саблиным:

— Пустыня... пески... — тихо произнес он. — Вдали маячат волнующиеся миражами прозрачные горы. Нет воды, сухая растительность редкими кустиками пробивается сквозь черные камни. С глухим ропотом бредет по этой пустыне громадная пестрая толпа людей. И богатые и бедные, и сильные и слабые, и здоровые и нездоровые, все слились в одном желании найти землю обетованную. Так живописует нам исход евреев из земли Египетской Библия. Сзади остался строгий египетский закон, бичи и скорпионы, в пустыне была свобода, и закона не было. Разыгрались страсти человеческие. Бедный потянулся к имуществу богатого и сказал: „мое!“, голодный пошел тайно резать чужой скот — случилось то, что всегда было...

Отец Василий помолчал немного и тихо с глубокою скорбью сказал — и будет! Ибо несовершенны люди. Мало знали они о Боге и забыли они Бога. Обид и горя было много, судья один — Моисей. И потянулись с утра и до вечера толпы обиженных к Моисею со своими жалобами, ища защиты. И не стало у него времени заниматься делами. В ту пору нагнал Моисея Иофор, священник Мадиамский, на дочери которого был женат Моисей. Он увидал работу и труды Моисея по разбору людских тяжб и понял, что Моисею с этим не управиться. Иофор, человек египетского образования, дал ему совет — назначить из лучших людей себе по-

***) Евангелие от Матфея. Глава 5 ст. 17.

мощников. Так создалась нормальная власть — не выборная, случайная, но из „людей способных, боящихся Бога, людей праведных, ненавидящих корысть“*). Они были назначены тысяченачальниками, стона начальниками, пятидесятина начальниками и десятиначальниками.

— Там же в библии определена и сущность власти. Власть названа **бременем**. „И облегчи себя и пусть они несут с тобою бремя**“)”. Бремя власти было роздано многим людям. Понадобились правила, как судить людей, понадобился, стало быть, закон. Евреи были у подножия ныне потухшего вулкана — Синайской горы. Возможно, что тогда еще клубился дымом ее кратер и гудела и потрясалась земля. Окруженный серным дымом извержения, испуганный и сам совершающимся кругом таинством природы, Моисей дошел до чрезвычайного напряжения творческих сил и создал гениальный по краткости кодекс законов... И писали потом во все века законы великие государственные люди, но выше этих коротких правил: — не укради, не убей, не прелюбы сотвори, не послушествуй на друга своего свидетельства ложна, чти отца твоего и мать твою, не пожелай жены ближнего твоего, ни раба его, ни вола его... выше, проще, короче этого никто не придумал и не написал. Это-то, что вырвалось у человека в момент действительного вдохновения, то есть, тогда, когда устами человека говорит Господь Бог.

— Гремели и рокотали силы подземного извержения, вспыхивало и в клубах тяжелого удушливого дыма металось пламя и голос Моисея, говорившего короткими фразами, казался голосом неведомого Бога!

-- Но... прошло обаяние минуты, стихло извержение вулкана, люди отошли от страшной горы и снова стала соблазнять жена ближнего, и вол его, и осёл его и снова начались раздоры, ссоры и убийства. Люди не могли жить обществом в мире. Понадобился страх наказания. Именем Господним были произнесены страшные слова: --- „глаз за глаз, зуб за

*) Исход Гл. 18 ст. 21.

***) Исход Гл. 18 ст. 22.

зуб, руку за руку, ногу за ногу”*) — создавалась в бродячей толпе государственность и элементами ее явились судьи и палачи, потому что несовершенно человечество и грязны и гадки его помыслы. Но, рядом с этим суровым законом, Моисей указал и другой закон — закон любви и прощения. И напрасно думают что заповеди любви к ближнему даны Христом. Заповедь Христа гораздо выше этого.

...,„Слушай Израиль!” — восклицает Моисей, — „Господь Бог наш, Господь один!”

„И люби Господа Бога Твоего, всем сердцем твоим, и всею душою твою, и всею силою твою”.

„И сказал Господь Моисею, говоря: ...,„люби ближнего своего, как самого себя! Я Господь!”**).

Вот какие законы застал Христос, когда пришел на землю. И десять заповедей, на скрижалях каменных начертанных и „глаз за глаз, и руку за руку” и великие заповеди любви к Богу и ближнему.

Христос признал все эти человеческие законы, как необходимые для того, чтобы сгладить неравенство людей, сильного и завистливого сделать неопасным для слабого и имущего.

Христос исполнял Иудейские и Римские законы и повиновался им. Напрасно стараются выставить Христа революционером, он никогда им не был. Он признавал закон со всеми его несовершенствами, с тюрьмою, ссылкой, с самою смертною казнию, потому что люди были несовершенны. Он не ходил по тюрьмам и Он, исцелявший больных и воскрешавший мертвых, никогда не освобождал заточенных. Он не шел против закона людского. Он, кроткий, простой, незлобивый, друг нищих и убогих, учитель среди простых рыбаков, не гнушался властями и не презирал их. Он воскрешает дочь Иаира, Он возлежит на богатом свадебном пире в Кане Галилейской, Он сидит с фарисеями и не оскорбляет мытарей. Тем, кто ожидает от Него возмущения против властей и против богатых, Он говорит: — „пришел Сын чело-

*) Исход Гл. 21 ст. 24.

**) Второзаконие Гл. 6 ст. 4 и 5. Левит Гл. 19 ст. 18.

веческий: ест и пьет и говорите: „вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам“*)).

Иисус Христос нигде не служил и ни от кого не зависел. У него не было никаких особых служебных обязанностей, кроме одной — следить за храмом. Он был посвящен храму, как член общины и на Его обязанности лежало следить за порядком в храме. Христос увидел зло, творящееся в храме и Он воспротивился этому злу и употребил силу, чтобы искоренить это зло.

„...И нашел, что в храме продавали волов, овец, и голубей и сидели меновщики денег.

„И, сделав бич из веревок, выгнал из храма всех, также и овец и волов; и деньги у меновщиков рассыпал, а столы их опрокинул.

„И сказал продающим голубей: возьмите это отсюда и дома Отца Моего не делайте домом торговли“...**).

— Как возмутился бы Христос, — сказал Саблин, — если бы увидел, как в минуты высочайшего напряжения молитвы, когда священник простирается у престола и шепчет: „се жертва тайная совершена доносится“, — из алтаря выходит староста с блюдцем и за ним длинная вереница сборщиков с кружками. Звякают медные пятаки и шелестят бумажки... А эта стойка-прилавок в храме со свечами, просфорами, иконами и правом купить особую молитву за живого, или умершего.

— Да, — сказал отец Василий, — несовершенств много у нас и нам нужна плётка... Но не о том моя речь. Я хочу вам, Александр Николаевич, сказать одно, что Христос земного не касался и земным законам покорялся и учение его глубже, нежели то думают многие, мнящие себя знатоками Евангелия...

ЛШ

— Христос нам дал только одну новую заповедь. Эта заповедь покрывает собою все законы людские и тот, кто ис-

*) Евангелие от Луки 7 ст. 34.

***) Евангелие от Иоанна 2 ст. 14-16.

полнит в полной мере эту заповедь — тот становится выше закона, потому что закон для него ничто; выше власти, потому что власть бессильна против него; выше государства, потому что все законы государственные бьются об эту заповедь Христову, как разбивается морской прибой о непреступную скалу.

Отец Василий, сказавши это, остановился. Он ожидал вопроса Саблина, но Саблин молчал. Опершись локтем на подушку он смотрел глубоким взором на священника и слушал.

— Христос знал, что в этой заповеди весь смысл жизни людей и тот, кто сумеет исполнить ее, тот сможет стать счастливым на земле и пройти жизненный путь вне тех тяжелых огорчений, которые являются спутниками жизни всякого не христианина. Христос хотел, чтобы ученики его поняли это и глубоко усвоили его заповедь. Приближались последние дни земной жизни Иисуса Христа. Он знал, как Бог, что Ему предстоит перенести муки крестной казни и, как человек, в предвидении смерти страдал. Его душа парила над землею, общаясь с Богом и состояние Его передавалось и Его ученикам, которые видели, что с учителем их происходит что то особенное. Христос собрал учеников на последнюю общую трапезу. Он призвал их одних, никого посторонних не было. Тихо мигали светильники. Приближался праздник Пасхи и чувствовалось его дыхание. Так недавно еще Христос въезжал в Иерусалим, окруженный толпою народа и крики „Осанна!“ раздавались кругом. Было ликование, белые одежды, взмахи пальмовых ветвей, синее небо, весеннее солнце — и вот уже ищут убить Христа и один из учеников предаёт Его. Беседа прерывается частыми паузами. Ученики смотрят на Христа и ждут чего-то особенного.

Только что вышел Иуда, и Симон Петр уже знал, что он пошел предать Христа.

Наступило молчание. За дверьми стояла тёмная ночь.

— „Ныне прославился Сын человеческий и Бог прославился в Нем“.

„Если Бог прославился в Нем, то и Бог прославит Его в Себе и вскоре прославит Его.“

„Дети! Не долго уже Мне быть с вами. Будете искать Меня, и, как сказал Я Иудеям, что, куда Я иду, вы не можете придти, так и вам говорю теперь"...*), — сказал Христос. Ученики не поняли Его слов, но насторожились.

И тут Христос **первый раз** сказал, что Он дает заповедь, закон, правило для людей.

— „**Заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга.**

„**По тому узнают все, что вы Мои ученики, если будете иметь любовь между собою**"**).

Вот то **новое**, что принес с собою в мир Христос. Вот единственная заповедь Христова — любить друг друга так, как Христос любил людей, то есть, чтобы и оплевание, и заухиение, и самую смерть принять за них.

Сказавши так, Христос не удовлетворился, Ему нужно было, чтобы глубоко в сердца Его учеников вошло это высокое понятие не простой любви к ближнему, как самому себе, как того требовал Моисей, но любви особенной. Христос повторяет: „**если любите Меня, соблюдайте Мои заповеди**". И, как будто опасаясь, что ученики Его всё еще не поняли, Он усиливает требование свое, соблюсти то, что Он скажет.

— „Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня, а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам”.

Ученики Его горели любовью к Нему и Христос испытывал их, подготавливая их дух к восприятию вечной истины. Всё больше нарастало горение сердец и настала, наконец, минута полного духовного общения, когда сердца учеников раскрылись. И Христос повторяет им:

— „Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас.

„Нет больше той любви, как если кто положит душу свою за друзей своих.

*) Евангелие от Иоанна 13 ст. 31, 33.

***) Там же 34,35.

„Вы друзья Мои, если исполняете то, что Я заповедую вам.

„Я уже не называю вас рабами; ибо раб не знает, что делает господин его; но Я назвал вас друзьями, потому что сказал вам всё, что слышал от Отца Моего...*)

Христос освободил людей от рабства внешней жизни, пояснив им, что любовь несет свободу.

И третий раз повторил Он ученикам своим:

— „Сие заповедаю вам, да любите друг друга”.)**

Заповедь Христа одна: **любовь к людям** в той же сильной степени, доведенной до самоотречения, какую любил Христос и сам людей.

Сердце чисто созижди во мне, Господи!

Христианская религия состоит **из внутренних благих побуждений** — и от этих благих побуждений вытекают и соответствующие поступки. Христос указал людям в любви к ближнему уподобиться Ему. Стать такими, как Он говорил о Себе:

— Приидите ко Мне, все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас.

„Возьмите иго Мое на себя, и научитесь от Меня: ибо Я кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим.

„Ибо иго Мое благо и бремя Мое легко”.*)**

Христианская религия есть религия внутренних побуждений. Тот достигнет Царствия Божия, свободы и величайшего счастья, кто сможет так очистить сердце свое, чтобы **все мысли его** были чистыми.

— „Вы слышали, что сказано древним: „не убивай, кто же убьет, подлежит суду”.

„А Я говорю вам, что всякий, гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду; кто же скажет брату своему: „рака”, подлежит синадрию; а кто скажет „безумный”, подлежит геенне огненной.

*) От Иоанна 15 ст. 12-15.

**) Там же ст. 17.

***) Евангелие от Матфея 11 ст. 28-30.

„Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй”.

„А Я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце своем”..*)

— „И кто захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду.

— „И кто принудит тебя идти с ним одно поприще, иди с ним два.

— „Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся”.

„...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас, и молитесь за обижающих вас и гонящих вас”...**)

— Понимаете ли вы, что **Бог есть любовь!** — воскликнул отец Василий и его голос зазвенел новыми нотами, каких не слышал Саблин. Отец Василий встал и то ходил, то останавливался в глубине комнаты у окна, то подходил к постели Саблина и говорил сильно и одушевленно.

— Вы ищете Христа, вы ищете правды Божией, Царствия Его святого, вы создаете для этого законы, устраиваете политические партии, а между тем правда Христова, счастье и рай земной в вас самих. Только воспримите заповедь Христову о любви, только бросьте семя любви в сердце свое, научитесь любить и оно вырастет и всё объёмлет. Христос уподобил царство небесное зерну эвкалипта. Видали вы его когда-либо? Маленькое оно, как пылинка, а вырастает из него дерево огромное, прилетают на него птицы небесные и укрываются в ветвях его.***) Зародите внутри себя это чувство любви и вы построите Царство Небесное и вы будете счастливыми и свободными, и ни Царь, ни закон, ни власть вам ничто. Всё земное отпадёт от вас, и люди станут братьями и нет господина над вами — все равны и свобода, свобода!

*) Евангелие от Матфея 5 ст. 21-22, 27-28.

***) Евангелие от Матфея 5 ст. 40-42 и 44.

****) Евангелие от Матфея Гл. 13 ст. 31 и 32.

„...вы знаете, что почитающиеся князьями народов, господствуют над ними, и вельможи их властвуют ими”, — говорит Христос.

„Но между вами да не будет так; а кто хочет быть большим между вами, да будет вам слугою.

„И кто хочет быть первым между вами, да будет всем рабом.

„Ибо и Сын человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих”.*)

„И познаете истину, и истина сделает вас свободными”... „всякий, делающий грех, раб греха”...**)

Ученый губернатор и правитель Римский Иудеи говорит Христу: „Итак ты Царь? — Иисус отвечал: Ты говоришь, что Я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы **свидетельствовать об истине; всякий, кто от истины, слушает гласа Моего**”.

Пилат сказал Ему: „что есть истина?” ***)

Ведь тут, подумайте, уже и от анархии кое-что есть, Христос анархист! Христианство сродни анархизму, оно не признает властей!! Ведь вот до чего можно договориться?.. Как же это совместить: „воздадите Кесарево Кесареви” и покорность перед арестом и судом и слова Христа Пилату: „Ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше”, ****) — то есть обожествление власти, признание того, что Бог благословляет властителей на их труд — с этими словами о свободе и об этой таинственной **истине**, от которой несет анархий.

Да если любовь во мне, что мне царь и начальство? Они хотят, чтобы я исполнял их законы, а я так люблю каждого из них — не потому, что он царь, или начальник, а потому что он мой ближний, что готов душу свою отдать за них и отдаю ее чисто, по влечению сердца! А если и царь христиа-

*) Евангелие от Марка Гл. 10 ст. 42-45.

**) Евангелие от Иоанна Гл. 8 ст. 32 и 34.

***) Евангелие от Иоанна Гл. 18 ст. 37 и 38.

****) Евангелие от Иоанна Гл. 19 ст. 11.

нин и начальник христианин — да ведь тогда подумайте, и они готовы отдать душу свою за подданных и за подчиненных. Вот вам и анархия! Один служит, разрываясь на части, а другой рвется перед служащим, чтобы угодить ему... Вы солдат и христианин — вы стремитесь так служить, что начальник, не нахвалится вами, но и начальник христианин и он старается сделать службу вашу такою, чтобы вам легко было. Вы горите друг к другу любовью и подлинно — **иго мое благо и бремя мое легко**. Когда вы любите, то всё, что вам указывают легко, когда вы, любя, указываете — какой же это труд? Это счастье, а не труд..

Война!.. Да если все христиане не по имени, а по духу! Вовможна ли война? Да нет же! Враг вас так любит, что готов сам за вас отдать душу свою, а вы его так же любите. Чепуха! а не война. Понимаете ерунда, нелепость, вздор! Торжество антимилитаристов! Долой оружие! Пришла пора разоружаться. Аминь...

Восьмичасовой рабочий день... Какая чушь! Да христианин рабочий готов душу свою отдать за ближнего, за фабриканта, за капиталиста, он не то, что восемь, десять, двадцать часов готов работать. Но фабрикант христианин — он тоже видит в рабочем ближнего. Не нужно восьми часов, пусть работают семь, шесть часов, пусть предприятие даст полпроцента, никакого процента, идет в убыток... Понимаете какое разрешение вопроса! Столкнутся, ведь столкнутся при любви-то? Христианской любви?

Аграрный вопрос.. Да где же он? Его нет. Помещик так любит крестьянина, что отдает ему землю **по любви**. А крестьянин может и не возьмет этой земли. А помните у гр. Толстого, в „Анне Карениной”, Левин отдает землю крестьянам, а сам в сердце-то ненавидит, презирает. Или этот Нехлюдов в „Воскресении”, который не любит Катюшу Маслову, а хочет жениться на ней насильно, преследует ее и мучит себя и ее. Не любя, отдает землю крестьянам. Фарисей... „уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мертвых и всякой нечистоты.

„Так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония”...*)

Праведники ли Левин и Нехлюдов? — нет, они обманщики, потому что не по любви делали поступки свои, а лишь по желанию исполнить евангелие, не понимая его, как не понимал его сам Толстой, как не понимают его и социалисты. Они хотят **навязать его жизни**, а Христос признал, что к жизни учение его неприменимо. Жизнь сама по себе, а Царство Христово само себе. Христианская вера может только смягчить, скрасить жизнь, но сделать ее, такую, как надо, не может, потому что для этого надо, чтобы все стали христианами.

Ну возможно ли это?

„Когда выходил Христос в путь, подбежал некто, пал пред ним на колена, и спросил Его: учитель благий! что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?

„Знаешь заповеди: не прелюбодействуй, не убивай; не кради; не лжесвидетельствуй; не обижай; почитай отца твоего и мать”...**

Вот чего потребовал Христос от человека только соблюдения **земных**, писанных Моисеевых законов. По нынешнему только выполнения современных законов до мелочей — законов гражданских и военных, и довольно! Христос знает насколько несовершенны люди, и не требует от них подвига. Но тот человек хотел большего.

— „Учитель!” — говорит он, — всё это сохранил я от юности моей”.

„Иисус, взглянув на него, **полюбил его** и сказал ему: одного тебе не достает: пойдя, всё, что имеешь, продай и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи последуй за Мною, взяв крест.

„Он же, смутившись от сего слова, отошел с печалью; потому что у него было большое имение.

„И посмотрев вокруг, Иисус говорит ученикам своим: как трудно имеющим богатство войти в царствие Божие!

*) Евангелие от Матфея Гл. 23 ст. 27 и 28.

***) Евангелие от Марка Гл. 10 ст. 17 и 19.

„Ученики ужаснулись от слов Его. Но Иисус опять говорит им в ответ: дети! как трудно надеющимся на богатство войти в царство Божие.

„Удобнее верблюду пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в царствие Божие.Истинно говорю вам: нет никого, кто оставил бы дом, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради Меня и Евангелия.

„И не получил бы ныне, во время сие, среди гонений, во сто крат более домов, и братьев, и сестер, и отцов, и матерей, и детей, и земель, а в веке грядущем жизни вечной.

„Многие же будут первые последними, и последние первыми”.*)

— Анархия, Александр Николаевич! Анархия и коммуна! И многие соблазнились на этом. Ах, если бы поняли люди, **что есть истина?** Если бы отыскиали они ответ на недоуменный вопрос Пилата, оставленный Христом без ответа — тогда спала бы пелена с их глаз и стало бы ясно всё. И христианство, и социализм, и Царство Божие — и анархия, и коммуна, и царство тьмы — дьявола.

LIV.

— Христос во всей своей земной жизни, во всей своей проповеди строго разделял земное от небесного, наружное от внутреннего, людское от Божеского, здешний несовершенный мир от мира нездешнего.

...„**Вы от нижних, Я от вышних; вы от мира сего, Я не от мира сего**”*)).

— Внизу — борьба за существование, за пищу, одежду и кровь, внизу браки и брачные пиры, похороны и скорбь, болезни, зависть, ненависть, преступления, кровь, — всё это чуждо Христу.

— Это царство земное с его царями и начальниками, офицерами и солдатами, кровопролитными войнами, пре-

*) Евангелие от Марка Гл. 10 ст. 20-25 и 29-31.

*) Евангелие от Иоанна Гл. 8 ст. 23.

ступлениями и казнями. Земное царство греховных людей.

„Ищите же прежде царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам“.*)

Отец Василий остановился и перевел дух. Он, преобразился. Глаза горели, Он сам спрашивал и отвечал, тексты из Евангелия смешивались с его речами. Речь его оживилась, он захватил Саблина своими словами и Саблин чувствовал, как трепет пробегал по его жилам.

— А где же оно? Где это царство Божие, где искать-то его?

„Не придет царствие Божие приметным образом.

„И не скажут: „вот, оно здесь“, или: „вот, там“. Ибо вот, **царствие Божие внутри вас есть“.**)**

— Это желания ваши, это помыслы ваши, это побуждения ваши.

...,Из сердца исходят злые помыслы, убийства, прелюбодеяния, любодеяния, кражи, лжесвидетельства, хуления”...***)

— Устройте в сердце вашем храм Божий, изгоните из него все помышления злые и вы достигнете в этом мире полного блаженства. Пусть сердце станет полно благих помыслов и все станет ясно.

„Дух животворит; плоть не пользует нимало“**)**

Вот, где истина, Смешно и странно искать ее в мире с его грехами. Как отчетливо говорит Христос: — **„царство мое не от мира сего; если бы от мира сего было царство Мое, то служители Мои подвизались бы за Меня, чтобы Я не был предан Иудеям; но ныне царство Мое не отсюда“...*****)**

— На земле не может быть Царствия Божия. Самое большее, что можно достигнуть на земле это самому жить похристиански, так направить помыслы свои чтобы Любовь руководила всеми помыслами нашими. Стать христианином.

*) Евангелие Матфея гл. 6 ст. 33.

***) Евангелие от Луки гл. 17 ст. 21.

****) Евангелие от Матфея гл. 15 ст. 19.

*****) Евангелие от Иоанна гл. 6 ст. 63.

*****) Евангелие от Иоанна гл. 18 ст. 36.

„А теперь”, — пишет в первом послании к Коринфянам св. апостол Павел, — „пребывают сии три: **вера, надежда, любовь; но любовь из них больше**”.***)

В чём же заблуждение социалистов и почему я так смело противопоставил их Христу и сказал, что они не за Христа, а против Христа? Ведь они тоже провозглашают любовь — они говорят о братстве, о равенстве, о свободе!

Они хотят Царствие Божие, которое не от мира сего поставить в мир сей. Они хотят то, что должно появиться, как результат внутренней работы над собою, как результат христианской любви, поставить в закон. Братство и равенство — когда сердце ненавидит и ропщет! Бог не создал людей равными.

„Больший будет в порабощении у меньшего.

„Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.

„Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.

„Ибо он говорил Моисею: „кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею”.

„А ты кто, человек, что споришь с Богом?

„Изделие скажет ли сделавшему его: „зачем ты меня так сделал?”

„Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?...****)

— Как же мы можем навязать равенство насильно людям? Как же можем братство сделать законом и освободить людей, иначе как через Христа. Какая ерунда получается из этого стремления: Царство Божие извлечь изнутри, взять сверху и спустить вниз, сделать земным Царством.

— Чтобы сделать это, пришлось собрать воедино всех бедняков и ополчить их на богатых. Социалисты кликнули клич по всему миру: пролетарии всех стран соединяйтесь! Для чего? **Для борьбы**, ибо социалисты говорят: — в борьбе обретешь ты право свое!

— Аминь! Подлинно хорошее дело затеяли!

***) Первое послание к Коринфянам св. ап. Павла гл. 13 ст. 13.

****) Послание к Римлянам св. ап. Павла гл. 9 ст. 12-15 и 20 и 21.

— Где же сии три? **Вера, надежда, любовь?** Вера отринута. Люди разочаровались достигнуть внутреннего Царствия Божия, единственного дарующего свободу, они отказались искать истину по пути, торжественно заповеданному Христом, пути любви всё двигающей и пошли по пути лжи. Веры нет. Нет Христа, нет Бога, нет и любви. На что же надеяться? На победу в классовой борьбе! **Кровь и ненависть внесли социалисты в мир взамен любви.**

— Их учение от мира сего. Из низин человеческой души, из злобы и зависти поднялось оно и нет в нем ничего христианского. Их учение зло и ненависть всех ко всем. Их учение темная сила, сила дьявола.

— Никогда! Никогда ничего не было и нет в учении Христианском социалистического и ничего нет схожего в Христе с социалистами. Христос — и Петр Верховенский, Христос — и Шатов, Христос — и Ставрогин! Жуткие сопоставления! Христос и Ропшин, автор „Коня бледного“, с его сложными переживаниями во время обдумывания политического преступления, изготовления бомбы, подкарауливания и убийства. Любовь и ненависть.

— Да можно ли, скажут мне, быть христианином в этом мире? Можно ли найти истину и утвердить царство Божие внутри себя?

— Христианство, или социализм? Любовь, полагающая душу свою за други своя и дарующая истинную свободу или свобода насилия, равенство и братство ненависти, борьба за неправо правое?

— Что же такое христианство в мире сем?

LV.

— Апостол Павел говорит:

„Если я раздам всё имение мое, и отдам тело мое на сожжение, а **любви не имею**: нет мне в том никакой пользы”...*)

— Слышите, Лев Николаевич? Слышите Левин и Не-

*) Первое послание св. ап. Павла к Коринфянам гл. 13 ст. 3.

хлюдов? Каково было ваше сердце, когда отдавали вы имение свое крестьянам и отдавали тело свое на сожжение Катуше Масловой? Была в вас любовь?.. Нет! И потому не было вам от того никакой пользы.

„Любовь”, — говорит дальше апостол Павел, — долго терпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится.

„Не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается на мысли зла.

„Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит.*)

— Какая яркая, какая точная программа всей жизни христианина. Всё с любовью и всё через любовь и любовь прежде всего.

— Христианин не отказывается от земного благополучия, — потому что богатство и дары земли дают ему возможность расширить действующую любовь и больше помогать ближним.

— Бог создал землю людям, чтобы они питались от земли. Он сотворил животных, чтобы они служили человеку, он создал рыб, чтобы они кормили его. Земля, дающая хлеб и плоды, питающая скот, одевающая нас, производящая тепло и свет, дающая металлы, дана для того, чтобы на ней трудился человек. Труд над землею, обработка земли, сбор урожая полей и садов, уход за стадом, ловля рыбы — вот о чём говорит Христос в притчах и уподоблениях своих. Земное земле. Земной человек да трудится над землею, бережет стада свои, но еще больше бережет сердце свое. Труд и работа во всех видах благословлены Христом и чем больше труда, чем больше работы — тем лучше, тем больше благословения Господа, если не забыто главное — чистое побуждение сердца.

— Христианин не аскет, не изувер, но чистый сердцем благожелательный человек, подходящий любовно и без осуждения ко всякому земному человеку.

*) Первое послание св. ап. Павла к Коринфянам, гл. 13, ст. 5-7.

— Если судьба поставила христиана начальником, солдатом, судьей, он стремится к точному исполнению законов, потому что только тогда возможно совместное сожителство людей порочных с людьми чистыми сердцем. Христианин начальник борется со злом, как Христос боролся с теми, кто осквернял храм. Но христианин начальник борется, не ненавидя сердцем совершившего зло. Простой народ, Александр Николаевич, солдаты, очень чутко понимают, как вы наказали провинившегося за поступок — со злобою в сердце, или любя и прощая его сердцем, наказали по обязанности. У христианина вражды нет ни к кому — „если враг твой голоден, накорми его, если жаждет — напои его; ибо делая сие, ты соберешь ему на голову горячие уголья”...*)

„...„Начальствующие” — пишет Римлянам апостол Павел, — „страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти? Делай добро и получишь похвалу от нее.

„Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло — бойся: ибо он не напрасно носит меч; он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое.

„И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести.

„Для сего и подати платите: ибо они Божии служители, сим самым постоянно заняты.

„Итак отдавайте всякому должное: кому подать — подать; кому оброк — оброк; кому страх — страх; кому честь — честь.

„Не оставайтесь должными никому ничем, кроме взаимной любви; ибо любящий другого исполнил закон”...**)

— Христианин никогда сам не ищет власти, он не честолюбив, но если на него — путем ли выборов, или назначения будет возложено **бремя власти**, он не потворствует злу, не сопротивляется, но борется со злом всеми законными средствами и если нет другого пути победить зло, как смерть, христианин не остановится и перед смертною казнью. Христианское учение исключает возможность смертной казни,

*) Послание к Римлянам св. ап. Павла гл. 12 ст. 20.

***) Послание к Римлянам св. апостола Павла гл. 13 ст. 3-8.

потому что среди христианского общества царит любовь, а где любовь, там не могут быть такие проступки, которые заставили бы казнить смертью... Но там, где нет христианских понятий, где люди живут не во Христе, там приходится спасать малых сих от соблазна и там начальник „не напрасно носит меч — он Божий слуга”.

— Христианин всегда в хорошем радостном настроении духа, — его глаза не туманятся злобою, завистью и ненавистью, его помыслы чисты. Больше становится в государстве христиан — светлее жизнь, отмирают суровые законы. Смертная казнь остается лишь на бумаге, ее отменяют, тюрьмы пусты, не слышно про кражи, грабежи и убийства — наступает золотой счастливый век — это счастье дало человечеству соблюдение великой религии Христа.

— Христианство исключает политические партии, политическую и классовую борьбу. Побуждением христианина должна быть любовь. — Политическая партия, напротив, в основу существования ставит ненависть. **Кто не с нами, тот против нас**, говорит всякая партия и жизнь людей строится на началах, противоположных христианству. Политическая партия говорит: **свобода, равенство и братство** — а уже заранее стремится к тому, чтобы уничтожить и подавить свободу противоположной партии, чтобы стать выше ее и всюду провести **своих и**, говоря о борьбе, ненавидит брата своего. Где появляются политические партии, там уходит Христос с его учением любви. Там становится диавол. Зависть, злоба, кража, убийство с одной стороны, заставляют другую принимать чрезвычайные меры охраны, усиливать полицию, строить тюрьмы, на убийства отвечать казнями. Чем дальше люди уходят от Христа, тем невозможнее становится жизнь и никакое людское учение не заменит того, что дал людям Христос: стремления к чистым помыслам.

Ищите прежде всего Царствия Божия и прочее всё приложится.

— Царствие же Божие не от мира сего.

— Царствие Божие внутри вас.

— Земельный, рабочий, половой, военный — все так называемые **проклятые** вопросы, все решаются просто: **живи-**

те во Христе. Трудясь над землею создайте внутри себя Царство Божие, постройте в сердце своем храм любви к ближнему — больше нежели к себе и не станет проклятых вопросов, но всё станет ясно. Вот что есть — истина.

LVI.

— Учение Христа и христианская церковь, как общество верующих, — это вещи разные, — тихо и задумчиво проговорил отец Василий. На этом многие, даже и сильные духом люди, каковым, несомненно, был гр. Лев Николаевич Толстой, не раз спотыкались. Церковь — **от мира сего**, церковь **от нижних**, учение же Христово от высших, не от мира селю.

Отец Василий задумался и, наконец, проговорил: когда все люди станут христианами, тогда и церкви с ее князьями — епископами и со всем синклитом не станет. Но тогда и власти не будет... Тогда наступит истинное Царствие Божие...

Он опять помолчал.

— Нет... — сказал он... — невозможно... не от мира сего... А пока мир во грехе стоит, пока сердце распалено злобою и ненависть к брату кипит в сердце... нужна она... Сердце Богу сокрушенное и смиренное... И алтарь всесожжений... и золотая мечта — сказка... и шестикрылые серафимы, и таинство, и шопот у престола, и воздеяние рук и одежды, от покроя которых пахнет веками древности и дым кадильный... всё нужно... Грубо сердце, ожесточили его заботы злые, колючие, сокрушила его зависть житейская и надо, чтобы лик небесный воспел и возглаголил: „благослови душе моя, Господи, благословен еси Господи! Благослови душе моя Господи! И вся внутренняя моя"... Из тьмы веков нисходит на вас со старых икон, с золота иконостаса, с жеста благословения, из напева хора церковного великое прошлое. Отец, мать, дед, прадед, пращур, — так молились и кланялись так, и свечи возжигали и простирались, касаясь лбом холодного пола, когда в сумраке алтаря появлялась в дыме кадильном чаша и дрожащий голос иерея неся, как бы из глубины тысячелетий: „всегда, ныне и присно и во веки веков!..”

— От нижних церковь зовет ваше сердце к высшим и настраивает вас к делам любви.

— Церковь не только национальна, она всемирна. От Иоанна Златоуста и Василия Великого, творцов литургий, и до наших дней она неизменна. От них к апостолам, от апостолов к Христу. И когда в замершей тишине мягко говорит вам хор: „да придет Царствие Твое”, — вы знаете, что так молиться учил вас Христос.

— Уважающее себя государство, любящее граждан, стремящееся к уничтожению смертной казни, к христианской любви и богатой хорошей жизни своих граждан **никогда не отделится от церкви**. Церковь есть лучшая часть государства.

— Государству, разъедаемому политическими партиями, — церковь опасна. Церковь настраивает на любовь. А может ли монархист любить социалиста и социалист понять монархиста?

— Но государство, отделившееся от церкви, обрекает подданных своих на вечную борьбу, на ненависть и, взамен церкви устраивает, — митинги, партийную дисциплину, демонстрации, смертные казни и избиения одних граждан другими.

— Но церковь с ее обрядами, молитвы, постановка свечей, крестное знамение и вздохи, самое таинство — исповедь и причащение — только богохульство, если нет великой христианской любви к ближнему.

— „Ибо” — пишет Галатам апостол Павел, — „весь закон в одном слове заключается: люби ближнего твоего, как самого себя”^{*)}.

„Кто говорит: „Я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец; ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит?”^{**)}

Отец Василий замолчал. Саблин лежал на койке, ничего не возражая. В комнате было тихо.

— Если бы не было церкви, — сказал отец Василий, — как и откуда люди научились бы кроткому учению Христа?

^{*)} Послание к Галатам св. ап. Павла гл. 5 ст. 14.

^{**)} Первое послание от Иоанна гл. 4 ст. 20.

Религию нельзя преподавать в гимназии, или школе, как философию, или математику. Ее нужно повторять непрерывно, повторять в обстановке необычной, такой, чтобы была по воображению и захватывала сердце. Ведь и те, кто несет нам учение дьявольское, проповедники ненависти — социалисты — они тоже ищут митингов, шумных процессий, пения гимнов, зовущих к мятежу и убийству. И у них есть свои гражданские панихиды и демонстрации, чтобы распалить злобою сердце человека, еще кроткое от с детства воспринятого учения Христа. И как спасетесь вы без церкви, откуда узнаете вы истину и откроете внутри себя Царство Божие, если не возьмете иго Его на себя и не научитесь от Него: ибо Он кроток и смирен сердцем; и найдете покой душам вашим. Ибо иго Его благо и бремя Его легко!..**).

LVII.

Когда Саблин проснулся на другой день, он увидел, что отца Василия не было; его койка была тщательно прибрана и служитель снимал с прута у изголовья написанный мелом скорбный лист.

— Где батюшка? Он уехал? — спросил Саблин.

— Так точно, — отвечал служитель. — Сегодня рано утром. Встали, собрались и уехали. Прямо на фронт.

— Как же это так? А разрешения?

— Разрешение они еще вчера исколотали у врача, да сказывали, дело у них тут какое-то незакончено, вот до рас-

***) Толкование Евангелия, которое делает Саблину отец Василий, взято из „Основ христианской морали“, ненапечатанной рукописи Р. И. Термена. Р. И. Термен по роду службы артиллерийский офицер, в течение слишком двадцати лет работал над этим вопросом. Его „Основы христианской морали“ вылились в следующих догматах: — христианская религия есть религия внутренних побуждений. Христос признал и подчинился всем законам человеческим. Насильственно нельзя достигнуть Царства Божия, потому что оно не от мира сего и находится внутри нас, в наших внутренних побуждениях. Учение социализма, как стремящееся насильственно внести в жизнь христианские догматы, разрушает любовь, а потому несовместимо и даже противоположно христианству.

света и остались. Очень жалели, что вы почивать изволили, а будить не пожелали. Просили вам передать этот пакет.

Саблин развернул сверток и увидел небольшое Евангелие в мягком черном кожаном переплете. Саблин раскрыл его и заметил, что некоторые места в нем были отчеркнуты красным карандашом. Книга раскрылась на таком месте и Саблин прочел: — **ибо кроток Я и смирен сердцем...**

Пришла Александра Петровна. Она принесла букет лохматых хризантем.

— Вот, — сказала она — сожитель ваш, отец Василий, выписался, скоро и вам можно на выписку. Как я счастлива! Вы оба мои и обоих я отстояла от смерти.

Ее глаза сверкали добротой и счастьем. Христианская любовь скрасила угловатые черты неправильного лица и оно казалось прекрасным.

— Благодарю вас, Александра Петровна... Вы так много для меня сделали. Вы и отец Василий. Вы спасли тело мое, отец Василий — душу.

Александра Петровна внимательно посмотрела в глаза Саблину.

— У меня к вам, — сказала она и голосе ее дрогнул, — большая, большая просьба.

— В чём дело?

— Во-первых я должна вас поздравить. Вы назначены командиром N-ского гусарского полка.

— Вот как! Благодарю вас. Откуда вы это узнали?

— Вчера мне принесли телеграмму и письмо из Ставки.

— От кого, не секрет?

— Телеграмма от Государыни. Она первая поздравляет вас. Из этого я вижу, что она мучается и хочет, чтобы вы простили ей.

— Не будем говорить об этом, милая Александра Петровна.

— Нет, Александр Николаевич, именно будем. Это мало-душие. Вы должны пощадить ее. Она так страдает.

— Хорошо, — сказал Саблин, — чего же вы от меня хотите?

— Я хочу, чтобы вы просто, сердечно отозвались на эту поздравительную телеграмму. Николай Николаевич мне пишет, что полк вам дают на какие-нибудь два месяца. Вам хотят непременно дать N-скую кавалерийскую дивизию. Императрица заботится об этом.

— Я этого не ищу. Мне ничего не надо.

— Я понимаю вас... Но это нужно для России. Надо, чтобы такие люди, как вы, возвышались.

— Что же во мне особенного?

— Вы честный и храбрый.. И, если второе качество еще бывает у наших начальников, то первое так редко! Вы-то не измените Государю даже из-за Распутина! А послушайте, что кругом говорят. Война становится все тяжелее. У нас уже нет ни снарядов, ни патронов, ни ружей, а конца ей не видно.

— Вернемся к вашей просьбе. Вы знаете, как мне трудно писать Императрице?

— Если бы было легко, я бы не просила. Я знала бы, что вы и без меня напишете.

— Ах, зачем! Зачем это было! — стоном вырвалось у Саблина.

— Мы не знаем, для чего Господь посылает нам то, или иное испытание.

— Ах, Господь! Только не Господь! Не поминайте Имени Его рядом с таким ужасом.

— Зло можно победить только добром. Дявола отгоните крестным знаменем. Ваша телеграмма будет знаком милости.

Саблин не отвечал. Александра Петровна сидела на стуле у его койки и ее большие серые глаза были с глубокою любовью устремлены на него. Слова отца Василия точно звучали еще в ушах. Вот первый шаг, первая проба исполнить заповедь любви и ответить ласковым словом тому, кого ненавидишь. Да ненавидишь ли? Разве не любил и не жалел он Императрицу? Разве он не понимал, что для нее Распутин? Демон, овладевший ее душою и держащий ее в вечном страхе за сына; тяжелый крест, наваленный на ее усталые плечи... Ах, если бы она была просто женщина и не бы-

ла так тесно связана с нею судьба России, победа, или поражение. К чему вся эта кровь, к чему муки его раны, к чему убитый Коля и милый Ротбек, изуродованный снарядом, к чему? Когда над всем этим стоит грязный развратный мужик, надругавшийся над его женою.

— Нет, — тихо сказал он, — не могу.

— Вот посмотрите, что я написала: — „Полковник Саблин всеподданнейше приносит Вашему Императорскому Величеству благодарность за милостивое внимание. Осчастливленный вашею ласкою, на новом месте, с новыми силами, буду стремиться к победе над врагом и славе Русского оружия”. Вам только подписать.

— Неладно, Александра Петровна. Вы начинаете в третьем лице, а потом переходите на первое.

— Простите. Я, когда писала, думала о вас, а писала от себя. Но это так просто переделать. „Приношу” --- и всё готово. Подпишите, я сейчас пошлю.

„Кто говорит я люблю Бога, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, которого не видит”, -- подумал Саблин.

Он почувствовал, что не может отказаться от мысли о Боге, не может не верить, не может не искать Царствия Божия прежде всего. Маленькое, как пылинка, как семя эвкалипта, зерно любви вошло в его сердце и уже выросло молодым сильным и упругим ростком. Саблин взял из рук Александры Петровны блок-нот и карандаш и крепким резким почерком написал: — „Глубоко тронут вниманием Вашего Императорского Величества и всеподданнейше приношу благодарность вам, Царица, за ваше поздравление. Во главе полка буду стремиться к победе и славе России, выше которой для меня ничего нет. Флигель-адъютант Полковник Саблин”.

— Пошлите, — резко сказал он.

Александра Петровна пробежала глазами листок, нагнулась к Саблину и горячо поцеловала его.

— Бог да хранит вас, — сказала она.

Саблин лежал с закрытыми глазами и тяжело дышал. Не легко далась ему эта телеграмма.

Через две недели, Саблин, совершенно оправившийся от ран, ехал в армию принимать N-ской гусарский полк. Ранней весной 1915 года он уже получил бригаду, а летом того же года был назначен, не в пример прочим, начальником N-ской кавалерийской дивизии.

Ко всем этим назначениям он отнесся с христианским смирением, он принял увеличившуюся власть, **как бремя**, и всю силу любви положил на улучшение частей, которыми он командовал.

Ч А С Т Ь Ч Е Т В Е Р Т А Я

I.

В бою 11-го сентября 1915 года, под Железницей, хорунжий Алексей Павлович Карпов был ранен в грудь из пулемета. Он был всего второй месяц в полку и был влюблен в полк тою особенною юношескою любовью, которою любить умеют только очень чистые, не знающие женской любви молодые люди. Всё в полку для него было отлично и он одинаково влюбленными глазами смотрел и на старого полковника Протопопова, командира полка, и на толстого и непоротливого командира сотни есаула Иванова и на своих товарищей-офицеров и на казаков. Всё было **адски** хорошо. Это выражение **адски** хорошо, **адски** прекрасно у него осталось от кадетского корпуса и вырывалось произвольно, как он ни следил за собою. Он был совсем юный, красивый брюнет с чуть потемневшей губой от начавших пробиваться усов. Был выше среднего роста, отлично сложен, его большие темные глаза, прикрытые густыми длинными ресницами, смотрели ясно и чисто.

Бой под Железницей был первый серьёзный бой, в котором он участвовал. Спешенная кавалерия столкнулась с германской пехотой, занявшей укрепленную деревню. Был при луне ночной штурм горящей деревни, по чистому болотному лугу, пересеченному канавами, была победа, отнятые у германцев пулеметы, были взяты пленные. Карпов видел, как бежали германцы, сам бежал за ними, увидел немецкого солдата, лежавшего с пулеметом, кинулся на него с казаками Кузнецовым, Скачковым, Лиховидовым и Баранниковым, был ранен, перевернулся, чуть не упал, но продолжал бежать, пока не увидал, что Баранников ударил штыком германца, а

Лиховидов и Скачков схватили пулемет. Потом Карпов, обливаясь кровью и сплевывая ее, бежал по освещенной пожарами и полной дыма улице. Кругом бежали казаки и откуда-то взявшиеся гусары, кто-то хриплым голосом кричал: — „вперед! вперед!..” Потом не стало силы бежать и Карпов сел на сваленные на середине дороги бревна и смотрел широко раскрытыми глазами на то, что происходит. Временами он не понимал, действительно ли он видит это, или он спит и его душат кошмары.

Он сидел на площади. Напротив была часть деревни, еще не охваченная пожаром. Здесь, отделяясь от других домов, стоял небольшой домик и на нем лежал германец с пулеметом. Полная луна освещала его сверху. Зарево пожара бросало на него красные блики. Он был так близок к Карпову, что ему видно было его длинное сухое лицо без усов и бороды с каской, накрытой серым чахлом. Домик окружили казаки и гусары и кричали германцу, чтобы он сдавался, но германец старался так повернуть пулемет, чтобы попасть в окружавших его людей. Но люди стояли слишком близко к дому и ему это не удавалось и тогда он стрелял вдоль по улице, по которой всё бежали казаки и гусары.

— Ишь, чорт проклятый! — кричал кто-то из казаков, окружавших германца пулеметчика, — не сдаётся, сволочь. Эй ты! Один ты остался! Эй! Эй! Сдавайся камрад! Ва-фен нидер!

Но германец не желал сдаваться.

— Митякин, полезай за ним, — кричали из толпы.

— Полезай! Сам полезай. Ишь ловкий какой! Не видишь что ль, какой он! Оголтелый. Ему одно смерть. Он это понимает. Так он тебя и допустит.

— Чего, казаки, церемонитесь с ним. Поджечь его, так живо сдастся, — крикнул пробежавший мимо гусар.

И то поджечь. Ну, айда ребята за огнем.

Откуда-то быстро притащили зажженные соломенные жгуты и запалили хату. Красные языки поползли по темным стенам, отразились во вдруг покрасневшем окошке и весело затрещали по крыше.

— Слезай, брат, сгоришь.

Лицо германца выражало нечеловеческую муку и отчаяние. Он то поднимал глаза к небу, будто молился, то снова начинал стрелять из пулемета.

— Ишь какой! В огне не горит!

Слезает.

— Нет, не слезает.

Отчаянный.

— Братцы, что же это такое! — вскрикнул молодой казак Митякин. — Ведь горит.

Окружавшие примолкли и стали расходиться по улице. Пулемет замолк. Два длинных желтых языка пламени с легким шумом охватили с двух сторон германца. Он вдруг поднялся во весь рост, поднял кверху обе руки с сжатыми кулаками, его лицо, ярко освещенное пламенем, выразило нечеловеческую муку, но сейчас же он закрыл его руками и рухнул в огонь. Его не стало видно. Всюду бежали огненные струйки, и черный и белый дым, смешиваясь, валил к небу с острым шипением.

Карпов смотрел, как на его глазах живьем сгорал человек и не мог шевельнуться. К запаху гари, горячей соломы примешался едкий запах паленого сукна и жареного мяса. Пламя выло и гудело в нескольких шагах от Карпова и в этом пламени сгорал германец.

Два казака проходили назад. Они тянули за собою пулемет.

— Сюда беспрременно вернуться надо. Пулемет он не сгорит, останется, все доказательство, что донцы пять пулеметов забрали, — говорил один.

— Ну и гусары, брат, ловкие люди. Мы, грит, первые ворвались. На, поди, первые. Мы уже давно тут.

— Они с другого конца.

— А германец не то, что австриец. Отбежал и залег. Ишь садит опять.

Они увидели Карпова и подошли к нему.

— Ваше благородие, что с вами? — спросил тащивший пулемет казак.

Карпов хотел ответить, но, вместо звука голоса, подступила изнутри в горло горячая густая кровь, он поперхнулся ею, хотел поправиться, дернулся всем телом и упал. Но, упавши, он не потерял сознания. Только все, что происходило, казалось происходящим во сне.

— Вы ранены. Ишь грех-то какой. Акимцев, побудь при его благородии, а я за носилками сбегаю живо. Да пулемет постереги, а то кабы солдаты не отобрали. Вся дивизия сюда идет.

Акимцев уложил Карпова поудобней и Карпов видел ясное небо, на котором ярко светила луна. Верстах в трех, не переставая, стучали выстрелы винтовок и трещал пулемет. Ночной бой продолжался, но для Карпова он был кончен и Карпову было странно, что то, что там будет, его не касается.

Он переживал то, что было. И то, что было — было **адски хорошо**. Он кинулся в деревню впереди сотни, на нем был новый китель-френч и рейтузы-галифе и это было **адски красиво**. И то, что он ранен, тоже **адски здорово**. О том, какие последствия будет иметь рана, он не думал. То, что он был в сознании, его ободряло. Он мог двигать руками и ногами, значит руки и ноги целы. Он ранен в грудь. Пустяки. Он думал о том, как придет Государь и спросит его — „вы ранены?“ — он ответит — „пустяшная рана, не стоит беспокоить ваше величество“. Почему его должен спрашивать Государь, он не мог и сам объяснить себе? Откуда возьмется Государь — это было второстепенно. Но весь разговор с ним он рисовал себе вполне ясно. Он вступал постепенно из мира действительности в мир грез и это было хорошо. Сгоравший на его глазах живьем германец в мире действительности был ужас, ни с чем несравнимый, в мире грез это было — **адски лихо**.

Карпову хотелось рассказать кому-либо со всеми подробностями о бое, с самого начала. С того момента, как на опушку леса на громадной лошади приехал начальник дивизии и сердитым голосом выговаривал полковнику Протопопову за то, что он не идет с полком вперед и, как Протопопов

вдруг сделался адски храбрым и командовал полку „следуй”...

Но рассказывать было некому. Акимцев лег на дороге, облокотился о пулемет и сейчас же заснул, а те люди, которые проходили мимо него, шли не останавливаясь и не обращая на него внимания.

Карпов грезил своими грезами и временами забывался в тихом сне.

II.

Пришли санитары с носилками. Они уложили Карпова и понесли за деревню, где на песчаной дороге стояли двуколки Красного Креста.

— Ну, полна, что ль, — услышал Карпов голос солдата, когда его втиснули в двуколку.

— Полна, трогай.

Колеса заскрипели по песку. Карпову опять захотелось рассказать о том, как он вел себя в бою. Но в двуколке было темно и непонятно, что за люди в ней лежали. У самого лица Карпова были чьи-то тяжелые, облипшие грязью сапоги, а за ними лежал кто-то и то стонал, то всхлипывал, то кричал жалобно и протяжно — ой, ой, ой!...

На сон подходил густой сосновый бор, весь пропитанный серебром лунного света с блестящей лужайкой, с каким-то домом с крылечком, возле которого сутились сестры в белых косынках. Одна, в черной незастегнутой шведской куртке с повязкой с красным крестом на рукаве, подошла измученной походкой к Карпову, нагнулась к нему и спросила:

— Как вас зовут?

Карпов машинально ответил, как отвечал он в детстве:

— Алеша.

— Фамилия ваша? — не улыбаясь спросила сестра.

— Карпов. Хорунжий Карпов, — отвечал он и хотел рассказывать, но сестру спросили с крыльца:

— Который это?

— Сто девяносто второй, Соня, — отвечала сестра.

— Изварин скончался, — сказал тот же голос.

— Боже мой! Это трицать первый. Скажи Николаю Парамоновичу, чтобы о гробах распорядился.

— Успеем ли?

— Ты слыхала приказ генерала Саблина?

— Слыхала. Господи Боже мой! Сил нет. Этот куда?

— В грудь. В сознании.

Тяжелый?

— Надо Софью Львовну спросить.

— Да пусть несут в дом.

Только теперь Карпов вполне уяснил себе, что он ранен, может быть, даже тяжело, и ему стало жутко.

Небольшая комната была ярко освещена висячей керосиновой лампой. Под нею стоял высокий длинный стол, накрытый белой простыней. На простыне лежал совершенно голый человек. Было видно худощавое грязное тело с выдающимися ребрами и запрокинутая назад темная голова с длинными по-казацки стриженными волосами. Над ним стояли доктор в белом фартуке, молодая сестра и полная женщина, сильная брюнетка с большими красивыми глазами.

— Софья Львовна, — сказала сестра, сопровождавшая носилки с Карповым. — Офицера принесли.

— Сейчас, — отвечала полная брюнетка, — положите в угол. Раздеть надо.

Карпову стало стыдно, когда сестра в кожаной куртке нагнулась к нему и стала расстегивать ему ремни амуниции и пуговцы кителя.

— Я сам, я сам, — говорил Карпов. Но руки не повиновались ему, и он покорялся ловким движениям пальцев сестры.

Пришла другая сестра и обе начали отмывать залитую кровью грудь Карпова. Карпов потерял сознание.

Когда он очнулся, он увидел, что он лежит на полу, на соломе. Кругом него лежали, также на соломе, раненые солдаты и казаки. Было светло, наступило утро. Сестры и толстая Софья Львовна с усталыми землистыми лицами продолжали ходить и коротко переговариваться. За окном стучал молоток и слышалось тихое пение двух голосов. Один пел верно старческим музыкальным тенором, другой вторил ему,

не попадая в тон, сбиваясь и умолкая и потом снова пристраиваясь. Пели панихиду.

В разбитое окно тянуло осенним холодном и сыростью. В него, вместе со звуками пения, врвался запах ладана, можжевельника, моха и хвои и еще какой-то противный пресный запах, который временами заглушал все запахи леса. Где-то не очень далеко ровно били пушки и слышно было, как долго гудел снаряд и потом, чуть слышно лопался — бум, бум, бум!

Карпову хотелось пить и есть. Хотелось подробно рассказать, как всё было. Но сестрам было не до него. Они всё продолжали возиться около высокого стола, на котором теперь хрипел и захлебывался, булькая горлом, солдат с белым лицом и коротко остриженным затылком. Сестры говорили усталыми голосами и Карпову казалось, что они говорят так много дней, может быть, недель, и что они ничего не понимают, кроме этих бинтов из марли, окровавленных тряпок, ведер с водою и кровью.

— Софья Львовна, надо бы раненым чаю согреть.

— Скажите Ксении.

— Она занята при умирающих.

— Ну, Оле.

— Оля на перевязках.

— А вы не можете?

— Хорошо, я пойду.

Измученная сестра поставила подле Карпова железную кружку с чаем и положила два английских печенья.

— Сами можете пить? — спросила она. — Я вас посажу.

Карпов только теперь заметил, что вся грудь его забинтована и на него надета чистая рубашка. Сестра посадила его.

— Скажите, пожалуйста, — сказал он, — как бой?

— Продолжается, — сказала сестра.

— Наши наступают?

— Не знаю. Кажется, всё на одном месте.

— Вы знаете, было адски здорово. Наш полк...

Но сестра отвернулась от него.

— Сейчас, сейчас. Я думала, вы спите, — сказала она лежавшему рядом солдату, попросившему чаю.

Карпов опять не смог рассказать о своем бое и ему стало грустно.

— Начальник дивизии едет, — входя сказала белобрысая сестра с большими тусклыми, как у судака, глазами. — Нехорошо, что в перевязочной раненые лежат.

— А что же поделаете. Куда их денете, — отвечала Софья Львовна. — Ну, этот кончается. Уносите.

Она взяла полотенце и стала вытирать руки. В двери вошел моложавый генерал. Ясными глазами он оглянул комнату и нахмурился.

— Не успеваете вывозить, Софья Львовна? — сказал он.

— Где же поспеть, ваше превосходительство, за ночь прошло четыреста восемьдесят шесть человек.

— Да, горячий бой.

Генерал подошел к Карпову.

— Офицер? — сказал он.

— Так точно, ваше превосходительство, — стараясь встать отвечал Карпов. — Хорунжий Карпов.

— Помню. У вас отличный рыжий конь. Первый раз я вижу такого коня под казачьим офицером. Куда ранены? В грудь?

— Так точно.

— Не болит?

— Совсем не больно. Я и не чувствую, где рана. Только дышать больно, — улыбаясь сказал Карпов.

— Под Железницей ранены?

— В самой Железнице; было адски лихо, ваше превосходительство, я... пулемет.

— Ваш отец командир Донского полка, убит на реке Ни-де, в прошлом году?

— Так точно... Я, ваше превосходительство, когда вы там на опушке леса приказали спешиться... я.

— Софья Львовна, — не слушая, сказал начальник дивизии. — Я сейчас пришлю свои автомобили. Отправьте более тяжелых на них. Хорунжого Карпова отправьте прямо на Сарны. Я дам записку на поезд Государыни Императрицы.

Варлам Николаевич, напишите, — и начальник дивизии, не глядя больше на Карпова, вышел из дома лесника.

III.

В поезде, Карпова положили в офицерский вагон. Рядом с ним, на железной койке с пружинным матрацом, лежал, закутавшись в коричневый халат, худощавый человек, давно небритый, с желтым нездоровым цветом лица. Когда Карпова положили на свободную постель, раненый недружелюбно оглядел его, а потом с видимым отвращением отвернулся и лег спиной к нему. Рыжий халат слез со спины и сквозь рубашку были видны худые торчащие лопатки. Поезд стоял долго. Сестры разносили обед. Карпову, трое суток не евшему, подали миску со щами и с мясом и он с большим аппетитом начал их есть. Грудь болела, временами было тяжело дышать, но в остальном его здоровье было прекрасно. Карпов был полон бодрости и ему опять хотелось подробно рассказать про Железницкий бой и про свое в нем участие.

— Сестра, а мне? — поворачиваясь на койке хрипло сказал его сосед.

- Вам, Верцинский, нельзя, — сказала сестра, — вы же знаете. Я вам теплого молока принесу.

— Всё нельзя и нельзя, — ворчливо сказал Верцинский. -- Вы скажите мне — буду я жить, или нет?

— Ну, конечно, — сказала сестра, но голос ее дрогнул и она поспешила выйти из отделения.

Карпов ел. Верцинский внимательно его осматривал, и Карпову становилось неприятно от его острого взгляда.

— Вы куда ранены? — спросил неожиданно Верцинский.

— В грудь, — охотно ответил Карпов.

— Счастливцев, Что же совсем уйдете теперь из этой мерзости?

Карпов не понял его.

— Я вас не понимаю. Куда уйду?

— Ну, куда-нибудь, в тыл. Комендантом поезда или этапа, словом, подальше от прелестей войны.

— О нет. Я только немного поправлюсь и опять в полк. Я рад и не рад, что меня ранили. Рад потому, что это доказательство, что я по-настоящему был в бою. Меня с тридцати шагов ранили. Я уже шашку вынул, чтобы рубить. Не рад потому, что пришлось покинуть полк. Может быть, надолго.

— И слава Богу. Что он вам не надоел?

— Полк? Боже мой. Полк для меня всё. Там моя семья. Я полусирота. Папу убили в прошлом году на войне, мама в Новочеркасске теперь в лазарете, сестрою.

— Вы казак?

— Да, донской казак.

— А!

Верцинский оглядел его любопытными злыми глазами. Карпов примолк.

— На военную службу, значит, пошли по личному призыванию? — спросил Верцинский.

— Да.

— Или папа с мамой так воспитали?

— Я не могу представить себе жизнь иначе, как на военной службе. Как себя помню, я носил погоны, шашку и ружье. Первые слова, которые я произнес, были слова команды и первая песня, которую я пропел, была военная казачья песня. А потом корпус, где всё было адски лихо и наша славная школа.

— Ваша фамилия?

— Хорунжий Карпов. Мы из тех Карповых, прадед которых в 1812 году...

— Простите, мне это не интересно. Вы — человек в шорах, вот, как Чехов описал человека в футляре, так вы человек в шорах. Может быть, впрочем, вы Чехова не читали?

— Нет, читал. Немного. Не всего.

— Ну, конечно. У нас с вами разные мировоззрения. Вас вот рана ваша ралует, а меня моя не только тяготит физически, но глубоко оскорбляет нравственно, как величайшая несправедливость. Я — подпоручик Верцинский. Мне тридцать два года, а я всё ещё только подпоручик — это должно вам уяснить многое. Ну, да я вам и сам это скажу. Военную службу я всегда ненавидел и презирал. Военные мне были отвра-

тительны. Я кончил классическую гимназию с золотой медалью, пошел на филологический факультет и теперь я преподаватель латинского языка и один из лучших латинистов. Мои исследования о Сенеке переведены на все европейские языки. Я стихами, размером подлинника, перевел почти всего Овидия Назона и, если бы я кончил эту работу, я стал бы европейски известен. Чувствуете юноша? Когда настало время отбывать воинскую повинность, я поступил вольноопределяющимся в один из Петроградских полков. Я ничего не делал. Я не умею снять штык с винтовки. Меня уважали, как ученого, и эксплуатировали, как репетитора для командирских детей. Меня уговорили держать для проформы экзамен на прапорщика запаса. Да, юноша, я приобрел это почетное звание и с этим званием попал на войну офицером и помощником ротного командира. Ну, скажите, правдоподобно это! Меня полтора года гоняли по полям Галиции, я должен был стрелять по своим братьям, чехо-словакам, я должен был забыть, что я почти профессор латинской литературы, и в довершение всего, меня ранили в живот. Скажите, юноша, это справедливо? У меня есть семья, жена и дети. Двое детей, которых, я, конечно, в погончики не наряжаю и ружей им не дарю. Как по-вашему, за что я пострадал? А? Ну говорите же, юноша, вы мне, право, нравитесь. В вашем лице нечто от античной красоты. Может быть вашими устами я услышу ту правду, которой нет, и умру, менее страдая от несправедливости. Вот, скажите вы мне, юный и прекрасный, как греческий бог, за что я буду умирать?

Карпову было жаль этого нервного, озлобленного человека. Он чувствовал, что то, что он может ему сказать, то, что он знает и что для него составляет всё — не удовлетворит Верцинского, потому что у него другой мир, так отличный от того мира, в котором живет он, Алеша Карпов. Но он все-таки сказал, потому что глубоко верил в страшную силу этих слов.

— За веру, царя и отечество...

Верцинский засмеялся. Сухое лицо его, с длинным острым, как у хищной птицы носом, искривилось **злой**

улыбкой и стало почти страшным. Видимо, этот смех вызвал в нем ощущение боли, потому что страдание было в его глазах.

— В Бога я не верю, — не сказал, а точно выплюнул он, — я атеист. Образованный человек не может верить в Бога. Да, учение Христа высокое философское учение, но мы знаем философов, которые брали этот вопрос, еще глубже нежели Христос. Умирать за веру? За какую? Православную? Но я крещен в католической вере и не исповедую никакой. Вы сказали: за царя. Но я социал-демократ, почти анархист, я готов убить вашего царя, а не умирать за него сам. Отечество для меня весь мир. В Риме я работал в библиотеке и там я чувствовал себя более на родине, чем в Вильню, где я родился. Для культурного человека двадцатого века нет слова — отечество. Это понятие дикарей, это понятие гибнущих стран; Рим погиб от того, что Римляне стали считать себя выше всех. *Civis romanus**). звучало слишком гордо. Вот наш современный писатель Горький, он понял, что гордо звучит слово — **человек**, а не Русский, или там поляк. Не понимаете этого, юноша? А?

— Как же вы тогда шли в бой?

— Вот в этом-то, юноша, вся трагедия и заключается. Вы вот лежите здесь легко раненый и вы парите в облаках счастья. Герой! Ну сознайтесь, вы чувствуете себя героем. А? Там, где-нибудь, поди, и милая девушка есть. Ну, совсем, как на пошлой открытке, или картине иллюстрированного журнала: возвращение с войны. Рука на перевязи, белая косынка и большие вдаль устремленные глаза. За веру, царя и отечество! Вы — герой! Ну, допустим! Какой же я тогда герой! Ведь я убежать должен был от этого ужаса. А я шел с ними вперед, перебегал, ложился, вставал. Ну, скажите, почему и зачем я это делал? А? Я, не верящий в Бога, не признающий отечества и интернационалист. Почему?

— Я не знаю, — сказал Карпов. Ему было страшно говорить с Верцинским. Первый раз он столкнулся так близко, с глазу на глаз, с социалистом. Карпов смотрел на него с испу-

*) Римский гражданин.

гом и любопытством. Но его тянуло говорить с ним, и его сердце быстро билось. Чуял Карпов, что здесь, рядом с ним, в душе этого человека, лежат ужас, отчаяние и злоба, ни с чем не сравнимые, но тянуло к этому ужасу, как тянет тихий холодный омут в жаркий день, как тянет запрещенный плод. То, что для Карпова было непреложными истинами, о которых ни думать, ни спорить нельзя, — так легко отрицалось и откидывалось этим человеком.

— Вы не знаете, почему, — медленно и злобно проговорил Верцинский. Вот в этом-то весь страшный ужас моей жизни и моего умирания, что и я не знаю, почему. Да, слышите, не знаю почему, но я делал всё, как другие офицеры, и я не возмущился, и я не повел своих солдат обратно и я не приказал им убивать начальников... Я был сумасшедший.

Надвигались осенние сумерки. Тревожно гудели паровозы на запасных путях. Верцинскому дали молоко и он выпил его через силу медленными глотками. Контуры его тела, мягко покрытые коричневым халатом, мутно рисовались на белой простыне. Сухая голова с выдающимися костями черепа утонула в подушке. Стал более чувствоваться неприятный терпкий запах гноящейся раны, от которого никуда не уйдешь. Глаза Верцинского тревожно блуждали.

— Больно! — простонал он. Как противно и больно там, в животе. Мне кажется, что я ощущаю в себе кишки и всю эту мерзость... Слушайте... Я видел трупы. Горы трупов. Я видел, как люди с белыми сумасшедшими лицами шли по полю, падали, корчились, стонали, кричали, а впереди шли офицеры и кричали: „в атаку, в атаку!“ И я шел. Я ничего не кричал. Но мне хотелось крикнуть одно: — остановитесь, безумцы! Куда вы идете? На смерть, на раны. Стойте! вы боитесь суда, расстрела. Убейте вот их — вот этих офицеров, убейте генералов и по домам! Нет войны. Нам, солдатам, она не нужна. А мы сила! Я готов был сказать это, но пуля в это время меня сразила и я упал... Слушайте... Стоит только раз не исполнить приказания, только всем, и войны не будет. Не будет этого ужаса. Война — это рабство. При свободе никто не пойдет убивать...

Ярко, по всему вагону сразу, вспыхнули электрические лампочки и весело осветили белые, крашенные масляной краской стены. Вагон дрогнул, покачнулся. Мимо окна поплыли мутные желтые фонари, поезд тронулся и заскрежетали колеса и скоро стали отбивать проворный ритмичный такт и Верцинскому казалось, что колеса всё кричат: — „смерть идет, смерть идет”, а Карпову, что они говорят: — „герой, герой, герой”...

Поезд убаюкивал и Карпов спал. У него поднялась температура и рана, казавшаяся пустой, стала внушать опасения. Верцинский лежал в полузабытье. Его мысли были ужасны. Ему казалось, что, если бы можно было передать словами всё холодное отчаяние его мыслей, — весь мир содрогнулся бы. Но не было слов. Да и некому. Этот обрубок красивого пушечного мяса не поймет. „Рожденный ползать, летать не может”, — думал Верцинский. Все двое суток пути он не разговаривал с Карповым, и они молчали.

Позднею ночью поезд мягко остановился у Царскосельского вокзала. Шел дождь. Таинственно темнели широкие аллеи улиц и в них, уходя вдаль молочными шарами, горели электрические фонари.

Под навесом суетились санитары. Выносили раненых. Сестра милосердия в теплом пальто, в косынке, ходила вдоль носилок и отдавала распоряжения.

— Сестра Валентина, — услышал Карпов голос молодого человека в студенческой фуражке, — Карпова просили к нам, тут есть записка от генерала Саблина, поручает его вашему уходу и я вас очень прошу, если место есть, подпоручика Верцинского. Это мой учитель латинского языка. Ученый человек.

— Тяжело раненые?

— Оба тяжело. Карпов в грудь, но началось нагноение, а Верцинский в живот. Вся надежда на княжну.

— Выходим! — бодро ответила та, которую назвали сестрой Валентиной, — ну тащите, господа, что же вы стали! Слышали, Рита, Саблин к нам обратился — это хорошая примета. Может быть и простил.

— Мне писала Александра Петровна из Варшавы, что он сильно переменялся после ранения. Христианином стал, — сказала Рита.

— А Железница-то! Рита, я всегда говорила, что Саблин — герой и военный человек; вот и не генерального штаба, а какой размах у него. Мне старшая сестра писала о нем, что в Ставке очень довольны. Только-что получил дивизию и такое великолепное дело.

— Сестра Валентина, Карпова можно в карете, а Верцинского разрешите в автомобиль... — спросил студент. — Хорошо...

IV.

Лазарет, в который отвезли Карпова, был особый лазарет. Он находился под непосредственным наблюдением Императрицы Александры Федоровны и в уходе за ранеными принимали участие ее дочери, великие княжны Ольга и Татьяна. Императрица не только наблюдала за уходом, но иногда ухаживала за ранеными сама, делала перевязки и помогала при операциях. В лазарете было запрещено называть ее: „Ваше Императорское Величество“, но требовали, чтобы ее называли просто — „старшая сестра“. Княжен тоже называли — „сестра Ольга“, „сестра Татьяна“.

В этот лазарет Императрица ушла всем своим сердцем. Здесь она отдыхала от мучений душевных, вызванных разладом и разочарованием. Она понимала, что продолжение войны — гибель для России, по крайней мере для России императорской, а иною она не могла представить себе Россию. Ей рисовался немедленный, сепаратный мир с Германией, мир чрезвычайно выгодный для России, с получением Константинополя, проливов, части Малой Азии, и торжество монархии. Она не любила императора Вильгельма, считая его фальшивым, но она слишком любила Русский народ, чтобы спокойно видеть его страдания на войне. Каждый умерший в ее лазарете офицер, или солдат переворачивал ее сердце. Ночью, одна, она ездила на их могилы, и молилась у простых деревянных крестов. Она чувствовала ужасы войны, как женщина и как Императрица, считала своим дол-

гом прекратить их. Ее считали немкой, а она не любила Германию, но в немцах видела не врагов, но соседей, с которыми выгоднее жить в мире. Она ездила в Ставку, к своему мужу, зондировать почву и там она натыкалась на невероятную, непримиримую ненависть к немцам, преклонение перед французами и верность во что бы то ни стало своему слову. Человек, который во внутренней политике не держал своего слова и поддавался настроениям, советам министров, общественных деятелей. своих приближенных, случайных людей — благоговел перед договорами с Францией и Англией и она ничего не могла сделать. Мешало и влияние матери. Императрица Мария Феодоровна, перенесшая оскорбления толпы при проезде в июле 1914 года через Берлин, не забыла этих оскорблений. Александра Феодоровна понимала, что народ не на ее стороне. Смутно, стороною, сильно затушеванные доходили до нее слухи о том, что народ и армия ее не любят. Распутин ей не прощали, а с Распутиным она не могла расстаться, потому что Распутин заколдовал ее. Она считала его святым, „старцем“. Ей говорили, стороною, осторожно, что он развратный мужик. — „Отчего же мне это прямо не скажут?“ — говорила она. Она создала себе свой мир, полный тайн, религиозных откровений, сладости молитвы, лишений и в этом мире Распутин ей казался пророком. Она трепетала за жизнь семьи, а жизнь семьи была связана таинственными нитями с жизнью Распутина. Она в это верила. Удаляли Распутина и Наследник заболел непонятными болезнями, приближали, ласкали его и Наследник выздоравливал и становился весел и бодр. Против Распутина были все родственники Государя, вся Царская семья, тем более его нужно было оберегать и тем более сближалась с ним Императрица. Ее жизнь стала мучительной и одинокой. Она чувствовала, как все постепенно удалялись от Трона, даже родственники. Одиночество окружало ее, и искала она утешения в своем лазарете, в нем она хотела самой себе доказать, что всё, что если и не говорится, то чувствуется кругом, — неправда. Что народ и армия ее любят и пойдут за нею.

Лазарет имел два отделения — офицерское и солдатское. И то и другое были поставлены самым лучшим обра-

зом. Ласкою и вниманием к раненым Императрица и великие княжны покупали себе любовь раненых, и письма и выражения благодарности этих раненых принимали за общественное мнение, за мысли всей России, всей Армии.

Раненые возвращались в полки, полные приятных воспоминаний о времени, проведенном в лазарете, о ласках и внимании Царской Семьи, но в полках они видели холодное, а иногда враждебное отношение к Императрице и, боясь заслужить кличку царского холопа, молчали о своей благодарности лазарету и лишь некоторые писали трогательные письма Императрице и княжнам. Эти письма далеко не всегда были искренними, но ими в лазарете восхищались, в них видели простое, полное благородства сердце Русского солдата и по этим единичным письмам судили о всей Армии.

Жизнь во дворце была для Императрицы каторгой. Своих мучений, своего заискивания перед Распутиным, своих слез в минуты колебаний она не могла скрывать. Она считала, что, как христианка она должна любить врагов своих, облегчать участь пленных, особенно раненых. Она навещала лазареты, где были германцы. Эти посещения истолковывались, как ее симпатии к немцам и презрение к Русским. Кругом нее и великих князей плелась чудовищная ложь, и лазарет, в который они отдали свои сердца стал центром этой лжи и клеветы. Она не хотела видеть этого, но эту ложь уже повторяли придворные лакеи, казаки конвоя, солдаты караулов.

Казачков конвоя послали на фронт, в одну из казачьих дивизий и они привезли туда рассказы о непонятном поведении Императрицы, о Распутине, о явных симпатиях к немцам и эти рассказы без остатка съели робкие похвалы лазарету Императрицы. Во дворце Императрица видела косые взгляды, подчеркнутое внимание, хмурое молчание лакеев, и казаков. Во время поездок на фронт ей было еще тяжелее. Ее встречали и провожали, но делали это, как страшно тяжелый долг. Некоторые генералы намскали ей, что из-за ее поездки пришлось задержать эшелоны с войсками и это может нехорошо отразиться на делах фронта. До нее доходило, что говорили, что она нарочно ездит, чтобы мешать перевоз-

кам и помогать немцам. Но ездить ей было необходимо. Нужно было влиять на „Ники“, как она называла государя, хотелось видеть Наследника, который жил в Ставке. Это было мучительно и раздражало ее.

Только в лазарете она отдыхала. На операциях тяжело раненых, когда, откинув брезгливость, она помогала хирургу, у постели умирающих, видя страшные муки молодого тела, расстающегося с жизнью, она забывала свои личные мучения и находила странное утешение. В лазарете, по вечерам, она сидела со своими дочерьми в кругу выздоравливающих. Устраивали игры, пели, играли на фортепьяно — создавалось подобие семьи и ей казалось, что тут эти расшалившиеся офицеры ее понимают и любят ее, как мать.

Иногда в играх расвеселившаяся молодежь переходила грани приличия. Хорошеньких княжен, смеющихся и раскрасневшихся охватывали нескромные взгляды офицеров. При игре дольше задерживали в своей руке нежные руки княжен, касались их колен, трогали туфельки. Строгая сестра Валентина сказала как-то об этом Императрице. Императрица ответила не сразу. Скорбные тени пробежали по ее прекрасно-му, но холодному, как мрамор, лицу.

— Оставьте их, сказала она. Пусть хоть немного повеселятся; у них нет никаких радостей.

Сестра Валентина молчала.

— Столько горя, страшного горя ожидает их впереди, сказала тихо Императрица и вышла из палаты.

V.

Алеша Карпов был юноша девятнадцати лет, еще не знавший любви. Он не ухаживал в Новочеркасске ни за институтками, ни за гимназистками и для них у него было одно, полное презрения название: — **девчонки**.

Женщину он любил, как рыцарь. И только две женщины, полонили в это время его ум и сердце: — одна была мать, которую он любил чистою любовью, другая была никогда не виданная им женщина, женщина, которую он знал только по портретам, женщина сказочно прекрасная, необык-

новенная, **Царица**, за которую он должен отдать жизнь. О Распутине он ничего не слышал. В кабинете у отца, а потом в гостиной их Новочеркасского дома, он видел портрет прекрасной женщины с русыми волосами, с мальчиком на руках. Эту женщину окружали четыре девочки. Вся эта семья казалась Алеше Карпову особенной семьей, в которой не было ничего человеческого. Божия Мать с младенцем на иконе не казалась женщиной с женскими страстями, так и эта прекрасная женщина, снятая, в кругу своей семьи, не казалась женщиной, могущей любить, быть ласкаемой и ласкать. Это было полубожество. Царица и царевны были вне этого мира. Они принадлежали к иному, чудесному миру. На них можно было смотреть, отвечать механическими, заученными солдатскими ответами на их вопросы, молиться за них и за них умереть. Все они были прекрасны. Они и действительно были красивы, но если бы они были даже уродливы, всё равно, они казались бы Алеше Карпову прекрасными, потому что они были из мира грез, а не из мира действительного. Если бы ему сказали, что он может их трогать за руки, что их руки будут касаться его тела, он этому никогда не поверил бы. И не страсть, а только стыд и страх возбудили бы эти прикосновения. Он помнил, как много раз рассказывал его отец, как он христосовался с Государем и поцеловал руку у магушки Царицы. Под образом Донския Божией Матери у них в доме и посейчас висит большое расписанное цветами фарфоровое яйцо, которое императрица дала его отцу. И отец часто рассказывал с восторженным благоговением о том, что он перечувствовал, когда прикладывался к маленькой надушенной руке Царицы. Это не была рука женщины, но рука божества...

Сестра Валентина широкими, твердыми шагами подошла к лежащему на койке в жару Алеше Карпову.

— Ну, как вы себя чувствуете? — спросила она.

— Ничего. В груди болит. Дышать трудно.

— Всё пройдет, — сказала Валентина, поправляя подушку.

— Сегодня вам назначена операция.

Алеша посмотрел серьезными детскими глазами на сестру Валентину и не испугался.

— Операцию можно сделать под хлороформом, или без хлороформа, как вы пожелаете. Надо очистить рану, вот и всё.

— Я бы хотел, чтобы без хлороформа, — сказал Алеша, — так лучше, я не девочка, чтобы бояться боли.

Сестра Валентина улыбнулась.

— На операции будет ассистировать старшая сестра и помогать сестра Татьяна. Вы знаете кто они такие?

— Нет.

— Вы знаете, где вы находитесь? В каком городе?

— В Царском Селе.

— Да, в лазарете Государыни Императрицы. Старшая сестра — сама Императрица, сестра Татьяна — великая княжна Татьяна Николаевна и иначе их не приказано называть.

— В котором часу операция? — еле слышным голосом спросил Алеша.

— Между десятью и одиннадцатью. И пожалуйста, молодой человек, не волноваться.

— Чего мне волноваться. Я не девчонка, — покрасневши сказал Алеша.

Но он страшно волновался. И не операция его волновала. О том, что будут делать с его раной, он не думал. Он не думал и о возможных последствиях операции. Все его мысли были заняты тем, как же это, Императрица и Великая Княжна, увидят его не в парадной форме, а в лазаретном халате, что они будут говорить, что он скажет, и его бросало то в жар, то в холод.

Ровно в одиннадцать часов в палату пришли два рослых санитаров с носилками. Они переложили Алешу на носилки и понесли к операционной.

Высокая, красивая женщина в строгом костюме сестры милосердия, с бледным лицом, на котором пятнами выступал румянец воления, подошла к Алеше и сказала властным голосом:

— Разденьтесь.

Алеша смотрел на нее большими глазами и не шевелился. Он узнал ту, портрет которой висел у них в гостиной, на

кого смотрели, как на образ и за кого ежедневно молились в семье. Раздеться при ней было немислимо.

— Тая, помоги же! — сказала эта волшебная женщина. Тонкие девичьи пальчики коснулись пуговцы халата. Пахнул в лицо неуловимый аромат нежных духов. Если бы Алеше сказали, что это просто хорошие английские духи, которые всякий может купить — он бы не поверил. Для него это был особый царственный запах, которого никто не может иметь, запах сказки. Сказка творилась на яву. Царевна и еще кто-то, кажется, естра Валентина, сняли с него халат, рубашку и нижнее белье. Его внесли в операционную, и положили на высокий стол, покрытый белой простыней. Несколько секунд Императрица и женщина-хирург внимательно осматривали лежащее перед ними прекрасное тело юноши. Алеша лежал перед ними, не зная куда девать руки и млея от страшного стыда. Такое чувство должна испытывать молодая невинная девушка, когда ее нагую рассматривает мужчина. Сердце Алеша колотилось быстро, в больших лучистых глазах стояли слезы благоговения и стыда. Он переживал мучительные, но и прекрасные минуты.

— Питание хорошее. Операция вполне возможна, — сказала худощавая женщина, доставая инструменты. — Сестра Александра, может быть, вы сами попробуете. Это не трудно.

Рука Царицы, холодная и чистая, коснулась груди Алеша у темно-бурого сосца и чуть надавила возле раны.

— Накройте ноги и живот, — сказала Императрица.

Алеша перевел смущенные глаза в сторону. Сестра Татьяна неслышными шагами подошла к нему и чистой простыней закрыла нижнюю половину тела.

Это было больше того, что мог перенести Алеша. Краска стыда залила всё его лицо, потом быстро отхлынула и он потерял сознание.

VI.

Очнувшись Алеша почувствовал, что он опять лежит в палате на своей койке. Сознание непоправимости того, что было, того острого стыда, который он испытал во время операции прорезало его мозг и ему стыдно было открыть

глаза. Нет, никогда, никогда, больше он не увидит этих двух женщин. Еще с тем, что его видела Императрица, он мирился, как мирился бы с тем, что его наготу увидела бы его мать, но великая княжна! Это было адски неудобно! Он не запомнил и не рассмотрел ее лица. Вернее, он видел не то, что было, а то, что ему хотелось видеть. Молодое, свежее лицо Татьяны Николаевны воображение его переделало в образ неизъяснимой красоты и изящества. Встретиться с нею теперь было невозможно. Как посмотрит она на него, как посмотрит он на нее. Она должна брезговать им, и ей вероятно будет противно смотреть на него. Алеша прислушался к своей ране. Она болела менее остро. Под тугим бинтом легче дышалось. Не было терпкого запаха гноя, но чуть слышно пахло аптечным запахом свежей марли. Потому, что не было жара и холодные и сильные покоились мускулы ног, Алеша понимал, что операция вышла удачной и дело пойдет на поправку. Только дышать еще было тяжело.

Всё еще не открывая глаз Алеша стал припоминать, все подробности боя: знамя неясным силуэтом рисовавшееся на фоне хвойного леса, болото, освещенное луною и вдали красные языки пламени деревни Железницы, только что подожженной их конными батареями. Когда раздалась команда „**вперед**”, он встал первый и пошел по болоту. Он помнил, что было несколько секунд, когда он шел совершенно один и только потом потянулись за ним цепи казаков и гусар. Он герой! Но никто не знает о его геройстве. **Она** не знает, кто он такой. Если бы **она**, когда накрывала его простыней, знала, что он первый пошел, пошел тогда, когда никто не хотел идти, может быть **она** не презирала бы его. Вот ей бы он всё рассказал! Но как расскажет он ей, когда ему совестно взглянуть в глаза, когда он не знает, как и когда он увидит ее...

Легкий шум в палате, радостные голоса и шопот, заставили Алешу открыть глаза.

На стул подле его постели села сестра Татьяна. Он сейчас же узнал ее. Но опять он не видел ее такою, как она была, худенькой девушкой с большими добрыми серыми гла-

зами, напоминающими глаза ее отца. Карпов увидел прекрасную царевну сказки, которую обожал раньше, нежели увидел.

Простая, поношенная серая юбка в складках легла буфами на стуле. Милое лицо, обрамленное от лба до подбородка белой косынкой, ниспадающей на плечи, нагнулось к нему, она поправила подушку и улыбнулась ему конфузливой улыбкой.

— Как вы чувствуете себя, Карпов? — сказала она, называя его по фамилии, как называла она всех офицеров лазарета.

— Отлично. Боль совсем прошла. Адски хорошо теперь.

— Где же это вас так ранило? Княжна — это наш хирург, сказала мне, что вас ранили шагов с тридцати. Вы были так близко к неприятелю? Вы видали его лицо?

— Я едва не захватил пулемет, — задыхаясь от счастья сказал Карпов. — Если бы меня не ранили, я бы своими руками его схватил. А то меня ранили, я перевернулся, точно кто меня в бок толкнул, потом побежал, гляжу, а Баранников уже колет германца, а Лиховидов и Скачков тянут пулемет. Вы знаете, Ваше Императорское Высочество, германец был цепью прикован к пулемету. Он, может быть, и хотел бы убежать, да не мог.

— Не называйте меня так. Зовите меня — сестра Татьяна, — улыбаясь, сказала великая княжна.

Алеша смутился.

— Кто такой Баранников? — спросила Татьяна Николаевна, чтобы ободрить Карпова.

— Баранников, это казак Усть-Бело-Калитвенской станицы. Вот молодчина, ей Богу, Ваше Импер... сестра Татьяна, — быстро поправился Алеша и, окончательно смутившись, замолчал.

— Так что же Баранников? — сказала княжна.

— Баранников увидел, что я ранен и кричит: ничего, ваше благородие, я за вас его приколю и штыком его прямо в живот. Я видал. Тот так и сел. Адски лихо это вышло. Только это надо с начала рассказать. Очень хорошее дело.

— Расскажите с начала, если это вам не трудно. Грудь у вас не болит?

Если бы Алеше сказали, что от его рассказа зависит, будет он жить, или умрет, он и тогда бы рассказал, а потом умер бы со счастливой улыбкой и в блаженном сознании, что его Царевна знает о его подвиге.

— Видите... Это было 11-го сентября, ночью. Бои шли два месяца. Только не настоящие. А так постреляем, тысячи на полторы шагов подпустим, а потом и уходим. А тут приказали, чтобы назад ни шагу. Подвезли патронов. А то мы ведь почти без патронов были. Да. Пять суток наша дивизия, еще два казачьих полка и три батальона пехоты отбивались от немцев. Поверите ли, три раза днем, да раза два ночью они в атаку ходили. Только шагов на шестьсот подойдут, а мы их с пулеметов, да из винтовок ошпарим, они и назад. На 12 сентября начальник дивизии, генерал Саблин...

— Александр Николаевич? — спросила Татьяна Николаевна.

— Так точно, Александр Николаевич.

— Я его хорошо знаю. И покойную жену его знала и детей знала. Сына его убили в конной атаке. Что он? Как?

— Удивительный человек. Его солдаты и казаки прямо обожают. Ну, любит он каждого! Придешь к нему задачу получить, расскажет так ясно, хорошо, обстоятельно, а потом говорит: ну идите, с Богом. И так это скажет, что действительно будто Бог помогает. А строг. В Камень Коширском казаки не нашего полка побаловались. Сапожника жидо ограбили... Полевой суд. Расстрелять приказал. И все говорят: так и надо. Не грабь, казак не грабитель. И знаете, сестра Татьяна, у нас в дивизии всегда всё есть, обо всем он подумает и всё он делает так особенно хорошо. Так вот, приказал он нам в ночь на 12 сентября взять Железницу. Вторая бригада, казаки и гусары в первую линию. Мы, значит, идем с фронта, а гусары с правого фланга. Ночи лунные были. Полная луна. Железница стоит среди болот, а кругом большие леса. Ну, только лето сухое было, болота сильно просохли, не только что ходить можно — ездить можно, мы бы на конях ее взяли, да были там две болотные канавы, ни перепрыгнуть, ни перемезть их на лошадях никак нельзя, через то и приказ был идти пешком.

— В шесть часов мы поседлали и пошли лесом на свое место, где батареи стояли. В девятом часу были на месте. Ровно в девять атака назначена. За полчаса артиллерия должна была начать подготовку и зажечь деревню, чтобы нам его было видно, а он, чтобы, значит, нас, со света, не видал. Ну, говорю вам, всё придумано у него было адски хорошо. Артиллерия зажгла деревню почти что в раз, с первого снаряда. Ну, стреляла она у нас, просто замечательно. А мы стоим в лесу, на конях. Не слезаем. Командир полка, полковник Протопопов, старичок такой, сидит на коне возле знамени и пригорюнился. Толи боится, толи еще что — не разберу. Уже девять часов прошло, а он ничего, значит, не начинает. А луна уже высоко так поднялась. Ночь тихая, теплая, светлая. Сосны стоят, каждую веточку видно. Видно, как сквозь деревья луна пятнами пробивает на землю, на казаков, на знамени играет. А знамя у нас новое, в 1914 году пожаловано. Лик Спасителя на нем, серебро сверкает... Лошади стоят тоже тихо, не вздохнут даже. Вы знаете, Ваше Императорское Высочество, она, лошадь-то, понимает войну. Знает, когда можно, когда нельзя. Верите, когда по лесной дорожке кралась, так у меня такое впечатление было, что лошади точно на цыпочках шли, так легко, осторожно. У германца, возле деревни его окопы были, тишина. Наши батареи примолкли. Надо идти. А мы стоим. И знаете, я ненавижу даже стал полка командира, потому что чувствую, что он просто трусит, боится идти на штурм. И вдруг видим, едет Саблин, генерал. Вороная кобыла под ним, английский гунтер, я знаю: — Ледой звать, казак при нем нашего полка, со значком, начальник штаба, полковник Семенов, еще ординарцы.

— Полковник Протопопов, — кричит генерал Саблин, а сам на часы смотрит. Часы у него на руке были самосветящие, — что же вы? О чем вы думаете? Командир наш встрепенулся и вижу, по лицу его вижу, что он и неприятеля боится, ну а начальника дивизии, пожалуй, еще того более боится. „Смирно!“ — кричит, — „господа офицеры!“

— Пора наступать, полковник, — строго так говорит генерал. — Командуйте: слезай.

И сам, значит, слез и пошел с начальником штаба вперед на опушку леса.

Спешились мы. Раскинулись цепью по лесу и пошли на опушку, залегли. Полежали немного, разведчики пошли вперед. Прошло с полчаса, — вернулись. „Ну, что?“ — спрашиваем их. „А вот“, — говорят, — с версту не будет — его окопы пойдут. Проволоки, или чего такого — нет. Просто в канаве лежит. Ну только очень густо. Много их, так много, ужас. И не спят. Разговор слышен. Офицеры ходят“. И так мне страшно стало, Ваше Императорское Высочество...

— Сестра Татьяна, или называйте Татьяна Николаевна, — сказала княжна.

— Слушаюсь, Татьяна Николаевна... Да, и так мне стало страшно. Всё тут вспомнил. И маму, и дом наш, и корпус, так вот казалось, что непременно они убьют, или в плен заберут. Шагах в пяти от меня командир полка лежит. „Есаул Иванов“, — кричит он в полголоса, — „идите, вам наступать, направление по четвертой“. И называет он „есаул Иванов“, а не Святослав Никитич, как обыкновенно, потому, что, значит, хочет строгость показать, обозначить, что тут, мол, дело важное. Есаул Иванов, толстый такой, неповоротливый. куда ему идти. Лежит и сопит только. Мне слышно, как сопит. — „Есаул Иванов“, кричит командир, „что же вы, я приказываю“. А он говорит: — „Ладно. У меня жена, дети, иди сам!“ — да так говорит, что ей Богу, стыда на нем нет, всем слышно.

— Четвертая встать, — крикнул командир полка таким визгливым, не своим голосом. — Направление на горящую деревню.

Я встал и пошел. Ноги, как пудовые. Земля такая ровная, идти под уклон, казалось бы легко так, а я еле ноги от земли отдираю. И чувствую, что один иду. Оглянуться страшно. Понимаю, что, если оглянусь и увижу, что один я, что казаки не пошли — то просто умру со страха. Ну, однако, оглянулся. Вижу, идут казаки. Много. Вправо, влево, вижу винтовки на перевесь держат, тогда уже все у нас со штыками были, идут, согнувшись, как тени. И так мне сразу легко и весело стало и ноги пошли свободно. Мне показалось, что мы шли

очень долго. Впереди горел пожар, сверху светила луна и так было тихо, что я слышал как шуршала трава под ногами. Вдруг впереди вспыхнула яркая линия огоньков и сильный треск ружей оглушил нас. Засвистали и защелкали пули. Мы все легли, как подкошенные. Никто и не командовал тогда. И сами открыли огонь. А близко были — шагов не более трехсот... Лежим. Стреляем. Раненые появились. Поползли назад. Вдруг вижу выбегает впереди нас казак Сережников. Ростом кося сажень. Первый силач был в пулеметной команде. Пулемет, как игрушку в руках держит. — „Эй вы”, кричит, — „я постреляю его из пулемета, а вы, братцы, атакуй!” Тут все встали и закричали ура! Бежим. Вижу немцы от нас бегут. Адски весело стало на душе. Ну так хорошо! Внутри точно праздничные колокола звонят. Бежим. Прыгнули через его окопы. Вижу казаки в плен кого-то взяли. Ведут. Серая бескозырка на нем, красный узенький околыш, идет, шатается. Хотел посмотреть, никогда еще не видал пленных, ну только не до того. Бегу вперед, кричу что-то. Вбежали мы в деревню. Вижу посреди улицы окопчик сделан, а за ним пулемет и каска видна, солдат немецкий стреляет. Я кричу; — Баранников, Скачков, на пулемет! Тут меня, как звездануло в бок! Ну я только приостановился, а всё бегу. Взяли пулемет. Тогда я сел. Кровь горлом пошла. А только я в полном сознании был...

— Да вы герой, Карпов!

Это сказала она. Ликующие, звенящие колокола снова зазвучали торжественным перезвоном в душе у Карпова, как тогда во время победы, и на сердце стало хорошо и тепло. Он глядел на Царевну глазами, в которых было такое обожание, что Татьяна Николаевна смутилась.

— Как ваше имя, Карпов? Я молиться буду за вас.

— Меня зовут Алеша.

— Как моего брата. Я буду звать вас тоже Алешей. Вы позволите? Что с вами?

Алеша плакал слезами неизъяснимого волнения и счастья.

VII.

Во всей радуге чувств любви, чувство первой любви самое сильное и самое острое. Но особенно мучительно оно, когда не только не имеет удовлетворения, но даже надежды на взаимность. Такая первая любовь становится уже болезнью, почти безумием. От неизъяснимого счастья, от дикой радости по поводу пустяка, поднятого бантика, подаренной фотографической карточки, человек переходит к мучениям, доводящим до самоубийства от маленького невнимания, кокетства с другим, неласкового слова.

Первая любовь возникает вдруг, с первого взгляда. Вообще любовь слепа и не ищет совершенства, но первая любовь слепа особенно. Она дорисовывает портрет любимого существа до своего идеала. Первая любовь чиста. Любимое существо наделяется ею такими совершенствами, что страшно подумать о том, чтобы прикоснуться и обладать.

Первая любовь бескорытна. Пожатие руки, поцелуй, близость на прогулке, во время игры, или танцев дают большее блаженство, нежели полное обладание. В неудовлетворенности страсти, в вечном ее горении, в постоянных намеках и недомолвках таится особенная мучительная прелесть первой любви. Только при первой любви выплывает **она**, как вполне целое и делается прекрасным всё, что касается до **нее**.

Платье, которое **она** носит, прическа, в которую **она** складывает свои волосы, белье, выглядывающее из под юбок, чулки, башмаки, касающиеся ее тела, кажутся особенными и даже снятые и брошенные способны доводить до пароксизма страсти. В **ней** нет недостатков. **Она** царит не столько во время своего присутствия, сколько тогда, когда она остается в мечтах. Здесь **она** наделяется всеми совершенствами физическими и нравственными, здесь для **нее** совершаются самые невозможные подвиги, здесь плетется такой причудливый узор необыкновенных приключений, которому позавидовал бы романист с большою фантазией...

Такою первую любовью заболел Алеша Карпов, едва только Татьяна Николаевна отошла от него и скрылась из

комнаты. Его любовь была особенно сильна потому, что Татьяна Николаевна была прелестная девушка, обладала чудными волосами, прекрасными глазами и была пропитана святостью своего происхождения. Она была Царская дочь, царица. Ни одна греховная мысль не вязалась с нею, надеяться на возможность сближения с нею — было нельзя, и оставалось только молча любить и страдать в своих мечтах.

Жадным, взволнованным взглядом Алеша проводил ее, когда она встала со стула возле кровати и ушла. Всё в ней было великолепное и особенное, и он всё охватил и запомнил. Талия, перехваченная белым кушаком передника, казалась удивительно тонкой, серая юбка падала широкими складками и из-под нее, выглядывали стройные упругие ноги, блестящие в шелковом чулке. Башмаки на английском каблучке чуть стучали по паркету пола и шла она легко, как дух. Алеша все еще слышал тонкий еле уловимый запах духов. Он давно испарился и исчез в хорошо вентилируемой комнате, но ему казалось, что он его ощущает.

В палате он был не один. Лежали другие раненные. Против него сидел пожилой офицер в халате, на котором был пришпилен офицерский георгиевский крест, и нервно курил. Желтое лицо его было мрачно, и голова непрерывно и независимо от его воли тряслась. Через две кровати, у самой стены, скорчившись, лежал раненый и тихо стонал. В скорбно иронической улыбке его слишком худого лица с выдающимися костями черепа Алеша узнал спутника по вагону, Верцинского. Алеша лежал с края, недалеко от окна. Он повернулся к окну. Он боялся, что кто-либо заговорит с ним и рассеет прекрасное очарование, которое осталось у него после разговора с княжной. О, как хотел бы он теперь быть совершенно один и в полной мере отдаться мечтам.

Сквозь большие оконные стекла были видны раскидистые липы и белые березы в золотом уборе осени. По бледному небу тихо плыли бело-розовые облака. Глядеть на небо, следить за этими облаками было лучше всего. Недалеко возвышался корпус трехэтажного здания. Из трубы на железной крыше шел дым. Ветер срывал его кусками и гнал, крутя к небу, и обрывки этого дыма испарялись в синей

выси. И так же, как этот дым, в уме Алеши срывались быстрые и легкие мечты и улетали куда-то ввысь.

„Любимая моя!.. Моя любовь... моя милая... Вот придешь ты снова ко мне и сядешь на этом стуле”...

Хотелось поцеловать стул, на котором она сидела, но было совестно. Алеша положил на него руку, но стул был холодный и солома плетеного сиденья не сохранила теплоты ее тела.

„Что я скажу тебе? Что я попрошу у тебя? Я попрошу тебя дать поцеловать твою белую руку и я прижму ее к губам, потом переверну и буду целовать твою маленькую розовую ладонь”.

В мечтах Алеша говорил Татьяне Николаевне ты. В мечтах она любила его такую же святою чистою любовью и давала целовать свои руки.

„Чем отплачу я тебе за твои ласки? Чем отвечу на твое внимание. О! если бы я был художник — я нарисовал бы твое прекрасное лицо и подарил бы тебе! Если бы я был певец — я пел бы гимны любви тебе, моей золотой, но те песни казачьи, что я только и умею петь, не для твоих ушей!.. О, если бы я мог быть поэтом я написал бы в честь твою стихи, равных которым нет на свете. Но я солдат и могу отдать тебе только жизнь”...

Алеша мечтал, как он со своим разездом возьмет в плен Вильгельма. Что же, разве это не может быть? Он пробрался глубоко в тыл за германские войска. С ним Скачков, Баранников и Семерников — всё лихачи Усть-Бело-Калитвенцы, еще семнадцать таких же удальцов Гундоровцев. Ночью прокрались они за сторожевое охранение и сделали семьдесят верст по шоссе. На рассвете они напали на немецкую заставу гвардейского полка. Перебили сонных германцев, одного оставили, допросили. „Что за застава?” — „Тут ночует сам кейзер”. Казаки переоделись в немецкие мундиры и сели на немецких лошадей. Вот мчится автомобиль. В нем знакомая по картинам и карикатурам фигура. Кейзер едет на позицию. — „Стой... Halt?”*) С револьверами набрасываются

*) Стой!

на шофёров. Кейзер обхвачен могучими руками Семерникова, дежурный флигель-адъютант связан и положен на дно автомобиля. Шофёры, угрожаемые револьверами мчатся к Русской позиции. Вывешен белый флаг. „Я — хорунжий Карпов, хитростью взял в плен императора Вильгельма, доставьте меня в штаб армии”. Там Алеша просит, как милости, лично доставить кейзера к Государю. И вот он в Ставке. Выходит Государь. Ему всё уже известно по телеграфу. Германия просит мира и сдается на милость победителя, — „Чем я могу наградить вас, хорунжий? — говорит Государь. — „Я отдам вам полцарства и сделаю вас самым приближенным к себе, человеком. Просите, что хотите вы еще в награду за спасение Родины”. — „Ваше Величество”, — твердо говорит Алеша, — „мне не нужно никакой награды. Я совершил этот подвиг чтобы прославить вашу дочь, великую княжну Татьяну Николаевну. Мне ничего не нужно. Наградите только моих казаков”...

Ветер всё рвет и рвет клочья белого дыма над трубой и видно, как шевелится железный флюгер на ней, тихо поворачиваясь, то вправо, то влево. С березы срываются сухие желтые листья куда-то и уносятся в поля... Летят и мечты, и сладко сжимается сердце.

VIII.

Этот день святой, прекрасный день, Алеша всю жизнь будет помнить его. Если бы у него были деньги, он купил бы маленькое хорошенькое колечко, вроде обручального, только с камнем и вырезал бы на нем священное число. Двадцать третье сентября. Она подошла к нему, и принесла ему цветы.

— Ну вот, вы паинька у нас, — сказала она, — вам можно теперь вставать и ходить.

— Этим я только вам обязан, — сказал он пересохшими губами.

— Почему мне?

В палате никого, кроме Верцинского, не было. Верцинский лежал спиною к нему.

— Почему... Я не могу вам этого сказать, Татьяна Николаевна. Вы на меня рассердитесь.

Она ставила цветы в стакан на столике у постели и наливала воду, из графина. Она нагнулась к нему. Ему снизу было видно ее покрасневшее лицо и большие серые глаза, внимательно следившие за тем, чтобы не перелить воду. Пальцы, державшие графин, стали розовыми. Видна была белая шейка и, когда она нагнулась, чуть шелохнулись под серую блузкой молодые девичьи груди. От нее шел обычный запах ее тонких духов.

— На что же я рассержусь? — ставя графин на столик, сказала она. — Разве вы хотите обидеть меня и скажете что худое.

— Могу ли я сказать, или сделать вам что-нибудь худое? — с упреком в голосе сказал Алеша.

— Думаю, что нет. Вы хороший офицер. Вы мне очень нравитесь. Если бы много, очень много было таких офицеров, как вы, мы бы победили немцев.

— Мы победим, Татьяна Николаевна. Видит Бог, мы победим их!

— Противные они! — сказала Татьяна Николаевна и лицо ее искривилось гримасой отвращения.

— Но все-таки, что же это такое, чего вы не могли сказать мне? — спросила она.

— Я хотел вас попросить о великой милости.

— Что же вы хотите? — становясь серьезной, спросила Татьяна Николаевна. Она ожидала просьбы к ней, как к великой княжне, просьбы исходатайствовать что-нибудь у Государя, чьего-нибудь помилования, денег, пособия, награды. Такие просьбы почти всегда бывали неисполнимы и они огорчали.

— Я очень прошу вас... дайте мне поцеловать вашу руку.

Она засмеялась коротким грудным смехом и протянула руку, Алеша схватил ее обеими руками и прижал к своим губам. Горячие губы обожгли руку великой княжны и она вся вздрогнула. Но она не отняла руки. Его горячие пальцы

быстро перевернули руку и покрыли ладонь горячими поцелуями.

— Ну, довольно, — сказала она. Какой вы, чудной. И, быстро нагнувшись, она приложила свои нежные губы к его горячему лбу и сейчас же вышла...

Алеша не мог лежать больше, не мог думать, не мог молчать. Ему хотелось петь, кричать о своем счастье, ходить, прыгать, танцевать. Он встал и пошел по палате.

— Верцинский! Казимир Казимирович, — окликнул он, вы спите?

Острое лицо повернулось к нему и горящий взор остановился на нем.

— А, это вы, Карпов. Что такое? В чем дело?

— Я задушит вас хочу, Казимир Казимирович, вы понимаете. Я счастлив.

— С чем вас и поздравляю. Только пожалуйста меня не трогайте. Рубцы подживать стали и рана не гноится.

— Казимир Казимирович, вы знаете, что такое любовь? Верцинский внимательно посмотрел на Алешу.

— Да вы что, юноша, влюблены что ли?

Алеша молча кивнул головой.

— Ну, значит, пропали. Юноша, только дурак может любить в настоящее время.

— Казимир Казимирович, да, нет... Ну в самом деле, неужели вы не знаете, что такое любовь?

— Любовь, или влюбленность, юноша, это различать надо. Вот вы, как похудели. Вы в грудь ранены. Смотрите еще чахотку наживете.

— Ну, влюбленность, не всё ли равно, — весело сказал Алеша и сел на постель Верцинского.

XI.

— Влюбленность — это выписыванье на песке вензелей своей возлюбленной, это, юноша, чувство глупое и недостойное мужчины, сказал Верцинский.

— Скажете тоже! Как вам не стыдно, Казимир Казимирович. И вовсе вы не такой, вы только на себя напускаете.

— Нет, юноша, локонов от милых девушек никогда не брал и на сердце в виде амулета не носил, ибо это глупо.

Алеша представил себе сколько радости ему доставили бы локоны Татьяны Николаевны и блаженно улыбнулся.

— Вижу, юноша, что вы не согласны. Ну, что делать. Но предупредить вас считаю обязанным, ибо может быть, отчасти, благодаря вам, попал в этот образцовый лазарет и на пути к выздоровлению.

— И не благодарны за это ей, нашей Царице, старшей сестре.

— Нисколько, юноша, Она обязана это сделать, и она и сотой доли своего долга не отдала мне.

— Обязана? Но почему? За что она обязана? А делать самой операцию надо мною? Возиться над моим телом, ходить за мной! Тоже обязана! задыхаясь и торопясь сказал Алеша.

— Эх, юноша! юноша! Вы слышали что такое садизм?

— Нет.

— Ну, ладно... А о половой психопатии, или истерии слышали?

— Очень мало.

— Все они, и старшая сестра и ее дочери в лучшем случае больные женщины — истерички.

— Как вы можете это говсрить!

— Продукт вырождения, юноша.

Алеша молчал. В его голове это не укладывалось. Он видел сильную высокую императрицу, красавиц великих княжон и не мог понять, как могут они быть продуктом вырождения. Верцинский точно угадывал его мысли.

— Вы не смотрите на то, что они телом такие здоровые и сильные, хотя Татьяна и телом худовата. Это бывает. В здоровом теле есть такой нервный излом и вот от этого-то нервного излома и идет это всё. И лазарет с красивыми молодыми офицерами и игры с ними, а более того Распутин.

Это страшное имя было произнесено. Алеша боялся, что с этим грязным именем будет связана та, кого он любил больше жизни. О Распутине он не знал ничего определенного, но уже слышал. Заставить замолчать Верцинского, уйти от

него он уже не мог. С непонятным жутким сладострастием ему хотелось слушать всё то худое и грязное, что тогда говорилось про Царскую семью.

— Ни меня, — продолжал Верцинский, ни штабс-капитана, вашего соседа, у которого вчера отняли ногу по бедро, а сегодня он умер, сами не оперировали, даже и не глядели на нас. Мы им не интересны. Тут смотрят и оперируют молодых, красивых, которые бьют на чувственность, раздражают нервы... Да, это дополнение к Распутину, к той страшной гангренозной язве, которая поразила императорский дом, накануне его падения.

И опять Алеша молчал. Он хотел возразить, но чувствовал, что то, что он скажет будет шаблонно и ни на чём не основано. Верцинский же говорит что-то значительное и умное, что еще юнкером он немного слышал, что чуть-чуть слышал в полку и чего никак не понимал. Для него это всё соединялось в одном ужасном слове: революция и в этом слове он видел сейчас самое страшное: — угрозу спокойствию Татьяны Николаевны.

Но не слушать он не мог. Зеленоватые глаза Верцинского, большие и злобные, приковали его к себе, как змея приковывает своим взглядом.

— Закон истории нельзя миновать. Российский императорский дом шатался не раз. После прославленной и воспеваемой насмешливыми льстецами императрицы Екатерины был сумасшедший Павел. Тогда должна была быть Русская революция... Но, с одной стороны, Русское общество еще не созрело, с другой, великая французская революция пошла по уродливому пути и вылилась в Бонапарта — у нас дело кончилось дворцовым переворотом и новым преклонением перед полоумным мистиком Александром. А там и пошло. Держали народ в темноте, ласкали дворянство и держались. Но гнилой плод всё равно должен упасть: — это закон тяготения. Распутинскую язву видят все, не видите её только вы, одурманенный самую глупую болезнью — влюбленностью.

— Кто такое Распутин? — спросил Алеша и сам испугался своего вопроса. Он понял, что сейчас откроется что-то страшное, что-то такое, что вывернет ему душу наизнанку.

— Распутин — любовник истеричной царицы и купленный императором Вильгельмом негодяй, притворяющийся юродивым. — Распутин это альфа и омега надвигающейся Русской революции, это ее краеугольный камень и последняя капля, переполняющая чашу Русского самодержавия, — проговорил Верцинский и, казалось, сам любовался законченностью своего определения.

— Но, говорят... я читал, это простой мужик, — сказал Алеша.

— Ну так что же, что простой мужик.

— Как же он может приблизиться к Императрице?

— Э! юноша. У него есть то, что ей нужно. Не беспокойтесь, пожалуйста. И Мессалина искала простых легионеров и гладиаторов, а не изнеженных сенаторов и римских всадников.

Алеша молчал, поникнув головой.

— И потому, юноша, — продолжал Верцинский, — взвесьте самого себя и, если чувствуете в себе достаточно силы и приятности, дерзайте, а вздыхайте и влюбленность свою отбросьте. Сантименты разводить тут нечего. Чем наглее вы будете действовать, тем больше у вас шансов на успех. Помните одно, что на невинность вы не наткнетесь. Распутин давно перепортил девочек.

Алеша не слышал, или сделал вид, что не слышал последних слов. Он сидел подавленный и тупо глядел на светлую стену, покрашенную масляною краской.

— Как же вы говорите, что Распутин краеугольный камень Русской революции. Вы называете его гнилым, мерзавцем... Но, если на этой мерзости и грязи вы построите Русскую революцию, то, что же она будет представлять из себя, как не ужасную мерзость... И не верю я вам!.. — воскликнул со слезами в голосе Алеша. И ни в какую революцию я не верю! Мы, казаки, не допустим этого! Как не допустили в 1905 году...

И Алеша быстро отошел от Верцинского, как отходят от гада, от змеи и, подойдя к своей кровати, рухнул на нее и лег, устремивши пустые глаза в окно.

„А юноша не так глуп“, — думал Верцинский. „Иногда сравнение приводит к неожиданному открытию. Распутин как

краеугольный камень революции не приведет ли ее к гнилому концу? Чорт знает, в какой ужасный тупик загнана Россия. А впрочем — и чорт с ней! Туда и дорога. Лоскутная страна рабов, пьяниц и сифилитиков!”

Х.

Эту ночь Алеша не спал. Голова его пылала, тело томилось зноем страсти. Против воли распаленный мозг рисовал картины, одну ужаснее другой. Он видел то, о чем никогда не смел думать. Он лежал с закрытыми глазами, укутавшись с головою в одеяло и рыдания подергивали его тело.

Это неправда! Это гнусная клевета. Это выдумка этих страшных людей, от которых меня всегда предостерегал отец и воспитатели в корпусе, это наглая клевета социалистов.

Но недоступная раньше даже и в мечтах Татьяна Николаевна стала доступной. Уже не необычайные подвиги, не взятие в плен Вильгельма кидали ее в объятия Алеша, но привлекательность Алеша, как мужчины. Он вспомнил, что одна великая княгиня полюбила и вышла замуж за простого кавалерийского офицера, история напомнила ему про Потемкина, Орлова и Разумовского. „Держайте!” — властным приказом стучали в его мозгу слова Верцинского и каждый раз с его молодого тела кричал ему, что он может держать.

Голова горела, как в жару. Кровь бурлила, тяготило одеяло, жгла лицо подушка. Он сбросил это всё и, полунагой, отдавался тишине ночи, ловя ее звуки.

Кто-то прошел наверху, мягко ступая, и под тяжелым корпусом чуть скрипел паркет. Стала бледнеть и желтеть опущенная штора и вдруг погасли синие ночные электрические лампочки. От большого окна потянуло утренней свежестью и прохладой и неуловимый запах осени, прелого листа, холодных рос и спелого хлеба, пошел от него. На дворе фырчал автомобиль, топотали железными подковами по камню лошади, гремела накатываемая телега. Жизнь начиналась в лазарете. В палате были три койки — одна была свободна — умершего после операции штабс-капитана. Вер-

цинский спал в углу, закутавшись с головою в одеяло и дыхания его не было слышно.

У Алеши отяжелели веки, дрема грозно наполнила их и они крепко сомкнулись. Благодетельный сон юности сковал и разметал его члены. Снилось что-то невероятно прекрасное, мучительно сладкое.

Алеши проснулся. Затекая голова вспотела и сильно стучало в виски. Во всем теле была истома и не хотелось шевелиться. Хотелось снова закрыть глаза, чтобы продолжался этот волшебный сон.

Но над ним стояла сестра Валентина. Она расправляла на нем простыню и накрывала его одеялом. Сестра Рита принесла чай с лимоном и хлеб с маслом. На столике в стакане увядали прекрасные хризантемы, принесенные вчера Татьяной Николаевной. Было мучительно стыдно и вместе с тем легко и радостно на сердце. Тяжесть спала с души и хотелось смеяться и обнять весь мир в ласковом приветеле.

— Ну вот вы поправились и поздоровели, — приветливо улыбаясь сказала сестра Валентина. — Я скажу доктору и вам разрешат прогулки на воздухе. А там пошлем вас на месяц, или на два в санаторию в Крым и вы будете снова так здоровы, как будто бы вас никто и не ранил.

Рита пошла с подносом дальше. Сестра Валентина хотела тоже идти, но Алеша удержал ее движением руки.

— Сестра Валентина! Сестра Валентина! — мучительно краснея, проговорил он.

— Что, дорогой мой? — сказала ласково сестра Валентина и села на тот стул, на котором вчера сидела она.

— Сестра Валентина, устройте так, чтобы мне отсюда никуда не уезжать. Не нужно Крыма. Я поправлюсь здесь много лучше. А отсюда прямо на фронт и там — умереть...

Алеша замолчал. Прекрасное лицо его было взволновано. Большие глаза смотрели с мольбою в лицо сестры Валентины.

— Скажите мне, сестра Валентина... Скажите правду. Для меня это так важно... Что такое Распутин?.. И есть ли.. Есть ли хотя что-либо... Осмелился ли он... И Ее Императорское Высочество великая княжна Татьяна Николаевна.

Лицо сестры Валентины вспыхнуло. В карих умных глазах загорелся огонь негодования.

— Как вам не стыдно, Карпов! Верить этой гнусной клевете. Эти прекрасные девушки, отдавшие свою молодость тяжелой работе по уходу за ранеными, чисты, как первый снег. Они ненавидят Распутина и Распутин никогда к ним не приближается. Да и вообще всё то, что рассказывают про Распутина и старшую сестру, неправда. Распутин застрашал ее своим колдовством и влиянием на здоровье Наследника. Старшая сестра больна от этого. Ее пожалеть надо. Вы, офицеры, должны всеми силами бороться с этой страшной клеветой, пущенной нарочно врагами России, чтобы свалить и уничтожить Россию. Карпов! вот идет она! Посмотрите в ее чистые, честные, прекрасные глаза, неужели вы можете поверить, что эти глаза могут лгать? К вам идет девушка, полная святой чистоты и прекрасной христианской любви к ближнему. Ее можно только боготворить!

— Я обожаю ее, — прошептал Алеша.

К его постели подошла Татьяна Николаевна.

— Татьяна Николаевна, — сказала сестра Валентина. — Мы с Карповым только что говорили о вас. У вас еще новый поклонник. Вы покоряете сердца нашей Армии.

— Умереть за вас, Ваше Императорское Высочество, было бы величайшее счастье для меня, — сказал Карпов.

Сестра Валентина встала и на ее место села Татьяна Николаевна.

Все ночные страхи и думы исчезли при одном взгляде на Татьяну Николаевну. Честно и прямо смотрели ее большие, чуть выпуклые серые глаза и сверкало блеском юности молодое лицо с бледным румянцем; при улыбке сквозь розовые губы, горели чистым жемчугом прекрасные зубы. Тонкий аромат духов донесся до Карпова.

— Карпов совсем молодцом, Татьяна Николаевна, — сказала сестра Валентина. У вас легкая рука. Все ваши раненные быстро поправляются. Вот и Карпову мы сегодня устроим ванну и, если врач позволит и рана не откроется, завтра мы разрешим ему прогулки и переведем в отделение для выздоравливающих. Благодарите сестру Татьяну, Кар-

пов. Ваше положение перед операцией мы считали почти безнадежным. Сердце было так близко, а нагноение остановить казалось невозможным.

— Я не знаю, как мне благодарить, — сказал Алеша. Что я могу? Я могу только умереть за вас, сестра Татьяна. И я умру в бою за вас.

Он смотрел на Татьяну Николаевну такими влюбленными глазами, что она смутилась.

— Как ужасно умер Никольский, — сказала она, указывая глазами на пустую койку. Всё не хотел, чтобы ему ногу отнимали. И вот видно, поздно было.

— Что делать, Татьяна Николаевна. Видно Богу так угодно.

— Говорят, прекрасный офицер. Отличный батарейный командир. Осталась семья. Мы были на панихиде. У него красавица жена и трое малюток детей... Пейте же ваш чай, Карпов. Мы вам мешаем. Я вам намажу масло на хлеб. Хорошо?

Белые пальцы ловко намазали булку маслом. Алеша приподнялся и стыдливо прикрывая свою грудь и шею одеялом, — он был еще без халата, — начал есть эту булку как какой-то священный хлеб.

— Вянут мои хризантемы, — поправляя цветы, сказала Татьяна Николаевна, — ну ничего, я вам принесу новых. Как хорошо, что вас скоро переведут в палату для выздоравливающих. Там гораздо веселее. Ольга будет играть на фортепьяно, мы будем играть в рубль. Вы знаете эту игру, Карпов?

— Нет, я не знаю, — отвечал Алеша.

— Это очень просто. Я вас научу.

Да, всё клевета. Это страшная работа бесов разрушителей России, работа, не останавливающаяся ни перед чем, даже перед этой невинной красотой. Татьяна Николаевна показалась ему еще прекраснее, еще дороже. Точно он потерял ее и теперь нашел снова. Царевна сказки снова была перед ним. Разговор с Верцинским был чудовищным кошмаром и Верцинского он теперь ненавидел всеми силами души. Татьяна Николаевна сидела против него и ласково болтала и слушала рассказы Алеша про полк, про знамя, про ка-

заков, про то, как страшно идти в головном разъезде и напряженно ждать глухого стука выстрела и свиста пули. Сестра Валентина подняла штору и, стоя у окна, смотрела на двор, на противоположный флигель госпиталя, и забота не сходила с ее лица.

— Простите, Татьяна Николаевна, — сказала она. — Я пойду. Надо принять и приготовить белье из прачешной. Сегодня ожидается поезд с ранеными юго-западного фронта.

— Я пойду с вами, — сказала Татьяна Николаевна. — До свиданья, Карпов. Будьте умницей. Знайте, что вы мне дороги.

Она кивнула ему точёной головкой. Он не посмел попросить у нее руки на прощанье и влюбленным взглядом провожал ее, пока она не вышла из комнаты. Они проходили мимо Верцинского. Верцинский проснулся. Его худое лицо тонulo в подушке. Торчал, как у покойника, обострившийся нос и глаза смотрели мрачно и злобно.

Татьяна Николаевна прошла мимо, даже не посмотрев на Верцинского. Точно бессознательно она ощущала дыхание той злобы и непримиримой ненависти, которая жила в этом человеке.

XI.

В просторной столовой отделения для выздоравливающих собралось человек двенадцать офицеров в чистых изящных халатах, была Императрица со всеми четырьмя дочерьми, сестра Валентина, сестра Рита и еще несколько сестер и служащих лазарета.

Великая княжна Ольга Николаевна только что кончила играть на рояле и все сидели молча, не смея хвалить мастерскую игру Государевой дочери.

Был октябрьский вечер. За окном сыпал дождь и иногда с налетающим ветром барабанил по стёклам. Здесь, в ярко освещенной электричеством столовой, было тепло и уютно. Служители разносили чай, хлеб и сласти. В углу Карпов сидел с сестрой Ритой Дурново.

К сестре Рите его влекло одинаковое страстное обожание всей Царской Семьи.

— Наш родной прадед, — говорила высокая и худая, с громадными глазами, умно глядящими из-под тонких бровей, Рита Дурново, — был Суворов. И у нас у всех, у меня, у моих сестер и братьев над постелями висит последнее завещание Суворова: — „Сие завещаю вам: — беспредельную преданность Государю Императору и готовность умереть за Царя и Родину“.

— Да, выше этого нет ничего, — сказал Алеша. — Знаете, сестра Рита, я давно таю в себе горячее желание умереть на войне. Вы меня поймете, сестра Валентина тоже понимает... Вы скоро услышите, что я убит. Тогда скажите Татьяне Николаевне, что это я для нее убит.

— Вы влюблены в нее, — прошептала Рита. — Как я понимаю вас, Алексей Павлович! Правда, в нее нельзя не влюбиться и именно так, чтобы умереть за нее. Ведь она сама грёза. Вы знаете, что я посвятила всю себя им. Для меня нет ничего выше, ничего лучше, как им служить. Что бы ни было, я останусь им верна. Я никогда и нигде их не покину, хотя бы это мне стоило жизни.

— А разве что-нибудь грозит им? — понижая голос почти до шопота, сказал Алеша.

— Ах, не знаю, не знаю... Но говорят. И временами так страшно становится от этих разговоров. Скажите, Алексей Павлович, вы уверены в верности своих казаков?

— О, да! — сказал Карпов. — Вы знаете, сестра Рита, что наш казак и солдат, сколько я понимаю, сам ничего худого не сделает. Нужны вожаки. Его может повести на хорошее и худое только интеллигенция, только офицеры.

— А как офицеры?

Карпов вспомнил Верцинского и задумался.

— Я наблюдаю их здесь в лазарете, сказала Рита, кроме того, у меня шесть братьев. Знаете, Алексей Павлович, страшно становится. Всё лучшее погребло на полях Пруссии и Галиции ради спасения Франции. Вот неделю тому назад мы хоронили штабс-капитана Никольского. Какой это был офицер! И сколько таких мы схоронили. У меня брат офицер Лейб-Гвардии Егерского полка, — он мне говорил, что не узнает полка. Восемьдесят процентов новых людей, прапор-

щики ускоренных выпусков, из студентов и гимназистов, люди совершенно не имеющие гвардейских традиций. И так везде! Здесь стоят запасные батальоны гвардии; я вижу офицеров — я молода, неопытна, но я вижу, что это не то. Как позволяют они себе говорить про священную особу Государя, как ведут себя на железной дороге и в трамваях. Я гляжу и мне страшно. А что, если это начало конца. О, никогда, никогда, что бы ни случилось, я их не покину. Мой прадед завещал мне беспредельную преданность — и с нею я умру.

— Рита, — звонким грудным голосом сказала Ольга Николаевна, что вы там шепчетесь с Карповым? Идите играть в рубль.

Офицеры и великие княжны сели за стол.

— Карпов идите сюда, позвала его Татьяна Николаевна, и Алеша почувствовал, как горячая кровь хлкнула по его телу, и покраснел до корня волос. Он сел рядом с ней.

У всех играющих руки были под столом. Один молодой поручик гвардейского пехотного полка, раненый в руку и уже совершенно оправившийся, внимательно следил за лицами и за движениями плеч играющих, стараясь угадать, у кого из них в руках остановился серебрянный рубль. Сидевшие за столом нарочно толкали друг друга, перешептывались, делая вид, что стараются незаметно передать рубль через соседа, чтобы ввести в заблуждение отгадчика.

— Карпов, у вас, — крикнул отгадчик, но Карпов проворно поднял свои руки и показал пустые ладони.

Алеша знал, что рубль давно находится в мягких и нежных пальчиках Татьяны Николаевны и что, по молчаливому соглашению между ними, он никуда дальше не пойдет. Было страшно, если отгадчик назовет имя Татьяны Николаевны. Тогда для Карпова пропадет всё обаяние нагретого мильми ручками рубля. Оба, — Татьяна Николаевна и Алеша, сидели с сильно бьющимися сердцами и пустая игра вдруг получила для них какую-то особую, непонятную им самим важность. Но отгадчик подумал, что, если он был близок к тому, чтобы угадать, то теперь рубль уже ушел куда-либо далеко в сторону. Он оглянул стол, стараясь по веселым раскрасневшимся лицам угадать, у кого пригаился рубль.

— Мария Николаевна, у вас? — сказал он.

Еще девочка, великая княжна Мария Николаевна, весело засмеялась и протянула почти к самому лицу отгадчика свои пухлые ладони.

Алеша держал свою руку в руке Татьяны Николаевны. Горячий рубль лежал между его и ее пальцами. Его пальцы касались ее колена и чувствовали материю ее серой юбки. Запах нежных духов пропитывал его руку.

— Татьяна Николаевна, — чуть слышно засохшими губами прошептал Алеша, — ради Бога, никому не передавайте рубля, отдайте его мне навсегда, на память, и кончите игру.

Маленькая рука с рублем крепко сжала руку Алеши и долго держала так в дружеском пожатии. Карпов чувствовал тонкое биение пульса каждого пальца. Он испытывал величайшее счастье.

— Капель, ну, у вас, — сказал отгадчик, которого начало сердить и утомлять то, что он не может напасть на верный след.

— Господа, довольно, — капризным тоном сказала Татьяна Николаевна. Давайте лучше играть в отгадывание мыслей — и, говоря это, она еще раз сжала руку Алеши и оставила в ней горячий рубль.

Все согласились. Игра действительно не удавалась. Кто-то удерживал рубль, а водить пустыми руками, не чувствуя в них предательского рубля было не интересно.

Императрица сидела в углу с сестрой Валентиной.

— Только здесь, среди этой молодежи, я и отдыхаю, — сказала она. — Посмотрите, как оживилась моя Татьяна. Я давно не видала ее такой. И как мил этот Карпов. Он очень воспитанный человек. Вы мне говорили, сестра Валентина, что его отец убит на войне, вот теперь, недавно.

— Да, год тому назад. Еще года нет. На реке Ниде.

Бедный молодой человек, И сколько, сколько таких осиротелых семей! Ах, сестра Валентина, надо, надо кончить войну. Нам не под силу сражаться с ними.

Сестра Валентина молчала. Она низко опустила голову на грудь.

— Нам надо раньше победить, Ваше Императорское Величество, — тихо сказала она и стала теревить край своего белого передника.

Императрица не отвечала. Она встала, за нею поднялась и сестра Валентина. Императрица отправлялась во дворец раньше, нежели обыкновенно. Она была расстроена. Сестра Валентина чувствовала себя виноватой в этом, но она не могла поступить иначе, да Императрица ее и не обвиняла. Она понимала ее, но знала, что ее-то никогда и никто не поймет.

ХII.

Эти полтора месяца были для Алеши горением на медленном огне. Ежедневные встречи; милые недомолвки; ласки взглядом, пожатием руки, маленьким подарком, то цветов, то конфет, то книги; длинные задушевные разговоры, но разговоры далекие, чуждые любви. То она расскажет про свои шалости с Алексеем, которого они, все сестры, боготворили, или про то, как в недавнюю поездку Анастасия Николаевна забралась в вагоне на сетку для багажа, укуталась пледом, взяла пузырек с водою и капала из него на голову старому генерал-адъютанту, сопровождавшему их, к великому смущению ее, Ольги, и Марии; то он станет рассказывать ей про казаков, про жизнь в станице, про Новочеркасск. Казаки в его описании выходили сказочными героями, чудо-богатырями. Его рассказы были пропитаны любовью, которою горело его сердце.

— Как я рада, что они такие, — говорила Татьяна Николаевна, а то, говорят, что они плохо сражаются и много гибнут.

Потом Алеша рассказывал про свой полк, про новое синее с серебром знамя, про свою лошадь. Она **обожала** лошадей. Она любила читать книги, где было написано про лошадей, и, если истории были печальные, она плакала и сердилась на автора. В те дни, когда она не могла быть в лазарете, она посылала ему через сестру Валентину маленькую записку с милым приветом. На широком листе плотной английской бумаги разгонисто, еще детским почерком было напи-

сано несколько ничего не значущих слов, а внизу стояла подпись: „сестра Татьяна”.

Иногда ему удавалось выпросить у нее позволение поцеловать ее руку. Она давала ее, смеясь, но сейчас же отдергивала. Он несколько раз напоминал ей про чудный день 23 сентября. Она спросила: „да что было?” Он покраснел и, запинаясь, сказал:

— Я был так счастлив тогда. Я думал, что умру от счастья. Вы поцеловали меня тогда.

— Ах, да, — лицо Татьяны Николаевны стало серьёзным. — Мне было тогда так жалко вас, — сказала она.

— Я поклялся в тот день, что умру за вас.

Татьяна Николаевна подумала, что на войне офицеры должны умирать, без этого не будет победы. Она серьёзно посмотрела на Алешу. Ей стало жалко его. „Но, это его долг”, — подумала она, — „и для него это счастье умереть за Родину”.

— Старайтесь не думать об этом, — сказала она.

— А вы помните, как вы поцеловали меня? — спросил он.

Она не помнила. Но она почувствовала, что огорчит если скажет прямо, что не помнит и она сказала: — да, помню. Вы хороший, Карпов. Я хочу, чтобы вы всегда были хорошим. Любите меня. Мне сладко и хорошо сознавать, что такие люди, как вы, любят меня. Но не думайте о глупостях! Поцелуй, это глупости! Этого не надо. Но помните о 23 сентября. Всегда помните. Может быть, вам станет когда-нибудь очень трудно, вы вспомните о том, что я люблю вас, что я молюсь за вас и вам станет легко.

Каждую субботу он ходил ко всеобщей, а воскресенье к обедне в Федоровский собор. Построенный в строгом стиле древних Русских церквей, этот маленький собор производил глубокое впечатление. Тихо горели огоньки в разноцветных лампадах, придворный хор пел мягко и красиво. На правом клиросе стояла Императрица с дочерьми. Карпову сладко было обмениваться взглядами с Татьяной Николаевной и ее сестрами, чувствовать, что он признан, что его увидели, что он, как бы свой. Священник, отец Александр Ва-

сильев, служил проникновенно. Хор мягко трепетал сдержанными звуками, и тихие напевы ряли под росписными сводами. Служки в темно-малиновых стрелецких кафтанах, в цветных сапогах, тихо ходили по церкви... Неподвижными рядами стояли казаки конвоя и солдаты Сводно-гвардейского полка. Когда наступал момент петь „Отче наш”, — пели все прихожане. Алеша сильным чистым баритоном покрывал тихое гудение казачьих и солдатских голосов и вел их за собою. Императрица и великие княжны стояли на коленях, но Алеша чувствовал, что его слышат и его слушают, и голос его звенел полный уже несдерживаемой страстной мольбы.

Алеша любил чисто. Ни одна греховная мысль не прорезала его мозг. Она была для него не только его любимая, но и Царская дочь, великая княжна, и это усиливало остроту чувства и доводило любовь до экстаза.

Он сознавал, что это сумасшествие так полюбить Татьяну Николаевну. Он сознавал, что он никого уже больше не полюбит и что жизнь его загублена, потому что полной взаимности он не получит никогда. И он обрек себя на смерть. В другое время, он застрелился бы в один из приступов неудовлетворенной страсти, — теперь он знал, что сумеет достойно умереть и спокойно готовился к этому. То, что он сделал под Железницей, уже не казалось ему геройством. Он сделает теперь большее, он сделает такое, что или умрет, или явится к ней с орденом святого Георгия, явится истинным героем, достойным ее любви. Но, если нельзя иначе — он сумеет и умереть бесстрашно.

Время шло и незаметно подкрался жуткий час разлуки. Алеша ехал на один день повидаться с матерью, а потом: на фронт, в полк.

— Карпов, — сказала сестра Валентина Алеше, когда, отправив санитаря с маленьким узелком на станцию, он собирался уходить и надевал свою шинель, — сестра Татьяна желает вас видеть, пройдите в приемную.

Сердце дрогнуло у Карпова, у него потемнело в глазах. Он бросил шинель на койку и пошел за сестрой Валентиной.

— Вот он, наш беглец. Всё на фронт, на фронт — и не долечился, как следует, — сказала сестра Валентина, отворяя

дверь и проталкивая Карпова в приемную. Дверь закрылась за ним.

В приемной, кроме Татьяны Николаевны, не было никого. Низкое осеннее солнце бросало косые лучи на паркет. За окном недвижимые стояли заиндевелые деревья сада, лишь кое-где сохранившие желтые, красные и коричневые листья. По замерзшему шоссе стучали копыта лошадей.

— Я хотела попрощаться с вами, — сказала дрогнувшим голосом Татьяна Николаевна, — мама велела передать вам ее благословение. Сама она не может принять вас. Она посылает вам этот крестик и евангелие.

Серые глаза Татьяны Николаевны стали серьезными. Она перекрестила Алешу и надела ему крестик. Ее руки и лицо были совсем рядом. Его сердце забилось так сильно, что, ему казалось, он слышит его стук.

Она положила ему руки на плечи и сказала: — Прощайте, дорогой. Да хранит вас Бог. — Она протянула ему руку. И тот поцелуй, которым он прикоснулся к маленькой руке был поцелуем страсти. Горячие губы обожгли ее и Татьяна Николаевна тихо освободила свою руку из его руки и посмотрела на него почти с испугом.

— Не забывайте меня, — сказала она и сняла со своего пальчика нарочно приготовленное колечко с алым камнем.

— Прочтите, — сказала она.

На внутренней стороне кольца было вырезано „сестра Татьяна 23 сентября 1915 года”.

— Дайте, я надену.

Она надела ему кольцо и протянула руку для поцелуя. Он снова прильнул к ее руке, и она почувствовала, что горячие слезы каплют на нее.

— Ну, будет, будет, — сказала она, тихонько целуя его полные слез глаза. — Ну, будьте мужчиной.

Она крепко пожала руку Алеше.

— Прощайте, — сказала она и вышла.

Алеша, шатаясь, подошел к стулу у окна, и сел. Слезы текли ручьями по лицу и зубы стучали. Только теперь он понял, что никогда, никогда не увидит он этого лица и не услышит любимого голоса. Краткое, как золотой майский дождь,

пролилось с неба милое Алешино счастье, и впереди ждал его последний венец — смерть.

ХШ.

В гвардейском запасном пехотном полку вывели людей на ученье. В казарме, где были помещены команды пополнения, не хватало места. Койки были сдвинуты вплотную наподобие нар, все корридоры, учебные и гимнастические залы были заняты людьми, а потому на занятия вывели на Морскую улицу, на торцовую мостовую. Старые кадровый унтер-офицер с георгиевским крестом и два молодых прапорщика ускоренных выпусков были приставлены для обучения взвода. Солдаты были одеты в шинели и кто в сапоги, кто в австрийские штиблеты, все в серых искусственного барашка папахах. Была оттепель, моросил мелкий, как сквозь сито, пронизывающий петербургский дождь и на торцу было скользко, как на ледяном катке. Солдаты с унылыми лицами маршировали, скользили и падали. Ружей на всех не хватало и те два ружья, которые были на взвод, были зажаты в прицельные станки и стояли под подъездами. Возле них упражнялись по очереди в прицеливании. Прохожие мешали солдатам, солдаты мешали прохожим. Одни прохожие умилялись тому, что все улицы загромождены обучающимися солдатами и видели в этом залог победы другие, напротив, возмущались.

— И чего держат экую уйму солдат в Петрограде. На фронт их надо посылать, да там и учить в поле, чтобы они и окапываться умели и перебежки настоящие делать — а это отдание чести, да левой, правой забыть пора, — говорили прохожие.

Оба прапорщика, забившись под ворота высокого дома, курили папиросы и разговаривали, предоставив обучение унтер-офицеру. Над всем батальоном был поставлен кадровый старый офицер, присланный из полка с позиций, но он на занятия не ходил. Он и сам хорошенько не знал, прислан ли он на очередной отдых или командовать запасным батальоном.

Второй час занимались отдаением чести с остановкой во фронт. Взводный Михайлов пропускал мимо себя людей взвода. Он требовал, чтобы против него делали остановку и здоровался от имени разных начальствующих лиц.

— Отвечай, Рубцов, как корпусному командиру: „Здорово, братец!”

— Здравия желаю, ваше высокопревосходительство!

— Не-е... Форцу настоящего в ответе не вижу. Корпусной, он любит, чтобы на „ство” было настоящее ударение. Ты начало проглоти, или скажи скороговоркой, а потом и ударь на „ство” отчетливо, по-варшавски. Ну еще раз — здорово молодец!

Прапорщики переглянулись, и младший, — Кноп, бывший студентом юридического факультета, посмотрел на часы с браслеткой и сказал старшему Харченко: — „не пора ли кончать, довольно ерундой заниматься”.

— Пожалуй, можно кончить, — отвечал Харченко.

Харченко был гимназист, совсем мальчик. Он с трудом одолел семь классов гимназии, а потом кинулся на курсы прапорщиков, чтобы не идти на войну рядовым. У него был детский неустоявшийся характер. Здесь в полку он командовал ротой в двести пятьдесят человек, но постоянно находился под чьим-нибудь влиянием и кого-нибудь боялся. Он боялся и благоговел перед младшим себя прапорщиком Кнопом, потому что тот был студент и демонстративно носил университетский значок; он побаивался серьезного и угрюмого унтер-офицера Михайлова, с его георгиевским крестом; боялся разбитного рядового Коржикова, не признававшего никакой дисциплины, но больше всего боялся своего батальонного командира, молодого изящного штабс-капитана Савельева, в прекрасно сшитом суконном френче, усеянном значками, с Владимиром с мечами, раненого в плечо, заходившего иногда в роту и всегда всё критиковавшего.

— Михайлов, — крикнул Харченко, кончайте занятия.

Михайлов собрал взвод, назначил людей отнести станки и винтовки и вызвал Коржикова запевать и идти с песнями домой.

Солдаты запели песню. Песня была новая. Она звучала придуманно и не было в ней Русского широкого размаха, ни в словах, ни в напеве. Плаксиво грустно говорилось о покинутой семье, прощались с домом, шли не разить врага и побеждать его, шли умирать. Шаг под нее выходил размеренный, медленный и короткий. От этой песни с души **рвало**, по выражению Михайлова, но переменить ее он не мог. Ее пели везде. Ее придумали и принесли вот эти самые прапорщички, которых не любил и не уважал Михайлов. „Побежишь после такой песни”, — выговаривал он как-то Коржикову, — „разве это солдатская песня? Ни Царя, ни отечества в ней нету. Ноги не слышно. Песня должна быть такая, чтобы тебя за душу хватала и вперед бросала, а то что, слезы одни, да „прощай, прощай!”... Ты бы спел про „песни Русские, живые, молодецкие, золотые, удалые, не немецкие!”

— Я таких песен, господин взводный, не знаю. Пойте тогда сами, — говорил Коржиков, принимая почтительную позу перед Михайловым и нагло глядя ему в глаза.

„Пойте сами”, — вот в этом-то и загвоздка была, что и Михайлов и его помощники, кадровые солдаты, были не певуны и насчет слов знали мало. Толкнулись к прапорщичкам, но и те в этом деле ничего не понимали.

— Ну, погодите вы, — идя за взводом с тоскою думал Михайлов, — погодите вы, уже я вас на позиции!

Но при мысли о позиции тоска еще сильнее сжимала его сердце. — „А кто выучит там”, — думал он с горечью. „Ротного, капитана Себрякова, еще в начале войны убили, старшего субалтерна поручика Сенеокова, ух, душевный парень был, — пятью пулями в завислянском походе уложило, только после пятой и упал, а то всё шел впереди роты, младшего субалтерна подпоручика Фонштейна в первом же бою, как приехал из училища, убили. Да и кто из старых господ офицеров остался — никого в полку нет. Всё новое, молодое, неумелое. Подойти к солдату не умеют. Это разве модель, чтобы солдат волосы, как девка чолкой запускал? А Коржиков носит. Прапорщик Кноп ему разрешил. И кто такой Кноп? Не то немец, не то жид. Может, и правда жид, а что скубент, так и не скрывает этого. Господи, Твоя воля

— полтора часа поучились и уже размокли, под воротами стоючи. И кто их направит! Фельдфебеля Сидора Петровича убили, обоих сверхсрочных тяжелым снарядом пришибло”, — продолжал тяжкие думы Михайлов — „разве теперь это гвардейский полк? Срам один! Солдаты в обмотках, всё одно, как австриец рваный!... А мы-то пели: — „Русский Царь живет богато, войско водит в сапогах, ваша ж рать есть оборанцы, ходит вовсе без чувак”... Гвардия!” — Михайлов презрительно плюнул, — „одно имя осталось! Какая гвардия, когда ни Себрякова, ни Синеокова, ни Фонштейна, ни Сидора Петровича, никого из старых солдат нет!? Эти разве гвардия!?”

— Иди в ногу, чортов пес! — крикнул Михайлов в бесильной злобе и толкнул заднего солдата так, что тот пошатнулся.

— Михайлов, — голосом классного наставника окликнул его Кноп с тротуара, — попрошу вас не драться. Оставьте ваши полицейские привычки.

Михайлов те два года, что был в запасе, служил в Петроградской полиции и прежние господа одобряли это, говорили ему, что хорошо, что он не оставил службы и не распустился, а тут — на поди!...

По приходе в казарму Харченко и Кноп пришли в канцелярию и вызвали Михайлова к себе на совет. Оба никак не могли научиться говорить Михайлову ты. На Харченко действовала внушительная фигура унтер-офицера и его крест; Кноп говорил вы отчасти по убеждению, что нельзя никому говорить ты, отчасти из презрения к Михайлову, как бывшему городовому. Михайлова же это холодное вы оскорбляло.

— Михайлов, — начал Харченко, — мне совсем не нравится, как вы ведете занятия во дворе. Скажите по совести, разве это вы видали на войне?

Михайлов молчал, тупо глядя на юное, без усов и борды, лицо прапорщика и заставляя себя видеть в нем офицера и прямого начальника, а не гимназиста, делающего скандал на улице.

— Нет, вы скажите, Михайлов, — вмешался, визгливо обрываясь на высоких нотах, Кноп, вы скажите — оддание

чести с остановкой во фронт, а? Это в область преданий должно отойти. Это Николаевщина! Или ваши манеры при обращении к солдату. Теперь, Михайлов, солдат образованный, в нашем взводе шесть человек с высшим образованием, а вы ругаетесь.

— Оставьте, Борис Матвеевич, сказал Харченко. Вы мне скажите, Михайлов, что вы делали на войне?

— Стреляли... Кололи, били прикладом, окапывались.

— Значит, что нужно солдату, чтобы уметь воевать? — мягко спросил Харченко.

— Первее всего солдат должен понимать дисциплину, — мрачно сказал Михайлов.

— Ну, это хорошо. Не это главное, а по отношению к неприятелю, что должен делать солдат?

— Потому, как без дисциплины войско становится, как орда, занимается грабежом, бежит от врага, — продолжал говорить Михайлов.

— Всё это ладно, но вот вы сказали, что надобно, чтобы окапываться, стрелять, колоть штыком, — вкрадчиво сказал Кноп, вот этому и надо учить.

— Так точно, — еще мрачнее проговорил Михайлов.

— Ну вот, ну вот... Сами понимаете. Вот и учить этому окапыванию, стрельбе, колоть, ну, словом, военному искусству, а не шагистике, — торжественно сказал Кноп.

— Ваше благородие, с мольбою в голосе, обращаясь к Харченко, сказал Михайлов, — ну как же я учить буду окапываться на торцовой мостовой и без лопат, ну как же стрелять, или колоть, ежели одна винтовка на весь узвод... Я хочу, чтобы дисциплину, а они даже остричь солдата по форме не позволяют. Ваше благородие, что же это! Ведь, на войну готовим!

Харченко был смущён и молчал.

— Хорошо, хорошо, Михайлов, — сказал он, я поговорю об этом с командиром батальона.

Он уже и не рад был, что затеял этот разговор, но его подбил на это Кноп.

— Чем теперь заниматься прикажете? — спросил Михайлов.

— А что там по расписанию?

— Гимнастика на снарядах и сокольская.

— Ну вот и займитесь.

— Так что, ваше благородие, снаряды поставить негде.

— Ну, как же Михайлов... Ну тогда...

— Может быть, дозволите заняться словесностью, уста-

вы подтвердить.

— Ну, хорошо... Да...

В двери канцелярии просунулся молодой человек, красивый, бритый, с прической на пробор и большим клоком волос, выпущенным на лоб, в солдатской собственной хорошо сшитой в сборку суконной рубахе и шароварах, шитых у хорошего портного, и нагло посмотрел на прапорщиков.

— Коржиков, что вам? — спросил Харченко.

— Дозвольте поговорить, — сказал молодой человек.

— Хорошо. Так ступайте, Михайлов. Значит, займетесь словесностью. Пожалуйста, Коржиков.

XIV.

После убийства полковника Карпова, Коржиков перебежал к австрийцам. За те ценные показания о расположении и настроении Русских войск, которые он сделал в австрийском штабе, ему удалось получить свободу и он пробрался в Швейцарию, в Зоммервальд. Он думал, что он там никого не застанет, но, к его удивлению, Коржиков, Бродман и все члены семерки были на местах. В доме Любовина был организован их боевой штаб. Только что окончилась конференция интернационалистов в Циммервальде и на ней была принята формула, предложенная Лениным.

— „С точки зрения рабочего класса и трудовых масс всех народов России, наименьшим злом было бы поражение царской монархии и ее войск”. —

По поводу этой формулы среди эмигрантов шли разговоры. Ее считали слишком резкой. Для членов семерки не было тайной, что Ленин получил крупные деньги от германского правительства и это многих отшатнуло от него. Отошел от него Федор Федорович. Но Ленин назвал их „социал-

предателями” и замкнулся в работе с тесной кучкой преданных ему людей, исключительно евреев.

Бродман был в этой группе. Он вызвал Коржикова к себе, долго беседовал с ним, ездил с докладом о нем в центральный комитет и затем, с глазу на глаз, передал Виктору следующее:

— В Швеции, германским правительством организована специальная контора для пропаганды в войсках, воюющих с германской коалицией. Мы должны использовать эту контору в своих целях, в целях мировой революции. Вы должны отправиться туда, а оттуда в Россию, где стараться поднять социальное движение, организовывать забастовки, революционные вспышки, готовить сепаратизм составных частей государства, устроить гражданскую войну и агитировать в пользу разоружения и прекращения кровавой войны. Такова общая директива германского правительства. Она вполне совпадает с задачами нашей партии. Вы назначаетесь руководителем семерки, которая будет работать в Петрограде. Войдите в связь с членами Государственной Думы: — Петровским, Бадаевым, Муратовым, Самойловым и Шаговым...

Бродман нервно засмеялся.

— Вы видите, — все Русские. Вам бояться нечего.

— Да хотя бы и не Русские, — сказал Коржиков. — Мне это все одно. У меня **этого** нет.

— Вам помогут поступить в войска под вашим именем. Ваша задача развратить и изнежить солдат так, чтобы они боялись идти на фронт. Ну, не бойтесь, товарищ, вам все помогут. Развращайте в лазаретах, кинематографах, театрах. У нас теперь на это большие средства и само общество за нас. Всё готово! Говорите, пишете, толкуйте одно: на войне единственный страдалец и герой — солдат. Поднимите солдата на высоту и втопчите в грязь офицера! Про офицеров говорите только скверное.

— Как же мы это сделаем? — сказал Коржиков. Таких, как я, немного.

Бродман опять засмеялся.

— Не беспокойтесь, товарищ, вся Русская интеллигенция вам бросится помогать. Ведь это стадо трусливых ба-

ранов и нужно только втиснуть ее в армию и она, как гни-
лостный микроб разложит ее. Помогайте всячески созда-
вать на помощь интендантству и военно-санитарному ведом-
ству союзы городов, земские, дворянские... какие хотите.
Устраивайте туда молодежь, не желающую умирать, а в прес-
се и в полках поднимайте шум о том, что тяжесть войны
ложится неравномерно между господами и народом и указы-
вайте на эту уклоняющуюся молодежь. — Помните одно,
товарищ, что нам надо теперь валить уже не царя и трон, —
эти свалятся сами, но нам надо свалить всю интеллигенцию,
доказать народу, что она его обманывает и обирает, посеять
вражду к ней и создать солдатскую диктатуру. Чем глупее
и хуже будет это правительство, тем лучше. Когда всё бу-
дет готово, явемся мы и станем править по-своему. Тогда
наступит истинный социализм и мы сбросим капиталистов
и уничтожим империалистически-буржуазный строй. Соз-
дайте неслыханный разврат в тылу. Разврат открытый, на
глазах у всех. Старайтесь пошатнуть веру и церковь, сде-
лайте из солдат сознательных рабочих, поставьте политику
и принадлежность к политической партии краеугольным
камнем, добейтесь, чтобы партийность стала порядочностью
и вы разрушите колосса на глиняных ногах. — Чем хотите: —
анекдотами, песенками, театром, — сделайте, чтобы быть
генералом стало стыдно, а солдатом почётно. Играйте на
преклонении общества перед солдатами и постепенно соз-
дайте такого солдата, в котором ничего солдатского не было
бы. Ждите момента. Когда настанет усталость от войны,
мы ударим всеми силами, по всему фронту и объявим от-
крыто наши лозунги: — долой войну! Мир хижинам, война
дворцам. Да здравствует пролетариат! — Создавайте из пре-
ступников героев и привлекайте уголовный элемент на свою
сторону. Наша тактика противопоставить государю — Госу-
дарственную Думу и общественных деятелей и одновремен-
но посеять вражду между общественными деятелями. Всели-
те к ним недоверие, внушите толпе, что солдаты и рабочие
единственные чистые люди в России и подберите из среды
их самых развращенных негодяев. Посмотрим, кто победит!
Чье сердце окажется сильнее? Сердце пылающее любовью,

или сердце пропитанное ненавистью. Христиане говорят, что у них в жизни должно быть три путеводных маяка — **Вера, надежда и любовь** и любовь из них главная — мы будем сеять: — **безверие, отчаяние и ненависть** и ненависть больше всего. Посмотрим, устоит ли Христос?

Виктор торжествовал. Это было именно то, что так нравилось ему. После того, как лунною зимнею ночью он свалил выстрелом Лукьянова, а потом полковника Карпова, он почувствовал сладострастную радость в убийстве человека. „Вот был”, — думал он — „полковник Карпов, его все любили и уважали и им держалось много людей, а вот нет его и не будет никогда, и это сделал я. Я тот, кто несет смерть и разрушение. Есть люди, которые служат Богу и ангелам, — что у них? — нищета и голод! Я послужу диаволу и посмотрим, кто сильнее: диавол или ангел?” Но главное, что восхищало Коржикова в учении Бродмана было то, что оно открывало ему путь к веселой жизни и открытому разврату, что так отвечало его пылкой и страстной натуре.

Из Швейцарии, через Германию, Коржиков пробрался в Швецию, а оттуда в Петербург, где без помех поступил на службу в гвардейский запасный батальон. Снабженный и снабжаемый широко средствами, Коржиков весь отдался выполнению программы, продиктованной ему Бродманом.

XV.

— Я к вам, ваше благородие, — развязно сказал Коржиков, становясь у дверей канцелярии и закладывая руки за спину. — Весь взвод, можно сказать, уполномочил меня жаловаться на аспида. Сами изволили видеть, как он сегодня Котова ни за что обругал и ударил. Мы все к вам, как к образованному человеку, потому что сил нет больше терпеть.

— Я вам обещаю, Коржиков, что этого больше не будет, — сказал Харченко.

— Ваше благородие, весь взвод требует, чтобы Михайлова вы наказали.

— Я переговорю об этом с командиром батальона.

— Еще, ваше благородие, весь взвод недоволен пищей. За обедом не всем хватило мяса. Солдаты просят разрешить ходить довольствоваться домой. У многих здесь семьи, это их не стеснит.

— Я переговорю с командиром батальона, — усгало сказал Харченко.

Эти заботы о питании роты его тяготили. Довольствие людей ему не удавалось. Не было опытных артельщиков, кашеваров, хлебопек, с раскладкой он никак не справлялся. Она казалась ему труднее таблицы логарифмов. Харченко сам чувствовал, что в этом отношении неблагополучно, роту обкрадывают неизвестные люди: — артельщик, кашевар, или те, кто приходит на кухню, но только у него никогда не хватало порции, щи были ненаваристые, а каша комком. Хозяйство не ладилось и, как помочь этому делу, он не знал. Теперь он смотрел на Коржикова и думал: „почему ему обо всём этом докладывает Коржиков? Кто он такой? Взводный? Отделенный? Нет. Он говорит по полномочию солдат. Правильно это? Допустимо?“ С его точки зрения, гимназиста, с точки зрения Кюпа, студента-юриста, это было вполне допустимо, а как посмотрит штабс-капитан Савельев? Коржиков один из самых молодых солдат, разбитной парень, никогда, по заявлению Михайлова, не ночующий в казарме и страшный нахал. „Почему он выбран? Да и выбран ли?“

— Еще, ваше благородие, товарищи заявляют, чтобы им разрешили ходить в кинематографы и в город до поздних часов.

— Этого я не могу разрешить, — сказал Харченко, это запрещено уставом внутренней службы.

— Всё одно ходят, — сказал Коржиков, а устав внутренней службы самим начальством не соблюдается.

— Как так?

— Разве по уставу дозволено, чтобы люди, как свиньи, валялись на полу. Наше помещение рассчитано на сто двадцать коек, а нас помещено двести пятьдесят. Матрацы не всем выданы, одеял не хватает. На койках дневальных и караула спят чужие люди. По ночам ад кромешный в казарме. Продохнуть нельзя.

Харченко знал, что всё это правда. Он несколько раз докладывал об этом Савельеву, но тот только беспомощно махал рукой. — „Что я могу поделаться”, — говорил он, — „когда у нас положено иметь всего четыре тысячи, а нам пригнали двенадцать. Куда я их дену? Кухонь не хватает. Я писал повсюду — ниоткуда нет ответа. До самого министра Поливанова доходил — только смеется. Так, мол, надо”.

— Ступайте, Коржиков, — сказал Кноп, — поверьте, всё, что можно, будет сделано. Вам надо идти на занятия.

В роте, несмотря на холодный, февральский день, было душно. Пахло кислыми испарениями ношенного белья и портянок. От сырых шинелей и сапог в казарме стоял туман. Она гудела сотнями голосов и не производила впечатления казармы солдат, но помещения рабочей артели.

Когда прапорщики вошли в нее, никто им не командовал „смирно”. Только при их проходе солдаты сторонились, давая дорогу и некоторые, но далеко не все, вставали. Это не коробило ни Харченко, ни Кнопа. Им непонятна была внешняя дисциплина, которая считалась старыми офицерами необходимо нужной. Солдаты отвечали им почитительно, не грубили и это они считали вполне достаточным. В казарме кое-где были посторонние люди. Два молодых матроса сидели на койке, окруженные солдатами, подле была разложена карта военных действий, валялись газеты.

— Вы что же, господа? — спросил их Харченко.

— Мы к товарищам пришли, — отвечал матрос.

— Это ко мне, ваше благородие, — сказал мальчик-охотник, знакомый Кнопа.

Харченко ничего не сказал. Он посмотрел на солдат. С возбужденными покрасневшими лицами они видимо только что слушали что-то очень интересное. И тени не было на них той вялости, которая была на лицах полчаса назад, во время ученья.

Харченко и Кноп продолжали свой обход. В углу казармы, среди солдат, сидела сестра милосердия и с нею пожилой, прилично одетый штатский. На вопрос, что это за люди, бледный солдат сказал, что это сестра, которая его выходила в госпитале, пришла проведать его, а штатский его отец. И

опять Харченко молчал и не знал, как поступить. Улица лезла в казарму, а казарма выпирала на улицу, и ни Харченко, ни Кноп не знали, как сделать, чтобы не было ни того, ни другого.

Когда Харченко с Кнопом ушли в отдаленный угол казармы, матрос тщательно разложил карту и стал на ней показывать солдатам.

— Вот, видите, товарищи, — говорил он, — наше расположение к ноябрю прошлого года. Мы, овладевши Львовом и Сенявой, подходили к Кракову. К Кракову подвезена была тяжелая артиллерия и вот в это самое время в нашей крепости Брест происходит страшный взрыв как раз тех самых снарядов, которые надо везти к Кракову.

— Что же это, товарищ, измена? — спросил молодой солдат и серые злобные глаза его устремились на рассказчика.

— Да, товарищ, измена, — спокойно сказал матрос.

Окружавшие матроса солдаты ахнули и среди них наступило грозное тяжелое молчание.

— Куплены были, товарищи, те самые генералы и офицеры, которые должны были спешно везти снаряды к Кракову.

— Господа, значит, изменили, — со вздохом сказал солдат с серыми глазами.

— И вот, вместо осады Кракова, нам пришлось отходить. И тут оказалось, что у нас нет ни снарядов, ни патронов. Их спешно требуют, составляют экстренные поезда, а в это время по этому самому пути отдается приказ не пускать ни одного поезда, потому что Императрица едет в Могилев в Ставку.

— Это зачем же? — спросил солдат с темной молодой бородкою.

— Навестить, значит, супруга, соскучилась за им, — высказал свое предположение небольшой разбитной солдатик.

Матрос сделал маленькую выдержку в рассказе, переглянулся с своим спутником и тихо и печально сказал:

— Нет, товарищи, по приказу своего любовника Распутина, который получил на то указание от императора Вильгельма.

— Ах ты! — вздохом пронеслось по толпе.

— Что же и он, значит, продался, — спросил опять солдат с синими глазами.

— Продался и он, — сказал матрос.

— Все продались, — загудели в солдатской толпе, — что же, товарищи, кровь проливать, ежели господу кровью этою самую крестьянскою торгуют.

— Война, товарищи, приобрела неожиданный оборот. Рабочие и немецкие крестьяне не хотят воевать и они ждут, что Русские рабочие и крестьяне протянут им руку. Война нужна гнералам и офицерам, которые наживаются от нее и на вашей крови делают карьеру и поправляют свое благосостояние...

В другом углу казармы сестра милосердия раздавала солдатам сладкие пирожки и говорила медовым голосом.

— Кушайте, товарищи, на помин души солдатика, что помер вчера у меня на руках. Такой сердечный был солдатик, жалостливый. А что он рассказывал, просто ужас один. В сражении они были. Пули свищут, а офицер ему приказывает — ложись впереди меня, укрывай меня от пуль. Так и укрылся солдатиком. Ужас просто. И офицер-то был пьяный, распьяный.

— Где только они водку достают! — злобно сказал черноусый бравый парень.

— Где? Господам всё можно. Им запрета нет, на то господа! — сказал другой коренастый солдат с веснушчатым лицом без усов и без бороды.

Коржиков самодовольно похаживал по казарме, заложив руки в карманы. Он собирал компанию в кинематограф и предлагал неимеющим денег в долг без отдачи.

И только в середине казармы слышалось мерное жужжание, там сидел Михайлов и солдаты повторяли за ним то, что он, устремивши серые глаза в потолок, говорил с тупою настойчивостью.

— Присяга есть клятва перед Богом и перед святым Его Евангелием, служить честно и нелицемерно...

XVI.

— Смирна! встать! — раздалась громкая команда вскочившего в двери унтер-офицера в щегольской новенькой шинели, перетянутой белым лакированным ремнем с тесаком. Это был помощник дежурного по батальону.

Все вскочили. Пожилой господин, сестра милосердия, оба матроса исчезли.

В казарму торопливыми шагами вошел офицер лет двадцати семи, в чистой солдатской шинели, сшитой из тонкого добротного сукна, в мирного покроя зимней фуражке с цветным околышем. Это был штабс-капитан Савельев, командир запасного батальона.

Он недавно женился и теперь смотрел на свою командировку для командования запасным батальоном, как на отдых и появлялся в батальоне в двенадцатом часу, чтобы дать указания и творить суд и расправу. Остальное время он проводил с молодою женою в вихре Петроградских удовольствий, в визитах, раутах, обедах, бывал в театрах, кафе, концортах, и входивших тогда в моду кабарэ.

От всей его фигуры веяло молодечеством, гвардейской выправкой и изяществом. В его присутствии всё подтягивалось, головы драли кверху и смотрели **весело и бодро**, как учил Михайлов.

Дежурный по роте вырос, как из-под земли и громко и отчетливо отрапортовал о том, что происшествий в роте не случилось.

— Здорово, молодцы! — весело крикнул Савельев.

Громкой ответ загредел в спертom тяжелом воздухе.

Штабс-капитан поздоровался с Харченко и Кнопом и, сопровождаемый ими и Михайловым, пошел по роте.

— Отчего шинели валяются, а не повешены, а? — строго спросил он у Харченко.

— Сейчас только пришли с занятий, не успели разобраться, ваше высокоблагородие, — почтительно проговорил шедший сзади Михайлов.

Савельев приветливо обернулся к нему и сказал ласково.

— А, здравствуй, Михайлов.

— Здравия желаю, ваше высокоблагородие, — радостно воскликнул Михайлов.

— Ну, как, братец, поживаешь? Рана не открылась?

Михайлов для Савельева и Савельев для Михайлова — это были свои. Настоящие гвардейцы. Знакомые, спаянные совместной службой еще на Мокотовском поле. Они понимали друг друга с полуслова и для Савельева он был дороже Харченко и Кнопа, которые не понимали, что такое **нога, печатание с носка**, что значит **посадить на мушку** и не признавали за всем этим великого значения науки, ведущей к победе. Михайлов все это понимал и Савельев часто думал, что лучше для дела было бы, если бы Михайлов был офицером и ротным командиром, а не эти юные прапорщики, чуждые традиций части.

— Это что такое, останавливаясь против Коржикова, строго спросил Савельев. — Я вас спрашиваю, прапорщик Харченко, что это солдат, или девка? Что за костюм? Что за чолка? Это уличная девка какая-то.

— Ваше высокоблагородие, прошу меня не оскорблять, спокойно и громко сказал Коржиков.

— Что? Молчать! Как ты смеешь! Остричь!

— Прошу не кричать на меня и не оскорблять, снова сказал Коржиков, но штабс-капитан уже шел дальше.

— Это я ему позволил, сказал прапорщик Кноп, я думал, что это всё равно, а ему доставляет удовольствие.

— Вольнодумство и мерзость, проходя в канцелярию сказал Савельев. — Как можно позволять! И морда наглая. Михайлов обрати внимание на этого негодяя.

— Ваше высокоблагородие, сил просто нету с ними. Ежедневно вольные в казармы ходят, милосердные сестры, кто они такие, Бог один знает! Невозможно порядок держать. Как вечер, целыми толпами уходят и не удержишь. Говоришь им — только грубости в ответ слышишь, полицейским ру-

гают. Ваше высокоблагородие, что же это? Ведь этого самого Коржикова суду мало предать, вот он какой. Это мало сказать, негодяй.

— Прапорщик Харченко, постройте роту, сказал Савельев.

Через пять минут, когда по затихшему шуму в ротном помещении и многократно повторенной команде **равняйся и смирно** Савельев убедился, что рота готова, он вышел в казарму.

В узком проходе между койками и окнами в две шеренги стояли двести пятьдесят человек. По росту, по здоровому сложению, это была гвардия. Выше среднего роста стройный штабс-капитан Савельев был на голову ниже правофлангового взвода. Ему жутко и приятно было проходить вдоль фронта этих рослых людей. Но отсутствие выправки, небрежно одетые, необдернутые рубахи, не подтянутые пояса, разнообразно остриженные волосы — всё это говорило Савельеву, что это далеко еще не солдаты, что почти два месяца обучения прошли бесплодно. Когда он проходил, не все провожали его глазами. Когда, ставши против середины роты, он начал говорить, не все повернули к нему головы и слушали его не по-солдатски. И от этого больно сосало сердце, и штабс-капитан Савельев ощущал свое полное бессилие сделать что-либо и что-либо переменить одному в этой массе людей. У него в батальоне их было двенадцать тысяч человек и все такие же, как в роте Харченко!

— Нельзя, братцы, так вести себя, как вы ведете, говорил он. — Нельзя! Там идет жестокая война. Враг одолевает нас. На фронте нетерпеливо ждут подкреплений. Какие вы придете! Что за люди к вам ходят? Может быть это немецкие агенты, шпионы, которые совращают вас. Вы должны готовиться к святому исполнению своего долга...

Он говорил долго всё тоже, что говорил и в других ротах. Он сам не верил в то, что говорил, потому что знал, что речами и убеждением нельзя перевернуть людей. Вот, если бы их взять отсюда, поставить в двадцати верстах от позиции, вооружить их и по деревням, или в землянках повести

настоящее полевое обучение — вот это было бы дело! Хлопотать об этом?

Но тогда исчезнет возможность по очереди на четыре месяца отрываться с войны и жить в Петрограде, в теплой квартире, с влюбленной в него молодой женою и посещать театры, где можно забыть, хоть на миг, что из их полка восемьдесят два процента офицеров убито или так ранено, что никогда не вернется в строй и что и его самого, вероятно, ожидает та же участь. Это дело начальства. Ему сверху виднее. И, если оно находит, что можно держать двести тысяч молодых солдат в Петрограде, среди городского разврата и обучать их на мостовых, без ружей, лопат, ручных гранат и прочего — это уже его дело, а мое дело исполнять то, что могу, по мере сил.

Кончив речь, Савельев дал **вольно**, но по гулу голосов он убедился, что солдаты роты Харченко не умеют стоять вольно и потому он сейчас же скомандовал **смирно**. Ему нужно было выбрать парных почетных часовых для благотворительного вечера у графини Палтовой и отобрать песенников и артистов для этого же вечера.

Покончив с этим делом, записав фамилии выбранных людей и приказавши им придти сейчас же в помещение первой роты, штабс-капитан Савельев удалился.

Едва он вышел, как рота, не дожидаясь команды „разойдись“, разошлась по койкам и загомонила.

Кто-то резко свиснул, кто-то злобно сказал — „вот жох, туда сюда его мать! Под суд! Ловко! Им солдата всегда под суд, а что генералы и офицеры снаряды крадут, — это можно“.

Харченко и Кнопу жутко стало оставаться в роте и они пошли по домам.

— По-моему, говорил, спускаясь по широкой каменной лестнице казармы, Кноп, — он совсем не прав. Людям надо дать свободу. Больше свободы. Ведь многие из них не вернутся домой никогда, ну и пусть погуляют. И на Коржикова он совершенно напрасно кричал. Кому мешает этот клок волос? А вышло глупо. И я знаю наверно, что Коржиков не острижется, да и я бы на его месте не остригся, вот ни за

что бы не остригся. Савельев только себя компрометирует? И нам с вами лучше не мешаться в это дело.

— Вы пойдете на вечер графин Палтовой? — спросил, чтобы перемнить разговор, Харченко.

— Ну, еще бы, — отвечал Кноп. — Я же там участвую. Как рассказчик. А вы?

— Надо пойдти. Жена командира. Да, говорят, и граф Палтов приедет. Я ведь своего командира еще не видал, отвечал Харченко.

XVII.

Вечер — кабарэ, при участии лучших Петроградских артисток и артистов, в пользу семейств убитых того гвардейского полка, которым командовал граф Пал.ов, был давно и широко задуман графиней Натальей Борисовной. Она постаралась к этому дню собрать возможно больше офицеров из полка и устроила им отпуски, воспользовавшись тем, что полк стоял в резерве. Из запасного батальона были взяты красивые рослые люди, которые были одеты в парадную форму мирного времени, в кивера и мундиры с лацканами и поставлены шпалерами по обоим широким маршам мраморной лестницы особняка графини. Так же, в старой форме, яркой и блестящей, был одет и полный хор музыкантов полка, нарочно присланный к запасному батальону. Веселясь в пользу семейств убитых на войне солдат, делали всё возможное, чтобы позабыть об этой войне и вспомнить старое безмятежное время красивых парадов, удивительной выправки солдат, лихих песен и бравурной музыки.

Ожидалась одна высокопоставленная особа, ожидался начальник кавалерийской дивизии, молодой свитский генерал Саблин, должен был быть генерал Пестрецов, и его начальник штаба, генерал Самойлов, надеялись видеть генерала Поливанова и члена Государственной Думы четырех созывов Обленисимова и многих крупных общественных деятелей.

Должна была танцевать Преображенская, играть румынский квартет Гулеско. Кноп рассказывать и петь под гитару, сама хозяйка, графиня Палтова, выступала с несколькими

модными романсами и песенками легкого содержания, обещала приехать из Москвы Иза Кремер.

Несмотря на наступавшую дороговизну был заказан роскошный ужин, и, по особой протекции, добыто шампанское и другие заграничные вина.

Наталья Борисовна, княгиня Репнина, графиня Валерская, и старый Мацнев, ставший председателем отделения „земгора“, больше месяца готовили этот шикарный вечер „кабарэ“, о котором должен был говорить весь Петроград.

Если бы подсчитать всё то, что было заплачено художнику за прекрасные афиши, изображавшие солдат в парадной форме, за устройство интимной сцены, за ужин, вина и закуски, за участие артистов и артисток, то на эти деньги можно было бы много лучше обеспечить семьи убитых, чем на ту прибыль, которая ожидалась от небольшого числа зрителей, званных по именным билетам. Но графиня Палтова знала, что без этой приманки едой, выпивкой и весельем ей никто не даст нужных денег, что это так принято и вечер сам по себе занимал ее больше, чем помощь несчастным солдатским семьям.

Начало было назначено в восемь часов, но съезжаться начали только к девяти. Граф и графиня Палтовы и группа офицеров полка встречали гостей на верхней площадке лестницы. На графине Наталье Борисовне был дорогой открытый вечерний туалет, она была причесана у лучшего парикмахера и выглядела красавицей, сверкая белизною плеч и шириною красивой груди. Офицеры были в новомодных френчах с длинными юбками *cloche**) в блестящих погонах, и блистали различными значками и орденами.

Едва только на первом марше показалась высокая, сгорбленная фигура в защитных погонах и с шашкой на защитном ремне, как полковой адъютант сделал знак музыкантам и оркестр грянул полковой марш.

— Счастлив видеть вас в добром здоровье, — скрипучим голосом проговорил чернобородый генерал, целуя руку Пал-

*) Колоколом.

товой. — Вы всё хорошеете. Так отдыхаешь у вас от всех волнений войны.

За ним, придерживая георгиевское оружие и сверкая георгиевским крестом на чистом кителе старого покроя со свитскими аксельбантами, всё еще молодой от короткой стрижки седующих волос и от тёмного юного загара поху-девшего лица, вошел в залу Саблин.

Он поклонился графине и чернобородому генералу.

— А, Саблин, — сказал тот, ласково протягивая широкую руку, — какое чудное дело делает графиня! Сколько слез бедных сирот она утрет этим роскошным вечером. Как мы отвыкли за эти полтора года от блеска. Парадная форма наших славных Н-цев кажется уже анахронизмом.

Генералы и офицеры, бывшие в зале встали и поклонились чернобородому генералу. Дамы, одни сидя, другие стоя, с любопытством разглядывали его в лорнеты.

— Как он постарел, — сказала красивая сестра милосердия в элегантной короткой защитной юбке генералу Самойлову, стоявшему с ней рядом.

— Да не легко дается ему борьба на два фронта, Любовь Матвеевна.

— А вы считаете, что он борется, — жокетливо, исподлобья глядя на Самойлова, сказала сестра.

— Конечно, — отвечал Самойлов.

— По-моему, давно плывет по течению.

— С каких пор?

— С той самой поры, как он был уверен, что свалил Свинына, а Свинын перебежал ему дорогу и через императрицу свалил его самого.

— Но ведь теперь он достиг желаемого.

— Поздно, Николай Захарович. Он достиг, чтобы мстить. Я знаю его татарскую натуру, он жестоко отомстит. Это один из главных деятелей надвигающейся революции.

— Шшш, Любовь Матвеевна! В салоне графини Палтовой, в присутствии почти двора и коронованных особ, такие страшные слова.

— Я говорю то, что все говорят. Этот раут, Николай Захарович — это пир во время чумы. Это пир Навуходоно-

сора. Мне всё кажется, что раздвинется занавес на сцене и вместо милой графини Палтовой у рояля я увижу чью-то страшную руку, которая напишет: — мене, текел, фарес...

— И вам не страшно?

— И даже очень. Нет, в самом деле, посмотрите, Николай Захарович, ведь это не люди кругом, не Русские люди, живущие в столице, во время величайшей войны, а это ходячие партии. С нами и против нас. У каждого своя платформа, и эта платформа для него всё.

— Ну, а вы на какой, Любовь Матвеевна? — улыбаясь спросил Самойлов.

— Я? Моя платформа: — живи и жить давай другим. С тех пор, как муж меня бросил, я должна была что-нибудь делать. Я оглянулась — искать друга, добывать развод — это всегда роняет. Я пошла по другому пути и смотрите, как все меня уважают.

— От них же первый есмь аз. Могу я рассчитывать на вашу благосклонность?

— Если будете паинькой и не будете делать заранее масляных глаз, чего я терпеть не могу. У меня *les affaires sont les affaires!**)

XVIII.

Темносиняя бархатная занавесь, украшенная по низу золотым меандром и бахромою и подвешенная на больших кольцах, медленно раздвинулась на две половины, но вместо таинственной руки, которую ожидала Любовь Матвеевна на сцене появился прапорщик Кноп. В модном френче с длинной лобкой, в защитных шароварах и сапогах с гетрами, припомаженный и подвитой, он не походил на офицера. Это был актер, неискусно вырядившийся в офицерскую форму. Но главное, тут, на сцене, при свете лампы, было ясно видно, что это не только не офицер, но это развязный и нахальный еврей.

Как мог он попасть в полк? Как мог пробраться в офи-

*) Дело — так дело.

церы? Как мог попасть в **наш** полк, думали, глядя на него граф Палтов и другие кадровые офицеры полка.

Зая затих.

С гитарой в руках, небрежно похаживая вдоль рампы, Кноп ожидал, когда станет совсем тихо и тогда, вместе с трелью гитары и ударами костяшками пальцев по деке, подобными отдаленному барабанному бою, бросил коротко:

— Солдаты идут!...

Красиво и талантливо он рисовал чувства ребенка, девушки, женщины и старика, стоящих у окна и глядящих на проходящий мимо полк. Искусно поставленный и заглушенный граммофон то играл, всё удаляющийся пехотный марш, то рассыпался треском барабанов.

— Солдаты идут! Солдаты, солдаты, солдаты идут, играют и поют...

Иллюзия была так сильна, что многие поворачивали головы к задрапированным тяжелыми занавесями окнам.

Едва он кончил и раздались рукоплескания и крики „браво“, Саблин встал и прошел в маленькую гостиную, бывшую сзади зала. Ему тяжело было видеть всё это. Три дня тому назад, отбив спешенными частями своей дивизии страшный штурм германской пехоты, сопровождавшийся ураганным огнем артиллерии и передав позицию подошедшей на смену армейской пехоте, он отошел в резерв, на тридцать верст в тыл. Перед его глазами всё еще стояла последняя картина, которую он наблюдал. Он пропускал мимо себя дивизию на переправе через реку. Река наполовину замерзла, но, замерзая, разлилась и неуклюжий мост, построенный еще в сентябре казаками, оказался по середине реки. На него въезжали, проваливаясь по конское брюхо в воду, и с него съезжали тоже в воду. Дно было вязкое, болотистое и проходившие полки растоптали и углубили его. Небо было пасмурно, дул холодный резкий ветер и срывал снежинки. Эскадрон за эскадроном подходили к мосту. Суровые худощавые солдатские лица хмуро и серьёзно смотрели вниз на воду. Накануне здесь утонул оренбургский казак и свежая могила желтым глинистым бугром возвышалась на самом берегу. Крест без надписи стоял над ней. Собранные на мундштуках

рыжие лошади драгунского полка, сильно похудевшие и раздуваемой ветром длинной шерстью, заминались и неохотно ступали в темную ледяную воду. По реке неслись, кружась, ржавые льдинки. Лошади то неожиданно проваливались по брюхо, то шли по мелкому месту, звеня льдом и водой, разбрызгиваемой копытами. Пики мотались из стороны в сторону и ряды расстраивались. Угрюмый, на прекрасной чистокровной кобыле, стоял командир полка. Эскадронный командир первым бухнулся в воду, а за ним пошли его люди. В версте, за широким разливом реки, эскадроны стягивались в длинные и узкие змейки и уходили за лес. Саблин простоял весь день на переправе. Артиллерия задержала. Уже ночью при луне перешел он сам и рысью, по лесной дороге, запорошенной тонким слоем снега, пошел, обгоняя последние сотни казачьего полка, на свой ночлег, в убогий дом священника селения Озеры. Последним его впечатлением был молодой хорунжий, дежурный по полку, сопровождавший его вдоль полка по узкой лесной дороге и звонко кричавший казакам: — **повод вправо**. Знакомым казалось Саблину красивое лицо молодого офицера с горящими оживлением и каким-то особенным счастьем глазами.

— Как ваша фамилия? — спросил его Саблин.

— Хорунжий Карпов, — весело ответил офицер.

— Вы были ранены под Железницей?

— Так точно, ваше превосходительство.

— Уже оправились?

— Совершенно, ваше превосходительство!

Они обгоняли хмурых казаков. Все были мрачны, голодны и устали и только этот молодой офицер был счастлив и радостен. Саблин внимательно посмотрел на него и понял по его глазам, что в нем сидят — сии **три — вера, надежда, любовь** — но любовь больше всего.

Потом Саблин долго ехал один со старшим адъютантом, трубачами и вестовыми по дороге и, наконец, замаячили в серебристом сумраке лунной ночи эскадроны гусар на серых дымящихся паром лошадях. И опять были крики: **повод вправо** и такие-же хмурые, серьезные, голодные лица.

Шли солдаты...

На другой день, переночевав на соломе, на полу, в столовой у священника, Саблин на автомобиле проехал на железную дорогу и через тридцать шесть часов был в Петрограде. Его дочь и графиня Палтова упросили его пойти на вечер. И вот... солдаты идут...

Саблину слишком вспоминалось, что значит идут солдаты. Он хорошо их видел и сейчас...

ХІХ.

— А, Александр Николаевич, — приветствовал его Пестрецов, сидевший в углу с Обленисимовым и с подвижным немолодым штатским в черной наглухо застёгнутой куртке военного образца, в золотых очках и с седой небритой щетиной бороды. Наш brave Румянцев! О твоей дивизии рассказывают чудеса. Вы не знакомы? — обратился он к штатскому.

— Александр Иванович Пучков, наш маг и чародей. Да, милый Александр Николаевич, то, чего не могли сделать мы, люди с военной эрудицией, то делают теперь вот они, коммерческие люди, люди практической складки, знающие, что такое общественность. И, если Алексей Андреевич Поливанов, наш князь Пожарский, то это Минин. Армия спасена! Вы к весне будете завалены снарядами и патронами. Аэропланов будет сколько угодно. Всё союзники.

— Не одни союзники, Яков Петрович, мы и свою промышленность широко ставим. Теперь нами провозглашен девиз: всё для войны! — тихим вкрадчивым голосом сказал Пучков.

— Помогай Бог, — сказал Саблин.

— Ну что, как у тебя на фронте? — спросил Обленисимов, — ты, Саша, можешь говорить вполне откровенно, всё свои, верные люди.

— На фронте настроение такое, что если бы тут были враги, я и перед ними с удовольствием бы рассказал про него. Дайте нам ту технику, которую имеют немцы, и прикажите идти на Берлин, — сказал горячо Саблин.

— Хорошо сказано, — сказал Пестрецов.

— А не увлекаешься ты, Саша? — проговорил Обленисимов.

— Нет; что же увлекаться. Наш солдат был, есть и, хочу верить, и будет первым солдатом в мире. Офицеры один восторг. У нас таких еврейчиков, как только что выступавший, нет.

— Ну какой же он еврей, — сдержанно сказал Пестрецов.

— И отчего еврей не может быть офицером? — спросил Пучков.

— Отчего еврей не может быть офицером, я, пожалуй, вам не сумею ответить, но я знаю одно, что ни один офицер, не еврей, не способен на такую пошлость, как этот... Ломаться на сцене, как последняя девка, в то время, когда его товарищи сидят в окопах. Вы посмотрите, как он одет! Ведь это костюм, а не форма.

— Неисправим, — сказал Обленисимов. — Как ты отстал, Саша! Ты не видишь, что тут творится новое и это новое должна сделать армия. Все взоры на нее.

— Ты сказал, дядя, что здесь всё свои. Никого кругом нет, все увлечены, если я не ошибаюсь, танцами Преображенской, так скажи прямо — готовится революция?

— А разве не нужна она? — спросил Пестрецов. Разве не дошли не только мы, лучшие люди, но и простой народ до рокового сознания, что она неизбежна и необходима.

— Значит, я не лучший человек, — сказал Саблин, — потому что я считаю, что пока идет война, она невозможна... Да и после... К чему?..

— Но что же делать? — тихо спросил Пучков.

— Всеми силами поддерживать трон! Я говорил это полтора года тому назад дяде Егору Ивановичу и повторяю и теперь. Назовите меня ретроградом, но я считаю, что валить трон во время ужасной войны это такое безумие..

Саблин не договорил. Наступило тяжелое молчание. Из соседней комнаты сквозь притворенную дверь врывались обрывки музыки и слышался легкий стук ног. Танцы продолжались.

— Трон валится сам, и поддержать его мы не в силах, — сказал мягким спокойным голосом Пучков, но Саблин за-

метил, что он волновался. — Мы всё сделали. Какой был энтузиазм вначале, как верили в Царя, как шли за ним и для него и чем это кончилось?! Распутин обнаглел, как никогда. Влияние его и Александры Федоровны стало невозможно и оно идет прямо во вред России. Вы знаете адмирала Балтова? Он сделал чудеса в Севастополе. Посылают телеграмму Государю, просят о назначении его на высокое место, на котором он мог бы всё перестроить. Государь согласен. Приказ подписан. Она мчится в Могилев и через два часа подписан новый приказ об удалении Балтова из Севастополя и о назначении его в тыл на синекуру.

— В угоду немцам и по приказу из Берлина, — вставил Пестрецов.

— Против Государя даже великие князья. Они пробовали уговаривать Государя, писали ему письмо. Они попали в опалу. Государь прямо сказал, что ему легче выносить Распутина, нежели истерики Ее Величества, — сказал Облениссимов.

— Надо устранить и его и ее от управления, но не колебать принципа монархии, — сказал Саблин.

— Милый мой, он давно поколеблен. В полках открыто говорят о связи Царицы с Распутиным и уважения к Монарху нет, — сказал Облениссимов.

— В каких полках? Полки высочайше вверенной мне дивизий умрут за Государя, каков бы он ни был, — сказал Саблин.

— И отлично. Но Петроградский гарнизон настроен иначе. Революционные лозунги начинают проникать в солдатскую массу и здесь уже на переключке вы не услышите гимна. В ротках, если открыто еще и не поют, то умеют петь рабочую марсельезу, — сказал Пучков. — С этим хотите — не хотите, а считаться приходится.

— Это результат обучения солдат на мостовых. Сегодня утром, проезжая с вокзала к себе на квартиру, я видел это безобразие. Толпу, а не шеренгу солдат на улице, винтовку в станке и рядом каких-то темных личностей с газетами и листками. Это видимо подготовка республиканских войск...

Никто не возразил.

— Обучать нужно в поле, — сказал Саблин. — Пошли-те их к нам в резервы. Мы их обучим, не балуя. Я вижу работу тыла даже здесь на сегодняшнем празднике.

— Ты осуждаешь прелестную Наталью Борисовну? — сказал Пестрецов.

— Зачем было ставить этих скверно выправленных болванов, одетых в кивера и мундиры с лацканами? Чтобы они видели эту роскошь, этот разврат высшего круга, этот блеск, вино и яства и потом воспоминание об этом и сравнения перенесли в холодные и сырые окопы.

— Точно они не знают, — сказал Облениссимов.

— Надо, чтобы они знали другое, — сказал Саблин. Нужно самим переродиться. Если всё для войны, то долой эту роскошь, театры, балы, вино, концерты, все на работу для фронта!

— Неисправим, — сказал Облениссимов.

— Фронт, тыл, — сказал снисходительно Пучков. — Их никогда не примиришь.

В гостиную вошла графиня Палтова.

— Господа, — сказала она, — вот это мило! Я сейчас выступаю, а вы забились куда-то и знать меня не хотите.

— Мы только покурить, графиня, — сказал, поднимаясь с кресла, тяжелый Облениссимов.

— Успеете курить. Знаю я ваше — курить. Поболтать захотели, неисправимый болтун. Александр Николаевич, вашу руку, я сейчас буду петь прелестную вещицу Гуно — „Баркаролла“. Послушайте припев. Совсем точно волны колышат лодку.

И она напела Саблину в полголоса:

*Dites la jeune et belle
Ou voulez vous aller
La voile ouvre son aile
La brise va souffler...*)*

*) Скажите, юная красавица

Куда нам плыть?

Поставлен парус,

Ветер играет им.

XX.

Гром аплодисментов приветствовал графиню Палтову, едва только она показалась в зале под руку с Саблиным. Аплодировали ей, хозяйке дома, аплодировали и Саблину, его георгиевскому кресту и той славе, которая шла с его именем.

Какой-то штатский, в длинном черном сюртуке, с сухим старым лицом, на котором не росла борода, вышел из кресел и, остановивши Саблина, протянул ему пачку сторублевых ассигнаций.

— Ваше превосходительство, проговорил он, — тут десять тысяч, раздай своим орлам. Право!

Саблин не знал, что делать. Графиня Палтова выручила его.

— Это наш постоянный поставщик, Лапин, большой патриот и благотворитель. Вы мне скажите, что купить для ваших солдат, и я с вами им и пошлю.

— — Вот спасибо, ваше сиятельство, Наталья Борисовна. Так и хорошо будет.

Овации Саблину и графине Палтовой долго не смолкали. У Саблина глаза были полны слез от вида устремленных на него женских и девичьих глаз и маленьких рук, что хлопали ему. Он видел среди них милое лицо своей Тани, красное, полное восторга.

Всё это вышло так неожиданно!

Графиня Палтова поняла его смущение и, покинув его, прошла на сцену. Аккомпаниатор заиграл ригурнель. Все стали садиться, в зале наступила тишина.

Когда графиня Палтова кончила петь весь зал разразился бешеными аплодисментами, а она, смущенная своим успехом, сошла со сцены и, вмешавшись в толпу зрителей, остановилась, разговаривая с графиней Валерской. Саблин воспользовался общим движением, — был антракт, гости выходили к чайному буфету, — и пошел к выходу. Он не мог более оставаться. Нервы не выдерживали. Он решил прогуляться и вернуться к концу ужина за Таней.

— Ну, голоса-то у нее никакого, а манера какая-то есть, — говорил худощавый штаский, продолжая аплодировать, своему соседу, полному господину во фраке, с большим белым жилетом.

— И куда ей за Гуно браться, отвечал тот, — из баркароллы у нее так ничего и не вышло. Я слышал эту вещицу в исполнении Бакмансон. Вот, батенька мой, школа, доложу я вам!

— Ей вот „Гусаров” петь, это по ее голосу.

— И то до Вяльцевой далеко.

— По улице пыль поднимая, под звуки лихи-их трубачей, — напевал какой-то интендантский полковник весь сплошь в защитном, даже с затемненным пуговицами и наткнулся на Саблина, — „извиняюсь, ваше превосходительство”, — сказал он, давая дорогу Саблину.

На лестнице всё так же, стараясь тянуться, стояли солдаты в киверах. Но от непривычки их носить, кивера съехали на затылок, а от плохой выправки и запавших грудей на блестящих лацканах были складки и от всей этой прекрасной формы, которую так любил Саблин веяло жалкой бутфорией.

Саблин отыскал, с помощью солдата, свою шинель и вышел на улицу.

Был одиннадцатый час ночи и город жил лихорадочною жизнью. По улицам носились трамваи, переполненные пассажирами и на каждом на передней и на задней площадке, на ступеньках, держась за поручни, висели солдаты. Эти солдаты были везде. Они толкались по улицам, грызя семечки, они толпами стояли у яркоосвещенных, горящих разноцветными огнями кабаре и кинематографов. Саблин не был в Петрограде полтора года и он не узнавал его. Сколько открылось новых кинематографов и маленьких театриков-миниатюр, где обещали пение, танцы, музыку, фокусы. И откуда взялась вся эта масса артистов, кто они?

Была почти полночь, а солдаты свободно ходили по городу. Они были трезвы, большинство, если и не становилось во фронт Саблину, то всё-таки отдавало честь и даже притоптывало по-гвардейски ногами, но вид имели эти сол-

даты не только не гвардейский, но и не солдатский. Серые папахи были одеты небрежно, большинство было без поясных ремней, а те, у кого эти поясные ремни были одеты, имели их неподтянутыми, с пряжками и бляхами сползшими на бок. Многие солдаты ходили с молодыми штатскими людьми и с девушками интеллигентного вида.

У одного большого кинематорграфа на Невском, только что окончился сеанс и одна толпа входила, а другая выходила.

— Ах, товарищи! — восхищенно говорил молодой солдат, выходя из кинематорграфа и обращаясь к другим солдатам, — ну и ловкая жизнь. Вот жизнь!

— Что же, всё возможно, товарищ, — проговорила маленькая черная женщина, в платье сестры милосердия, шедшая с ними. — Кто дерзает, тот и достигнет.

— Все-таки преступление, сестрица, — сказал тот же молодой солдат.

— Ну, какое там преступление, — презрительно сказала сестра.

Солдат увидел Саблина и испуганно вытянулся....

Саблин взглянул на часы. Было половина одиннадцатого. Сеанс окончится около двенадцати, а раньше двух ночи нечего и думать вытащить от графини Палтовой Таню.

Саблин вошел в кинематограф. Он шел не смотреть картину с заманчивым названием, сверкавшим громадными красными буквами под картиной, изображавшей людей в масках, душащих старика. Он шел смотреть толпу и солдат.

Впереди него, на третьем месте, как всегда в кинематографе, перед самым экраном, сидела дешевая публика. Это почти исключительно были солдаты. Они сняли с себя свои папахи и Саблин, вместо коротко остриженных, шариками, голов, видел, то косматые, вихрастые затылки, то тщательно разделанные примасленные и припомаженные проборы. Там и там среди солдатских шинелей виднелась косынка сестры милосердия, или кокетливая шляпка швейки, или горничной. Несмотря на то, что курить в кинематографе было строго запрещено, кое-кто из солдат тихонько курил.

На втором месте сидели молодые элегантные офицеры, штатские и дамы. Штатских было мало, почти все мужчины, были одеты в защитные френчи, или шинели солдатского сукна, военного и не военного покроя. Можно было подумать, что со второго года войны интенданство взяло на себя подряд одеть по-военному всю Россию. Одни из этих молодых людей в защитном имели какие-то узенькие погоны из золотой и серебряной рогожки с зелеными, малиновыми, алыми и черными просветами, другие были без погон. Кто они, какого ведомства, почему в форме, — Саблин понять не мог. Даже многие женщины были одеты в платья защитной материи. Здесь очень много было сестер милосердия. Но по лицам многих из них, Саблин видел что это не сестры, но лишь носящие форму сестер.

На первом месте публика была старая, не Петроградская, а Петербургская, та, которую хорошо знал Саблин. Средний обыватель, который раньше наполнял Александринский театр и ходил по клубным сценам, устремился теперь в кинематографы. Но и здесь много было защитных френчей и вычурных форм. Саблин спросил у одного из молодых людей с зелеными полосами на серебряной рогожке погона и с чином коллежского советника, в синесерых рейтузах Галиффа и больших шпорах на рыжих сапогах, — где он служит.

— Я в гидротехническом отделе Земгора, — ответил молодой человек, — по осушке окопов от сточной воды.

Саблин не нашелся, что сказать: так поразила его эта особенная деятельность молодого человека.

В кинематографе играл сокращенный оркестр какого-то гвардейского полка. Нечищенные грязные трубы отзывали каким-то захолустьем и их странно было видеть в руках музыкантов с алыми гвардейскими погонями на рубашках. Турецкий барабан часто бил такт. Но, очевидно, это считалось за особое прибавление к сеансу, потому что, проигравши какую-то дребедень, солдаты шумно встали и с громким разговором ушли из театра.

Ближе к рампе придвинули пианино и какой-то молодой человек начал фантазировать на нем, дополняя музыкой то, что было на экране.

XXI.

В кинематографе стало темно. Пианино говорило о тоске, певучий вальс с нарочно замедленным темпом срывался с клавиш из-под пальцев пианиста.

„И в хижине страдальца цвела любовь” — появилась надпись на экране.

В маленькой комнате сидела красивая девушка. Она была бедно одета. Она шила. Она принуждена была шить шелковое и батистовое белье на магазин и портить глаза за мелкой строчкой. В труды ее рук одеваются другие, которые не знают труда.

На экране, роскошное помещение модного магазина белья. Приходили и уходили девушки с картонками, сдавая свою работу. Они были бедно одеты, у них были плохие дырявые башмаки, а было холодно и шел снег, который студил их ноги.

На экране встала та самая белошвейка, которую изображали в первой картине. Артистка была снята на улице в костюме бедной девушки, в оборванной юбке и в больших дырявых башмаках. Сыпал снег, проходили прохожие и заглядывали на нее, а она пожималась, топотала ножками на подъезде, в ожидании, когда ей откроют дверь богатого магазина.

„Там шили приданое”, — мелькнула надпись и снова появилась картина большого зала магазина. Красивые девушки раздевались до белья и примеряли панталоны и нижние юбки. Они становились перед зеркалом в самых рискованных позах и любовались собою. В зале раздавалось сладострастное мычание мужчин и ахи женщин.

„Она любила святою первою любовью...”

„Но он был беден”...

Сказал кинематограф, и на экране, в большом овале, появилось молодое смелое лицо с папироской в зубах, в мяг-

кой шляпе рабочего, в старом пиджаке, одетом поверх блузы и с руками, заложенными в карманы.

Пианист стал играть мотив песни „последний нынешний денечек”, а на полотне стали слова:

„Его хотели взять в солдаты. Его хотели заставить убивать своих братьев. Он знал, что война это ужас. Она помещает любви. Почему не берут богатых, которые тратят деньги на пиры и увеселения, на игру и женщин? Он наблюдал их жизнь”.

Мимо плыли изображения каких-то парижских кабаков, где пьянствовали и кутили молодые люди, разряженные девушки, танцевали канкан между столиками, играли в карты. В этот вертеп, с улицы, по которой ездили кэбы и носились автомобили, пьяный офицер тащил за руку бедную девушку, с кордонкой.

— **„Никогда!”** — стояло на экране — и молодой человек хватал за грудь офицера и отталкивал его от девушки. На полотне разыгрывалась грубая сцена драки между офицером и молодым оборванцем. С офицера срывали эполеты и так толкнули его, что с него свалилось кепи. Собиралась толпа.

— **„Он оскорбил мою невесту!”** — объясняла надпись на экране и сейчас же появился сначала в большую величину артист, герой драмы. Его лицо было искажено гневом и негодованием, грудь тяжело дышала. Рот часто открывался, он быстро что-то говорил. Мелькнула перемена картины и публика увидела опять шумную улицу, толпу, размахивающую руками и палками, и офицера, стоящего среди нее. Но уже бежали полисмены.

— **„Оскорбление армии”** — стоял короткий заголовок и на экране вели героя драмы с целым отрядом полицейских. Офицер с оборванными эполетами давал свою карточку полицейскому сержанту и садился в кеб, полицейские разгоняли толпу.

В третьем месте, где сидели солдаты шел тихий ропот негодования. Картина кинематограффа захватывала страшную драму, и симпатии солдатской массы были на стороне ее героя.

А мимо шли картины суда, тюрьмы. Развивался чувствительный роман девушки белошвейки и арестанта.

Белошвейка принесла заключенному в запеченном хлебе пилу и веревку и, к великой радости публики третьего места, он бежал. Было показано, как пилилась осторожно, с оглядкой, решётка тюрьмы, как беглец повис над бездной, как спрыгнул, как бросился за ним часовой, хотел стрелять, приложился — и тут, когда все зрители замерли в волнении, на экране появилась надпись:

— **Он узнал в бегущем брата. Брата узнал он в несчастном. Пускай меня судят, пускай убьют меня, но я не могу стрелять**". —

И зрители увидели часового, скорбно облокотившегося на ружье.

Первая часть кончилась. Но Саблин не ушел из кинематографа. С сильно бьющимся от волнения сердцем, с глазами, горящими возмущением, он оглядывал освещенный яркими электрическими лампочками зал. У входа стоит затянутый в серое пальто полицейский офицер с тяжелым револьвером у бедра, два генерала и несколько пожилых офицеров сидят в местах, сидят юнкера, кадеты. И тут же на глазах у всех идет серьёзная глубокая проповедь антимилицаризма, идет **во время войны**. Кто разрешил к постановке эту фильму? Откуда пришла она к нам? Не из Германии ли? Удушливые газы, которыми тогда начали угрожать германцы, вся их тяжелая артиллерия, воздушный и подводный флот были ничто в сравнении с этой картиной в две тысячи метров длиною. — И неужели никто этого не видит? Неужели я первый сделал это страшное открытие, — думал Саблин, — неужели этого не видят, ни Поливанов, ни Штюрмер, ни Протопопов, ни Родзянко, ни мой всеведущий и вездесущий дядюшка Егор Иванович?..

XXII.

Вторая часть называлась „Мститель”. Перед зрителями проходили сцены самых необычайных хитро и смело задуманных ограблений. Герой драмы уже был главарем целой

шайки городских громил. Начавши с малого он развил свое воровское дело в целое предприятие. В их распоряжении был таинственный черный автомобиль, который истреблял по ночам наиболее ревностных агентов полиции и наводил панику на жителей громадного, города.

— „Черный автомобиль носился по городу” -- говорила надпись экрана. Мелькали красивые перспективы улицы ночного города. Они были почти безлюдны. Проезжала изредка каретка ночного извозчика, проходила компания загулявших кутил, шел полицейский патруль, и вдруг вдали показывался таинственный черный автомобиль. При виде его полицейские в паническом ужасе разбегались в подворотни, патрули торопливо исчезали.

— „Шайка мстителя не трогала бедных. „Руки вверх!” — была ее команда, и горе тому, кто вздумал бы ее не исполнить”.

Зритель видел шикарный игорный дом. Горы золота и кучи ассигнаций лежали на столах, за ними сидели богато одетые молодые люди и дамы. Пили шампанское и выигравшие счастливицы отдыхали на диванах в объятиях женщин. И вдруг, в широко распахнутые двери врывалась шайка бандитов. Все были в масках, только герой драмы, Лео, предводитель шайки, был с открытым лицом. Все подняли руки вверх, кроме одного молодого офицера, который, обнажив саблю, бросился на бандитов, но тут же был застрелен.

Шайка грабила банки. В ее распоряжении были усовершенствованные кислородные приборы для резания стали струей горящего газа.

— „Лучшие химики помогали Лео в его борьбе с капиталом”.

Обыскивались банковские сейфы, проникали в самые потаенные хранилища. Лео, был благороден. Грабители хотели взять какой-то маленький узелок из одного сейфа.

— „Товарищи, оставьте”, — гласила надпись, — „это все сбережения бедной вдовы рабочего, на которые ей предстоит прожить всю ее длинную жизнь. Товарищи, оставьте”.

На другой день даже полиция умилялась благородству бандитов.

Вся фантазия авторов Шерлока Хольмса и Пинкертона была перенесена на экран. И то, чем раньше зачитывалась молодежь и в возможность чего не верила, было инсценировано и всё было ясно, просто и красиво.

Третья часть изображала счастливую жизнь Лео и его возлюбленной белошвейки. Счастье было чисто буржуазное. Лео и его нареченная жили в прекрасном особняке, у них были горничные и лакеи, правда, с этими горничными и лакеями Лео и его жена обращались просто. Они разговаривали со своими господами сидя, но Лео отлично кушал, у него были свои лошади, а когда он проезжал по какому-то предместью, рабочие снимали перед ним шапки.

— „Он наш. Он вышел из нашей среды, но он был сильный, сумел победить”, — гласила надпись, — „будем же все сильными и тогда победим”...

Такова была заключительная вывеска драмы в две тысячи метров, при участии лучших артистов экрана.

Саблин не уходил. Он заставил себя остаться и посмотреть картины кинематографа Патэ, который „всё видит и всё знает”. Обрывками, маленькими эпизодическими сценками мелькали перед ним отголоски войны. „Налет французских аэропланов”, „Гидропланы”, „Германская пушка большая Берта”, „Атака кавалерии” и, сразу после этого, чествование какого-то атамана на Кавказе. Пир горой, офицеры в черкесках с эполетами, лезгинка, пьяные тосты, кидание на „ура” какого-то толстого генерала и разлитое море вина.

Когда на экране было показано обучение в тылу английской армии, перебежал и маневрировал по плацу, усеянному камнями батальон англичан, Саблин слышал одобряющие возгласы и сейчас же мучительно обидное сравнение — „Это не то, что у нас. Отдание чести и остановка во фронт”...

Сеанс кончился. Возбужденная и взвинченная толпа выходила из театра на мокрую панель улицы. Дождя не было, но туман сел на землю. Фонари бросали вверх странные темные тени столбами. Шумный город имел необычный вид. Население его точно удвоилось, слышался польский говор — это были беженцы из Польши. Саблин вспомнил свое первое дело, замок и графа Ледоховского, со всеми его панами

и паненками. Он шел по Невскому, глубоко взволнованный. Кинематограф, — а их были сотни и на самом Невском, и на Литейном и на Загородном и на Забалканском и всюду и везде, — нагло пестрыми буквами и громадными картинками и плакатами кричал заманчивые названия, и смысл их был: — **Пролетарии всех стран соединяйтесь! Долой войну! Мир хижинам, война дворцам!** — Страшная классовая война открыто проповедовалась с экрана и миллионы людей смотрели на это, а те, кому нужно было видеть, не видели.

Был фронт, где терпеливые солдаты шли холодной ночью по полуразрушенному мосту, где умирали молча; где раненые, как этот милый Карпов, едва оправившись, стремились в свой полк, где месяцами жили в землянках и прислушивались как рвутся снаряды в окопе, или подле; где молчаливым укором стояли немые без надписей могилы, с плохо сколоченными из палок крестами. Там была глубокая чистая вера в Бога, надежда на победу, на то, что будет день, когда победные знамена, окруженные потоками войск, будут возвращаться в родные города и их встретят девушки с венками цветов, с радостными криками. Там была любовь, выше которой ничего не может быть, любовь, полагающая душу свою за други своя..

Это было три дня назад. Три дня назад Саблин жил святою христианскою жизнью среди христиан. Жил на фронте!

Теперь он был в тылу. Он видел глубокое равнодушие к вере. Он не слышал имени Христа нигде. Он видел храмы, где проповедовалось отчаяние и ненависть. Что как не отчаяние от своего бессилия, вызывал этот простой и, казалось бы, такой невинный кинематограф Патэ? Там, у немцев, у французов, у англичан: — всё для войны. Шумными стаями летают аэропланы и, кажется, с экрана слышишь гул их пропеллеров. Там длинная Берта, стреляющая на соток верст, там разумное полевое обучение молодых солдат, а у нас — чествование атамана, лезгинка, пьяные тосты и пьяные песни. Отчаяние и ненависть проповедовал кинематограф и на Невском, и на Литейном, и на Загородном, и на Забалканском и всюду и везде. Вон с угла какого-то переулочка наглыми хлесткими огнями сквозь туман кричит он: —

только для взрослых. И толпа солдат, юных, и безусых, толпа мальчишек и девочек подростков выливается из его гостеприимных дверей на улицу. Слышны смелые шутки и смех, в котором нет стыда. Мальчик, лет четырнадцати, нагнулся к уху девочки-подростка и напевает на всю улицу:

Как тебе не стыдно,

Панталоны видно.

Кругом смех, жадный, страстный, животный смех...

Раньше, на всех этих местах были синекрасные вывески и горящие золотом надписи **трактир, распивочно и навынос.** Тут отравляли тело человека, но тогда лучшие умы народа, писатели и художники, восставали против них. Толстой и Кившенко, один пером, другой кистью, описывали весь ужас, который несет в народ эта синекрасная вывеска с яркими буквами.

Теперь, здесь, вытравливали душу человеческую, здесь соблазняли малых сих, заплёвывали их юные сердца, но никто не навешивал на соблазнительей жернова и не бросал их в морскую пучину. Молчали писатели и художники, потому что это было либерально! Это шло под лозунгами социализма, и говорить против этого было невыгодно!!

И опять, как в ту страшную ночь, когда Саблин, после разговора с дядюшкой Егором Ивановичем, пришел к сознанию пустоты кругом, к сознанию того, что в **России нет людей**, нет силы, способной спасти Россию, он содрогнулся и низко опустил голову.

Но сейчас же он вспомнил фронт. Он увидел хмурое лицо командира драгунского полка, стоящего на переправе, он увидел радостное лицо Карпова, увидел своих солдат и казаков и горячая вера и могучая любовь согрели его сердце.

Офицеры! вот кто придет и спасет Россию! Офицеры, как некогда Христос, возьмут вервие и выгонят торгующих из места, где совращают душу народную.

Только не было бы поздно. Только не совратился бы и фронт от этой заразы?

И Саблин гадливо отстранился от двух солдат, тащивших весело визжавшую девчонку.

XXIII.

Когда Саблин подходил к дому графини Палтовой он нагнал какого-то генерала, шедшего с высокой и стройной сестрой милосердия, одетой в модный каракулевый сак и косынку. Он сейчас же узнал Самойлова. Саблин хотел их обогнать, но они ускорили шаги и Саблин невольно слышал их веселый громкий разговор. Оба были под влиянием вина.

— Любовь Матвеевна, — говорил Самойлов. — Куда же мы? Нам надо закончить эту ночь. Я знаю вас давно, но гакою вижу вас первый раз.

— А я вам нравлюсь — **такою?**

— Да. Вы мне **такою** нужны.

— Почему?

— Потому что я для этого приехал с позиции.

— Вот как!

— Я заметил, а наш милый корпусный врач подтвердил мне это, что долгое воздержание от женщин действует на нервы и понижает мужество и храбрость.

— Целое открытие, — сказала с иронией Любовь Матвеевна.

— Но не новое. Древние знали это и потому-то женщины всегда становились добычей победителя.

— Ну, а не древние?

— Великие полководцы тоже понимали это. Скобелев выписывал девиц в армию.

— Николай Захарович, вы циник.

— Я и не скрываю этого. Притом вы же мне сказали, что у вас *les affaires sont les affaires**) и я вас понял. На что я могу рассчитывать?

— „Но, Николай Захарович, *la plus jolie fille ne peut donner que ce qu'elle a!*”**)

— Вот это-то мне и надо!

— Какой вы понятливый.

*) Дело — так дело.

**) Самая красивая девушка может дать только то, что у нее есть.

— Всегда этим отличался. — За это меня и ценят, как начальника штаба, потому что я с намека усваиваю мысль начальника. Но, однако, куда же мы?

Любовь Матвеевна стала серьезна и замедлила шаги.

— Куда? Для вас, бездомного, это вопрос. Ко мне нельзя. Я живу в госпитале и иногда очень редко, ночую у матери. Ни тут, ни там нам нельзя быть так поздно. Вы где оставились?

— В Северной гостинице.

— Туда не пустят.

— Любовь Матвеевна, вы плохого обо мне мнения, как об офицере генерального штаба. Я всё предусмотрел. Я прописан с женою и я предупредил прислугу, что моя жена придет с дачи сегодня или завтра ночью.

— Почему же вы знали, что я... Что это возможно со мною.

— Я этого не думал.

— Значит, вы думали о другой. О ком, позвольте спросить? Мне интересно знать, кто моя соперница.

— Я думал вообще о женщине. О женщине прекрасной и умной. Я нашел гораздо больше, чем ожидал. Я нашел интеллигентную, а женщина интеллигентная в деле любви во много раз выше простой. Я знаю, что это мне будет стоить дороже, но за то и удовольствия больше.

— Это будет стоить вам очень дорого и мне даже жалко вас, Николай Захарович, потому что я ваши достатки знаю. Но раз уже я с вами стала откровенна, буду откровенна до конца. Мне надо жить. Я дама общества, я всюду принята и это меня обязывает. Я должна хорошо одеваться, я должна быть скромна, я не могу делать это часто, я должна очень выбирать. Я знаю, что вы не разболтаете. А между тем жизнь становится дороже и дороже. Даже скромный костюм сестры милосердия уже стоит более сотни рублей, и потому я должна заранее предупредить вас о том, что я вас оберу.

— Однако.

Они остановились. Саблин обогнул их в эту минуту и он услышал отчетливо и резко произнесенное слово:

— Пятьсот.

XXIV.

Петроградский тыл изумил Саблина. Не то, чтобы Саблин ожидал увидеть и услышать что-нибудь иное. Он знал, что тыл всегда тыл, то есть, что в нем и должно группироваться всё трусливое и малодушное, всё жаждущее развлечений во что бы то ни стало и какую бы то ни было ценою. Он знал, что никакая война не в силах изменить характера и привычек графини Палтовой, а с нею и всего Петроградского света — это его не поражало, но поразила его распущенность гарнизона и его новых офицеров.

Душно и противно было в Петрограде, несмотря на зиму, снег и морозы. Скучно, несмотря на развлечения. Даже дочь его не развлекала. Тихая и скромная Таня только что становилась из девочки девушкой и уже забирал ее цепкими сетями Петроградский свет. Она росла вне дома. Была мать — мать умерла, ушла так трагически страшно. Был брат, которого она боготворила, и брат ушел, погиб в конной атаке. Без нужды погиб. Попал в атаку случайно, любителем, и убит... Таня осталась одна, на попечении института и старой, сухой англичанки мисс Проктор. Растет его дочь — а что в ее душе, что думает она, о чём мечтает — кто знает?

Саблин торопился — **домой**, в дивизию, в маленький домик священника села Озеры, к драгунам, уланам, гусарам и казакам. Они, которых он знал менее полугода, были ему дороже и с ними было уютнее, чем в старой петроградской квартире, на улице Гоголя, где так много пережито счастья и горя.

Проснувшись на другое утро, после вечера у графини Палтовой, Саблин долго лежал в постели, посланной ему на диване в кабинете. Было девять часов утра. Поздно, по понятиям Саблина, встававшего у себя в семь часов, и в восемь уже отправлявшегося на позицию, и очень рано, по понятиям его дома, где он чувствовал себя теперь как бы в гостях.

Серый зимний день тихими сумерками колыхался за окном, занавешенным желтоватою шторой в мелких складках. Портьеры не были задвинуты и кабинет, с наскоку и

временно устроенной из него спальней, казался чужим. На письменном столе стояли кое-какие старые безделушки, но бумаги были убраны, чувствовалось что за ним давно никто не работал и он имел мертвый, покинутый вид. Против дивана висел большой портрет Веры Константиновны. Кротко и ясно смотрели большие синие глаза. Слишком большие, слишком синие, чтобы лгать. И она не солгала ему. В шкапу ее страшный дневник, написанный ею перед самоубийством.

Саблин потянулся сильным и крепким телом, с чувством животной радости ощутил под собою чистое свежее белье, мягкие подушки и тюфячок, положенный на пружинный диван, и широко открытыми глазами посмотрел на портрет.

Белая роза была приколата в золотистых волосах Веры Константиновны, счастливая улыбка застыла на прекрасном лице. Но Саблин не видел ее такою, какою она была на полотне. Из-за красок смотрело на него другое лицо, искаженное нечеловеческой мукой стыда и отчаяния.

„Простил-ли?“, — спрашивал взгляд синих глаз и жутко становилось от полного муки вопроса.

Ужас вставал перед ним и смотрел на него красками портрета.

„Простил ли?“.

— Да, простил. Хочу простить. Когда я познал всю силу христианской любви. Кажется... могу простить.

Он отвернулся от портрета.

Могу ли?

Отдохнувшее тело жаждет женской ласки, а ты ушла, ушла моя Вера!!..

Саблин с тоскою и упреком посмотрел на портрет. Ему стало жаль себя. Неужели и ему, как Самойлову, искать утешения и минутной радости в объятиях Любовь Матвеевны, звать ее к себе, раздевать ее, на глазах у портрета, в квартире, где живет его дочь?... Или ехать к Ксении Петровне, хорошенькой тридцатилетней разводке, которая вчера смотрела на него в свой черепаховый лорнет большими карими выпуклыми глазами и говорила ему, запинаясь —

— Как вы интересны, Александр Николаевич! Вы мне так нравитесь! Приезжайте ко мне завтра, в шесть.

Он смотрел на ее рыжие крашенные волосы, на лицо, тронутое белилами и румянами, на блестящие зубы, мелькавшие из-под алых губ чувственного рта и что-то старое, напоминавшее ему его корнетские годы и Китти, вставало перед ним.

— Зачем? — спросил он ее, а глазами говорил ей — ты дразнишь меня.

— Я встречу вас с бульоткой чая и бутылкой хорошего коньяка, на шкурах белого медведя, в своем любимом беличем халате, такая мягкая, мягкая...

— А под халатиком что будет? — спросил Саблин, невольно впадая в ее игривый тон.

Она засмеялась ему в лицо и белые зубы сверкнули жадно. Она повернулась к нему спиной и, повернув голову, кинула ему:

— Ma peau!...*)

И пошла, чуть покачивая широкими бедрами...

Саблин вздрогнул. Вера Константиновна смотрела на него, улыбаясь синими глазами.

„Простишь ли?“, — подумал Саблин и всем существом своим почувствовал ответ: — прощу! прощу!.. Хочу, чтобы ты был хоть на миг счастлив!

Сытый, холеный зверь просыпался в Саблине.

„Простишь!“ — вдруг подумал он. „Ты-то простишь, а те...“

И с необычайной ясностью встала перед ним река, покрытая пробитым льдом, мост, — нелепо торчащий посреди, и серые солдаты, осторожно спускающиеся к воде... Могила казака. Крест из двух лучинок и серые землистые лица... Простят ли?

Не довольно ли? Китти, Маруся, Вера Константиновна... Были и другие. Сытая, праздная жизнь, визиты, рауты, обеды, балы, красивые манёвры, блестящие парады, шумное военное поле, трубачи, вся эта жизнь — между полем и театром, запах солдатского пота по утрам, а вечером аромат духов и возбужденные лица красивых женщин.

*) Моя кожа.

Не довольно ли?...

„А что же”, — подумал Саблин. „Разве не умели мы умирать и драться? Ну что же? Вот началась и больше года идет великая война. Без снарядов и патронов мы дрались, и разве в пехоте нашей нет смелых Долоховых и терпеливых Максим Максимычей, разве в коннице выветрились и вывелись Васьки Денисовы и смелые Ростовы, а в артиллерии Тушины? Русская армия жива и будет жить и побеждать. Тихий философ Платон Каратаев еще стоит в ее рядах...”

„А что, если ...”

„Если они уже умерли. Эти полтора года войны унесли столько жизней! Сколько легло на полях Восточной Пруссии и Галиции, сколько зарыто в отрогах Карпат и в болотах Польши!”

„Но другие идут на смену.”

„Другие!?...”

Саблин сказал это слово почти вслух и даже сел на постели, пораженный страшной мыслью. „Кто же идет? Этот офицер-куплетист, который пел вчера у графини Палтовой — **солдаты идут...**” После ужина они заперлись в маленькой гостиной графини. Барышень прогнали танцевать. Были дамы, генералы и много новых, нового типа офицеров. И этот... тоже офицер... во френче, в серых галиффэ и в гетрах, под гитару, говорил куплеты, где в каждом слове, в каждом звуке был грязный циничный намёк. Его слушали... Дамы общества и эта молодежь...

Саблин смотрел на них. Погоны, знакомые значки родных гвардейских полков и училищ, но между ними новые не офицерские лица....

Один задел неловко даму —

— **Извиняюсь**, — нагло сказал он.

Трое сидели на стульях в то время, когда дамам не хватило места и они стояли. Один закурил папиросу, ни у кого не спросив, ни у дам, ни у старших. Саблин оглядывал их. Они все были трезвы, но из них глядела развязная свобода, почти наглость.

Саблин хорошо знал, что офицеры делятся на целый ряд разновидностей. Есть офицеры гвардии и армии, у каждого рода войск свои типичные особенности, — но все старые офицеры отличались рыцарскою вежливостью, вниманием к дамам. В них не было бесцеремонной развязности. Были между ними бурбоны, были нахалы, но **хамов** не было. От многих из этих новых веяло именно хамством, подчеркнутой свободой от всех красивых условностей.

„Мы”, — думал Саблин, — „могли увлекаться Китти, могли губить невинных девушек, как я погубил Марусю, мы пьянствовали, развратничали, но у нас было всё же божество, вера, идеалы и мы бережно несли наш высокий девиз: **за веру, Царя и отечество**. Мы не могли надсмехаться над верой, ругать Царя и не любить отечество. Мы не изменим”.

„А эти... Есть ли у них вера? Я не говорю о глубокой вере, есть ли у них хотя наружная вера, состоящая в умении стоять в церкви, поставить свечку, приложиться к иконе. Есть ли у них, хотя бы видимая дисциплина духа, которую дает религия”.

„Царя они не любят. А Родину?”

Это были новые офицеры, с новыми понятиями. Да, среди них еще были люди старого вида; это те, кто вышел из лицея, училища правоведения, из кадет, — эти держались особо, старались не смешиваться с толпою, но масса, но большинство, были новые и какие странные!

Саблин долго подбирал им название, долго искал, как определить их одним словом и вдруг это слово блеснуло у него в голове и холод побежал по его спине.

Революционные офицеры...

Ужели правда, что будет то, что словно носится в воздухе, о чем ему вчера намекали дядя Обленисимов, Самойлов, Пестрецов и другие. Ужели будет революция!

Решение уехать обратно, на позицию, крепло в нём. Одевшись, он позвонил. В дверь постучали нескоро. Вошла горничная его дочери, Паша. Хорошенькое лицо ее еще было красно от сна, она была наскоро, но по моде причесана и одета нарядно и богато. Она смотрела на Саблина открыто и развязно.

— Барышня встала? — спросил Саблин.

— Татьяна Александровна еще спит, — отвечала Паша.

Саблин смотрел на нее, Паша смотрела на него и первый смутился Саблин.

— Хорошо, — сказал он. — Дайте мне сюда чаю. И принесите мой чемодан. Я сегодня уезжаю.

XXV.

Весь день Саблин провел с дочерью. Они пошли вместе гулять по любимым улицам Петрограда. И опять Саблину показалось, что лицо города стало другое. Его поразило обилие вещей в ювелирных магазинах. Бриллианты, драгоценные камни, золото сверкали повсюду и, повидимому, не смотря на безумные цены, находили сбыт. Саблин изучал дочь и был ею доволен.

Таня, зайдем, я хочу купить тебе на память эти сережки с бирюзой. Они так пойдут к тебе, — сказал он, останавливаясь у витрины ювелира.

Девушка улыбнулась бледной улыбкой.

— Нет, папа, — сказала она. — Не покупай мне теперь. Мне совестно носить такие вещи во время войны.

— Тебе понравилось вчера у Натальи Борисовны? — спросил он.

— И да, и нет... — сказала Таня. — Мне было неудобно. Столько страдания кругом из-за войны, что странно веселиться. Мне, папа, не понравилось, как вели себя многие офицеры. Правда, папа, они не похожи на офицеров?

Саблин не отвечал.

— Папа, — тихо сказала Таня, когда они, молча прошли всю Морскую. — Папа, ты будешь представляться Императрице?

— Нет, — сухо отвечал Саблин, — я сегодня уезжаю к дивизии. Мне надо.... А почему ты это спрашиваешь?

— На прошлой неделе великая княжна Ольга Николаевна спрашивала меня, почему ты ни разу не был в отпуску, даже после ранения. Она сказала, что Императрица тебя так любит и до сих пор не может забыть маму.

— Таня, — сказал Саблин, сжимая руку своей дочери, — никогда не говори мне об императрице и о матери одновременно. Ты не должна знать...

— Нет, я знаю, — спокойно сказала Таня.

— Что ты знаешь? — спросил Саблин и почувствовал, как волосы зашевелились у него под фуражкой.

— Императрица много зла сделала маме, — прошептала Таня.

— Какого зла? — спросил Саблин.

— Я не знаю. Но императрица сказала: — я виновата перед вашей мамой, но я надеюсь, что там она меня простила.

— Таня, прошу тебя, не говори, пожалуйста, никогда об этом.

— Хорошо, папа. Но императрицу надо простить. Она так несчастна. Ее нужно любить.

Они прошли мимо массивной гранитной ограды сада у Зимнего Дворца и вышли на набережную. Белые тучи, застилавшие утром небо, раздвинулись, и бледно-голубое небо открылось над Петропавловским собором. Ширь Невы, покрытой снегом, сверкала перед ними. У крепости стрелял пулемет. Солдаты на льду учились стрельбе. Вправо стоял холодный и заиндевельный Зимний дворец и странными казались на нем вывески Красного Креста. Вся красота набережной открылась вдруг под лучами бледного зимнего солнца и захолонуло сердце у Саблина от охватившего его восторга перед спокойным величием царственной Невы. Должно быть, и Таня испытывала тот же восторг.

— Папа, сказала она, сильно сжимая его руку своей маленькой ручкой в шерстяной тёплой перчатке. — Папа, неужели немцы возьмут Петроград?!

— Что ты, родная моя, — сказал Саблин. Да разве же это возможно?

— Папа, мне вдруг представилось, что чужие завладеют нашим городом, что они разрушит и пожгут прекрасные здания дворцов, разорят Эрмитаж, вывезут картины и нам нельзя будет жить здесь. Папа, скажи, что это невозможно.

— Ну, конечно, невозможно, — сказал Саблин, но голос его звучал нетвердо.

— Ты не допустишь этого? — сказала Таня и с гордостью посмотрела на отца и на георгиевскую ленточку, нашитую в петлицу его пальто.

В уме Саблина прошло опять это странное слово: — революционные офицеры!.. Но он мысленно оборвал себя.

„Ничего! Еще надо, чтобы у этих революционных офицеров были и революционные генералы...”

XXVI.

Поезд на Сарны отходил вечером. Таня с Пашей приехали провожать Саблина. Справа с дачной платформы отходил поезд на Царское Село и там видны были богато одетые гусарские и стрелковые дамы и с ними офицеры, кто в защитных, кто в мирного времени ярких цветных фуражках. Придворный лакей провожал какую-то даму и нес за нею большой пакет. Жизнь шла такая же яркая, пестрая и шумная, не желающая ничего знать о войне. Не видели крови, а кровь сама вопияла к небу.

Купе международного вагона было залито электрическим светом. Вежливый проводник почтительно пропустил Саблина и сказал ему: — до Царского одни изволите ехать, а в Царском еще пассажир сядет.

„Всё равно”, — подумал Саблин. Неясная тоска сжимала сердце. „Неужели предчувствие”, — думал он, крестя Таню, „неужели я более никогда не увижу эту милую, чистую девушку”.

Он долго стоял на площадке и смотрел на Таню, быстро шедшую за вагоном, глядевшую полными слез глазами и махавшую платком.

„Нет”, — думал он. — „Это мне так показалось. Никакой революции. Ведь в сущности всё идет хорошо. По-старому. И эти Распутины, Варнавы, Штюрмеры — это только едкий привкус и больше ничего. Нервы расходились в тылу — на фронте будет лучше. Если и есть революционные офицеры, то их мало. Они потонут в нашей массе; революционных генералов нет и не может быть”.

Поезд остановился у Царского. Чей-то женский голос, весело кричал у самого окна: — „до свидания! до свишвещия. И поскорее приезжайте! Кончайте вашу несносную войну. Будет, повоевали”.

Голос был знакомый.

Саблин приложился к окну, закрывая ладонями лицо от света и увидел сестру милосердия, весело прощавшуюся с генералом. Генерал был Самойлов, сестра — Любовь Матвеевна.

Через минуту, когда поезд тронулся, в купе вошел красный от мороза Самойлов.

— А, ваше превосходительство, — приветствовал он Саблина, — вот приятный сюрприз. До Могилева, значит, вместе. Поболтаем. Ну как вы нашли наш тыл?

— Ужас.

— Ну..... Что вы?.. Идет работа... Да... Великая, большая работа.

— В чём вы ее видите? — спросил Саблин.

— В подготовке революции — шопотом сказал Самойлов. Саблин отшатнулся от него.

— Что? испугались, ваше превосходительство? Я так и знал. Вас слово пугает. Понимаю. Конечно, страшно, Вы, бывший флигель-адъютант, генерал свиты Его Величества, гвардейский офицер и вдруг слышите такие слова и от кого же? от старого, заслуженного генерала, едущего в Ставку... А вы привыкайте....

— Во время войны? — сказал Саблин.

— Вот и ловлю вас. Значит, не во время войны, уже можно, — улыбаясь проговорил Самойлов.

— Нет, я этого не говорил, — горячо возразил Саблин, — и никогда этого не скажу.

— Будто, — хитро сощуривая глаза сказал Самойлов.

— Ну, а ежели я вам скажу, что иначе нас ожидает сепаратный мир — не произнес, а еле слышно, как бы продохнул, Самойлов.

Саблин ответил не сразу.

— Что же....., спокойно начал он. — Сепаратный мир, если посмотреть на него с Русской точки зрения, это уже

не такая плохая штука. Народ устал от войны. Настоящая армия погибла на полях сражений. Лучшее офицерство полегло. Пополнения приходят всё хуже и хуже. Армия постепенно обращается в милицию. Положим, что у противника положение приблизительно такое же. Сепаратный мир мы заключили бы, конечно, не даром. Надо полагать, что он разрешил бы все те вопросы, которые давно тяжелым бременем нависли над Россией и прежде всего Балканский.

— Да, Константинополь и проливы остались бы за нами, — вставил Самойлов, — с удивлением слушавший спокойную речь Саблина.

— Вот видите. Наверно и Персидский вопрос вырешился бы не худо.

— Наше влияние в Малой Азии безусловно окрепло бы и гавань в Персидском заливе была бы за нами обеспечена, — проговорил Самойлов.

— Ну, вот видите. Внешне Россия достигнет такого могущества, о каком и мечтать не могла. Смотрите дальше. Народные массы устали от войны. Надвигается дороговизна, а с нею и голод. Войскам война надоела. Все данные к тому, что мы совсем завязнем в окопах и перейдем к позиционной войне, Мир будет встречен массами с энтузиазмом, особенно, если его подкрепить еще хорошим манифестом о земле, так мол и так, „Российское победоносное воинство, кровью своею заслужившее перед Нами и Родиной, имеет рассчитывать, чтобы и Мы не забыли заслуг в верности Нам, на полях сражения показанных. Следуя примеру, деда Нашего” — и т. д. и т. д... Вы понимаете, как укрепится в народе любовь и уважение к Царю. А если интеллигенции нашей кинуть хоть какую ни на есть конституцию, да подкормить хорошенько прессу, — такое славословие начнется. И, согласитесь, Николай Захарович, во всей истории России это будет первый случай, когда мы повоюем для себя. Не за болгар, не за австрийцев, пруссаков, или французов, а для себя. Да благодарное потомство памятник поставит такому императору и назовет его не только миротворцем, но и мудрым.

— Но... изменить своему слову! Предать союзников! Вы говорите страшные вещи. Вы говорите то, что говорит Штюрмер.

— Значит, он не такой глупой парень, как о нем говорят. Вы говорите: изменить союзникам. Кому? Англии и Франции? Ну, а они не изменят нам, пожалеют нас, если нам плохо будет? Не наша ли интеллигенция так осуждает и Павла и Александра I, и Николая I, и Александра II, за то, что Россия играла роль европейского жандарма. За кого только не лилась кровь Русского солдата! Какие троны не укрепляла она! Не нашим ли солдатам обязан Франц-Иосиф своим престолом и за то добро, которое ему сделала Россия он точно мстил ей и мстит теперь. Не будет ли того же с Францией и Англией? Политика сердца — плохая политика, но, к сожалению, это именно Русская политика. Как думаете вы, с каким чувством пойдут в бой Русские солдаты, если я скажу им, что они идут умирать за Англию? Вы свалите трон во имя верности союзникам, но армия не пойдет умирать за интересы британского народа.

— О, Александр Николаевич! Вы проглядели в Петрограде главное. Нового солдата и офицера.

— Напротив. Их-то я больше всего и наблюдал. О них-то я и думал, когда с самого начала сказал вам одно слово: — ужас.

— Да, вам не понравилась их стрижка волос, их свободная дисциплина, их, может быть, некоторая неряшливость в одежде, в отдавании чести. Внешней дисциплины в них мало, это правда. Но мы готовим, Александр Николаевич, сознательного солдата, — сказал Самойлов.

— Это не будет нескромным с моей стороны, если я спрошу у вас, кто это **мы**.

— Мы? — отвечал Самойлов, — это те военные, которые видят, что правительство идет по ложному пути, которые сознали, что старая система войны приведет нас к поражению, и мы ищем новых путей. Фамилий я вам называть не буду. Но, зная вашу любовь к военному делу, я думаю, что и вы тоже принадлежите к **нам...**

— Новых путей в военной науке я не ищу. Я верю в нее. Для меня заветы наших великих полководцев святы. С ними я всегда побеждал и надеюсь побеждать и впредь, — сухо, с достоинством, сказал Саблин.

— Но, ваше превосходительство, — накладывая свою полную руку с опухшими мягкими пальцами на маленькую породистую загорелую от солнца и мороза руку Саблина, — сказал Самойлов, — вы не станете отрицать завета Суворова, что всякий воин должен понимать свой маневр.

— Всегда это не только исповедовал, ни и проводил в жизнь, — еще суше проговорил Саблин.

— Вот видите, — вкрадчиво, точно протискиваясь в душу Саблина, заговорил Самойлов. — Мы готовим сознательного солдата, то есть такого, который мог бы разбираться во всей сложной политической обстановке. Солдата, способного на критику и анализ.

— Иными словами вы хотите внести в армию политику? — с негодованием воскликнул Саблин.

— Ну... Немножко политики. Нам нужно, чтобы армия поняла, что Распутины не олицетворяют Русскую монархию, что Варнавы, Штюрмеры, Сухомлиновы недопустимы. Нам нужна сила, чтобы сломить упрямство. Может быть: — маленький дворцовый переворот.

— Сумеете ли вы остановиться на этом?.. Оставьте меня. Мне страшно слышать всё, что вы говорите. И с такими мыслями вы едете в Ставку! Боже, Боже, что же это такое!?

— В Ставку я вызван, как муж совета, — не без комичного достоинства сказал Самойлов.

— Я должен донести на вас! — сказал Саблин.

— Донosite. Но знайте, что нас много и нас всех вы не перевешаете. Мы сильные мира сего, с нами не только высшее командование, но и великие князья. А кто с вами?

— Солдаты! — горячо воскликнул Саблин.

Самойлов скривил лицо в презрительную усмешку.

— Вы им верите? Стадо баранов, подкупный низкий Русский черный народ, который пойдет за тем, кто покажет ему лучшую приманку, кто больше посулит, — сказал, вста-

вая, Самойлов. — Вы пойдете обедать? Тут вагон ресторан есть.

Саблин смотрел на него с ненавистью.

— Нет, — коротко сказал он. — Я пообедал дома.

— Как хотите, — потягиваясь проговорил Самойлов. А я так много любил эти дни, что чувствую теперь страшный аппетит.

И, нагнув свою лысую голову, поросшую по краям, как бахромою, косичками жидких седых волос, и, поёживаясь плотными плечами, Самойлов спокойно вышел из купе.

Саблин откинулся на подушки вагона. Он был голоден. Дома он не только не обедал, но и не завтракал, не успел за спешными сборами в дорогу. Но мысль о том, что придется сидеть с этим ужасным человеком и, быть может, продолжать тяжелый разговор, лишила его аппетита. „Нет, ни за что! Я ненавижу его! **Революционный генерал.** Вот уж и они появились в России, как грибы на болоте, эти вожди революционных офицеров, революционные генералы”, — подумал Саблин.

„Боже, Боже! Давно ли восхищенный Твоим кротким учением я дал завет чистой христианской любви и вот уже скольких я ненавижу! Я не могу простить императрице, я ненавижу Распутина, я ненавижу этих новых сознательных офицеров и солдат, я ненавижу революционного генерала Самойлова. Вместо любви — ненависть. Любить ненавидящих нас, но если они ненавидят не меня, а Родину, ненавидят Тебя, Распятого за нас! Где найдешь ответ?”

Саблин вытащил из дорожного чемодана Евангелие, развернул его на первой попавшейся странице и первое, что бросилось ему в глаза, были слова Христа: --

— Мне отмщение и Аз воздам!

Саблин задумался и поник головою. „Значит нет свободной воли у людей, значит всё, что теперь происходит, это — Твоя великая воля, Тобой предначертано”.

„Но тогда — нет преступлений. И убийство не грех”.

Мысль блуждала в лабиринте противоречий и упиралась в тупики безнадежности.

Самойлов застал Саблина за чтением Евангелия. Он ско-сил глаза на книгу, чуть заметно презрительно улыбнулся и шумно стал раздеваться. Он позвал сопровождавшего его денщика и заставил его стягивать сапоги и рейтузы, желчно ругаясь, когда тот в тесноте вагона неловко брался за его платье.

— Дурак, штрипку оборвешь!.. Болван! не тяни за шпо-ру, выше берись. Эк-кая дубина!

Он вытянулся под одеялом, демонстративно взял из сетки желтую книжечку веселого французского романа и начал со вкусом разрезать большим, отделанным ногтем страницы.

Самойлов чувствовал себя молодым, бодрым и прекрас-ным. Он создавал новую Россию, и ему казалось, что и сам он становился новым и не чувствовал бремени своих пятиде-сяти шести лет.

Они не говорили больше ни слова до самого Могилева и Самойлов вышел, не прощаясь с Саблиным. Когда он вы-шел, Саблин вздохнул полною грудью, ему показалось, что самый воздух в купэ стал легче и чище.

XXVII.

Поезд, на котором ехал Саблин, сильно запоздал и толь-ко в третьем часу ночи прибыл в Сарны.

Два дня назад, в Петрограде была суровая зима, блед-ное солнце не грело холодный гранит обледенелой набереж-ной и железные решётки садов, а здесь даже ночью чуялось легкое дуновение весны. Было около пяти градусов мороза, но воздух был так чист и нежен, что казалось, что вот-вот начнет таять и двинется сразу южная весна.

На станции было темно. Тускло горевшие керосиновые фонари бросали пучки света на грязную истоптанную дере-вянную платформу, а кругом был черный мрак. По ту сторо-ну путей на синем воздушном небе тянулись ветви больших раскидистых акаций и деревья таинственно, по-весеннему шумели, качая черными ветвями. Невдалеке протяжно сви-стел паровоз, настойчиво требуя себе пятый путь, но стре-

лочник спал и он повторял свои свистки надтреснутым, точно простуженным, голосом.

Пассажиров сошло немного. Это были солдаты, возвращавшиеся из отпуска или из командировок. Они вздевали за плечи уязки и, хрипло, заспанными голосами, переговаривались.

Саблина встретили его любимый ординарец, гусар, унтер-офицер Шаповалов, денщик-гвардеец, вышедший с ним из Петрограда и ставший как бы членом семьи — Семен, и шоффер его автомобиля, солидный Петров, до войны служивший шоффером у одного Петроградского богача. Они все искренно обрадовались Саблину.

— С приездом, ваше превосходительство, — говорил Семен, входя в вагон и снимая сильными руками с сетки чемоданы. — Мы вас и не ждали так рано. Мало отдохнуть изволили. Как здоровье ее превосходительства Татьяны Александровны? А мисс всё у вас? И Паша то же? Ну той что, толстая она, бесчувственная...

— У нас что? — отвечая на вопросы, спросил Саблин.

— Всё по-хорошему. Мирно. Тихо. Леда по вам соскучилась, ждет поездки. Флорестана вчора подковали. В акурат шесть недель вышло. Шаповалов, возьмите несессер, а я чемоданчик поташу.

Шаповалов, ожидавший на платформе, громко отвечал на приветствие и сообщал новости о жизни всей дивизии.

— Ротмистру Михайличенко Анна второй степени с мечами вышла за Железницкий бой и хорунжему Карпову егорьевское оружие присудили, третьего дня из штаба Армии прислали. А тут ваша телеграмма подошла, что вы обратно едете. Начальник штаба приказал вас обожждать. На завтра к трем часам их вызывают. И трубачей к обеду заказали от уланского полка. Матушка пирог спечь обещали.

Словно в семью въезжал Саблин. В Петроградском доме ему не было так уютно, радостно и тепло, как здесь, среди этих людей.

Петров в отличной шубе с алыми погонями шел сзади и докладывал ему о дороге.

— Дорога отличная. И снегу не так, чтобы много. Только в Боровом немного, застревали, как сюда ехали... А воду брать будем на мельнице. Там не замерзло. Часам к девяти поспеем.

На площади, в которую упирались темные улицы местечка, с деревянными двухэтажными домами, еще погруженными в предутренний сон, стоял любимый Саблиным сильный и грубый „Русско-балтийский”. Яркие фонари бросали длинные снопы света на дорогу и упирались в дом, освещая окно, плотно затянутое спущенной белой шторой. Мужичьи сани дожидались кого-то и маленькая лохматая гнедая лошаденка, накрытая рогожей, пугливо косилась глазами, казавшимися огненными рубинами в лучах автомобильных фонарей. Поляков, помощник шофера, в такой же шубе, как и Петров, вытянулся навстречу Саблину.

— Здравия желаю, ваше превосходительство, — отвечал он. — Заводить прикажете?

— Да, едем, — сказал Саблин.

Он любовно смотрел на освещенный верхним фонариком дивизионный флажок, синий с желтым, со ставшей ему родною цифрой дивизии, и на возившегося на четвереньках у ключа Полякова и чувствовал, как холодная ненависть отходит с его сердца и христианское чувство любви и братства горячим ключом заливает его.

Он сел в автомобиль. Шаповалов и Семен заботливо укутали его ноги бараньим мехом. Автомобиль фырчал и трясся.

— Можно ехать? — оглядываясь, спросил Петров.

— Да, трогай, — отвечал, радостно набирая грудью свежий ночной воздух, Саблин.

Скрипнуло железо рычага. Петров сильно и уверенно надавил педаль и небрежно, рукою в кожаной перчатке, взялся за руль. Автомобиль дрогнул и мягко тронулся по белому укатанному снегу. Лошаденка в санях затряслась всем телом, быстро переступая с ноги на ногу и притворяясь, что хочет понести, но едва автомобиль прокатил мимо и всё погрузилось в сонную тьму, она успокоилась, тяжело вздохнула и принялась есть брошенное у ее ног сено.

Как в сказке, в темноте ночи, вдруг возникали освещенные огнями фонарей, — выступ дома, серое крылечко в три ступени, надпись на вывеске, далекая мельница-ветряк на горе, покрытой снегом, ряд низких ветел на гребле. Выплывет камень или придорожный крест, темная капличка и в ней гипсовая раскрашенная Богоматерь, увешанная увядшими цветами и выцветшими лентами. И снова пустынные поля, покрытые тонким слоем снега и точно разлинованные старыми бороздами пахоты.

Тихий лес надвинулся незаметно. Стало теплее и уютней. Пахло сыростью, где-то шумела вода. Автомобиль стоял на плотине у мельницы. Машина больше не стучала. Люди молчали и видно было, как внизу, у темной воды, возился с парусиновым ведром Поляков.

Звезды мигали на небе. Под мехом было тепло. Саблину не хотелось спать. Ему хотелось, „чтобы вечно, вечно так было”.

Шум лениво льющихся подо льдом струй не нарушал, но лишь усиливал спокойствие ночи.

Автомобиль освещал дорогу и темный бор, дружно обступивший по обеим сторонам широкое шоссе. Было кругом, так мирно и тихо что странно было думать, что едешь на войну, на позицию.

Потом опять долго шумел автомобиль и мягко подбрасывал на ухабах. Шаповалов и Семен, сидевшие на передних местах привставали, вглядывались в лес и озабоченно переговаривались с Петровым.

А вы не проехали, Афанасий Павлович, — спрашивал Шаповалов.

— Нет. Еще фабрики не было. Вот слева фабрика будет. Там и поворот.

Светало. Звезды одна за другой погасали. И только утренняя звезда долго горела в позеленевшем небе и становилась больше и ярче. Под нею небо розовело, желтело и вдруг полились оттуда, из-за снежной равнины огненно-красные лучи.

Солнце всходило.

Стало холоднее. Но такая радость была разлита в зимней природе, такую бодростью был пропитан воздух, что Саблин снял серую папаху, и дышал полной грудью, отдаваясь радости бытия и отгоняя прочь все черные мысли...

По узкому проселку между сдвинувшихся ясеней молодого леса, по бревенчатой гребле над болотом выехали из леса и попали в широкое раздолье невысоких холмов, ложбин и балок. Ветряные мельницы весело махали крыльями навстречу автомобилю.

— Ишь поляки-то, — сказал Семен — и в воскресенье мелют, что значить нужда в хлебе.

Автомобиль поднялся на холм, стала видна широкая даль, опушенная по краям темными лесами.

Село Озеры разбежалось маленькими серыми хатками по склонам холма и обступило замерзшее озеро. Там, где ветер сдул снег, озеро сверкало зеленым изумрудом и горело на солнце. Крошечная, бледно-голубая церковь, окруженная деревьями, стояла, у берега. Улицы селения расходились во все стороны, узкие и кривые. То и дело встречались солдаты в коротких полушубках нараспашку, в папахах сдвинутых на затылок, с румяными свежими лицами. Они вели рослых гнедых лошадей, должно быть, с уборки по дворам. Они подтягивались при виде автомобиля, короче брали лошадей и радостно смотрели на Саблина. Они любили своего начальника дивизии тою безотчетною любовью, которую любил Русский солдат смелых и твердых, но не заносчивых и не гордых начальников.

XXVIII.

В штабе его ждали с чаем. Маленький на кривых ногах, рыжеватый бойкий полковник Варлам Николаевич Семенов, его начальник штаба; капитан Давыденко, черный и стройный, щеголяющий своими длинными усами; толстый врач Успенский и два молодых ординарца, корнеты Павлов и фон Даль, выстроились в столовой. Там же были и хозяйева дома, молодой священник и его смазливая жена, предмет общего поклонения и ухаживания.

— Ну, что, батюшка, совсем успокоились? — спросил священника Саблин. Священник всё боялся, что Русские войска еще отступят, отдадут Озеры немцам и ему придется бежать. Он насмотрелся на беженцев за год и не мог без ужаса думать, что ему нужно будет покинуть свое молодое хозяйство.

— Начинаю веру иметь, ваше превосходительство. Кажись, прочно стали. Я и солдатиков спрашивал — говорят: стоим твердо. Вот как со снарядами? Там бы не подвели?

— Могу вас порадовать. Снарядами, патронами и даже оружием к весне будем завалены.

— С весною, может быть, и в наступление? — робко спросил священник.

— Да, наверно так.

— Вот хорошо бы. И Ковель забрали б, и Холм, и Владимир-Волынский, а там поди и Варшаву.

— Там видно будет. А вы матушка как?

— Я что? — смущаясь и краснея до ушей и улыбаясь милой улыбкой сознающей силу своей красоты и все-таки боящейся начальства женщины, отвечала попадья. — Я храбрее отца. Я и то его уговорила. Без вас ездили в Домбровицу, у пана семена купили на посев. Свою пшеничку хотим посеять. Огородных семян тоже взяли. Нынче, благодаря милости вашей, навозу много у нас, огороды хорошо будет разделать. Я уж так верую, что не отступите, как на каменную стену надеюсь; а уж если прогоните так, что пушек не станет слышно, да раненых возить перестанут! Вот славно-то будет. И о войне позабуду.

— Да вы и так, Александра Петровна, не очень то о ней помните. Без вас, ваше превосходительство, Александра Петровна какими пирогами нас угощала, какие вареники с вишневым вареньем делала! Пальчики оближете, а ей ручки золотые расцелуете, — сказал начальник штаба.

— Ну что уж, где уж, нам уж! Скажите тоже они все смеются с меня. Вот, погодите, летом, Бог даст, я вам вареники со свежим вишневым подам. Отец, помнишь, как на

свадьбу подавали, — обратилась она за поддержкой и помощью к мужу.

— Э, что Александра Петровна, загадывать на лето, — сказал Давыденко. Летом мы в Берлине уже будем.

— Да, Александра Петровна с нами поедет, — сказал начальник штаба, — Тихон Иванович ее сестрою милосердия берет.

Все засмеялись. Толстый врач Тихон Иванович Успенский был женоневистник.

Сели за длинный стол, накрытый розовой, в белых узорах, плотной скатертью, на которой шумел, пуская густые пары к низкому потолку, большой медный самовар и стояли сливки, свежее, вручную сбитое масло и разные домашние булочки и печенья. В маленькие окна, сквозь кисейные занавески и круглые пестрые листья герани, гляделась зима, замерзшее озеро, холмы в отдалении и темный сосновый бор. За бором, верстах в тридцати, была позиция...

Канарейка и чижик в железной клетке заливались веселыми песнями, а из угла, где светила лампада, мягко и кротко смотрел Христос, точно радуясь видеть довольство и светлое счастье людей и слушать их веселую полную шуток болтовню.

— Вы не рассердились, ваше превосходительство, — сказал Саблину Семенов, — что я на сегодня вызвал награждаемых орденами и георгиевских кавалеров. Всего пятьдесят два человека. Может быть, вы устали с дороги и вам хотелось бы отдохнуть?

— Пустяки какие, Варлам Николаевич, — после чая съездим с вами верхом к корпусному командиру, а к часу я думаю и обратно. Успею и отдохнуть. Что же Карпову и шашку прислали?

— Какое! — с негодованием воскликнул Давыденко. — Такие жмоты в штабе армии! Только маленький крестик и темляк. А ведь, поди, деньги на всю шашку выписали.

— Мошенство, — вздохнул толстый Успенский.

— Экая досада, — сказал Саблин. — Мне так хотелось дать ему хорошую шашку с клинком хорошим. Чтобы память осталась. Потом он сыну, а тот внуку передал бы. Хо-

роший офицер! И отец был отличный офицер. К георгиевскому кресту был представлен, да не дождался, бедного, на Ниде убит.

— Дело поправимое, — сказал Давыденко, — если ваше превосходительство разрешите произвести маленькие депансы.

— А как? Хотелось бы сегодня. А ведь так скоро не выпишем ни откуда.

— Я достану.

— Ну? — сказал Саблин.

— Тут, в штабе Кубанского полка, верстах в двадцати, на прошлой неделе продавали вещи убитого есаула и в том числе отличную кавказскую шашку. Настоящая гурда. Клинок темный, с золотою турецкою надписью, отделана — загляденье! — серебро с золотом и чернью — рисунок удивительный. Назначили цену триста рублей. Сами знаете — такие деньги не всякий осилит. Шашка осталась непроданной. Разрешите послать ваш автомобиль, а деньги мы как-нибудь из хозяйственных сумм выведем.

— Зачем так, — сказал Саблин, вынимая бумажник, — порадовать молодого достойного офицера мне доставит громадное удовольствие. Я плачу. Вы только постарайтесь мне и беленький крестик в нее вставить.

— Будет сделано. Шофер Петров отличный слесарь. К трем часам так отделаем, — у Александры Петровны бархатную подушку с ее диванчика попросим и на подушке поднесем.

— Спасибо, Михаил Иванович. Так постарайтесь.

— Будет исполнено, ваше превосходительство, — ответил, вытягиваясь, капитан.

XXIX.

После чая, Саблин с начальником штаба собрались ехать верхом в штаб корпуса.

На улице, за палисадником поповского дома, бравый вестовой гусар в коротком полушубке и краповых чакчирах, в ярко начищенных сапогах до самого колена, держал под

уздцы вороную рослую лошадь. Сытая кобыла нервно рыла тоненькой точеною ногой снег, вздыхала и слегка пофыркивала, косясь на крыльцо, откуда должен был выйти ее хозяин. Блестящая тонкая шерсть была ровно приглажена и на солнце отливала в синеву. Коротко, по репицу, остриженный хвост нервно взмахивал вправо и влево, отмахиваясь от воображаемых мух или с силой бил по крупу. Леда знала, что она хороша, что она любима своим господином, что впереди хорошая прогулка по мягкой усыпанной снегом дороге, сладкий запах хвойного леса и солнце, а после теплый сарай поповской усадьбы, обильный корм и радостная встреча с ее старым другом Флорестаном и от этого всё существо ее было наполнено радостным волнением, сердце мощно билось и наполняло жилы горячей кровью. Она косилась на крыльцо, сердясь на хозяина, что он не идет и поглядывала на стоявшую поодаль группу из трех лошадей — начальника штаба и двух вестовых. Она их всех знала и всех ценила по своему.

Толстого и ленивого Бригадира, казенно-офицерского коня Семенова она глубоко презирала за его лень, за то, что он конь, за то, что он не понимал и не мог оценить всей ее кобылей прелести и кокетства. Голубка — серая кобыла вестового, с которой ей часами приходилось стоять рядом, была ее поверенной в лошадиных тайнах. Она, то объедала ее, выбирая лучшие травки из подкинутого им обоим снопка сена, то отдавала ей гордо свой недожеванный овес. „На”, мол, „ешь, Бог с тобой!” Кобылу Бочку вестового Семенова, она также презирала, как и Бригадира уже за одно то, что она покорно ходила за Бригадиром и стояла рядом с ним.

Леда слышала сквозь две двери голос своего хозяина и то прижимала тонкие, блестящие, душистые, шелковой шерсткой покрытые уши к темени, то косилась ими на двери, выворачивая темный агатовый глаз так, что белок показывался с краю, и тяжело вздыхала.

„И чего томит! И чего там болтают”, — думала она. „Скорее, скорее бы!”

Но вот он вышел. Она еще не увидела его, но всем существом своим почувствовала его приближение. Она нервно

вздогнула, перестала копать снег и замерла, в сладострастном ожидании.

— Леда! Леда моя! — услышала она ласковый голос и тихо откликнулась сдержанным ржанием.

— Ишь, отвечает! Узнала, — сказал вестовой Ферапонтов. Леда рассердилась на него. „Не мешай мне”, — будто сказала она и ударила гневно задней ногой о землю.

Мягкая, так хорошо знакомая рука потрепала ее по шее и по щеке и поднесла ко рту кусок сахара. Но Леда не взяла сахар. Она вся отдалась волнующему чувству душевной любви, она отбросила сахар и сладостно нюхала руку своего хозяина, своего господина, своего бога.

— Ишь ты, и сахар не ест, — сказал Ферапонтов, — ба-ловница! А узнала, ей Богу, узнала. Соскучилась за вами.

Натянулось левое путлице, коснулось бока колено и сразу приятная тяжесть легла на седло и Леда почувствовала свободу. Ей хотелось прыгнуть, затанцевать, подбросить задом, взвизгнуть, и поскакать, задрвав хвост, но мягкое нажатие на нижнюю челюсть железа мундштука и прикосновение сапог к бокам сказали ей: — „нельзя”. Она перебрала всеми четырьмя ногами, точно не зная с какой начать и пошла, широко шагая, подняв голову и шумно вбирая теплеющий под солнцем воздух.

Радость движения, радость жизни охватили ее простое существо и передались сознанием свободы и силы самому Саблину.

Играючи, она неслась широкою рысью и как бы говорила всем: — и лошадям, ее сопровождавшим, и маленьким воробушкам и белке пугливо вскочившей на елку и смотревшей оттуда любопытными черными глазами: — „смотрите, какая я, смотрите, как я могу” — и со стороны казалось, что она совсем не касается земли своими тонкими, напряженными, как струны, ногами.

— Какая красавица, ваша Леда! — сказал Семенов, — всё люблюсь на нее и не могу налюбоваться.

— Неправда ли? — ласково сказал Саблин и потрепал Леду по шее.

Леда согнула крутую шею, скосила глаз и под нажатием мундштука пошла шагом. Она поняла похвалу, поняла ласку и, гордая и счастливая, вытянув шею на отданных поводах, шла, себя не чувствуя от охватившего ее восторженного сознания, что она любима своим богом...

— Я очень рад, что вам удастся порадовать Карпова, — сказал Семенов. — Я с ним без вас ближе познакомился. Прекрасный юноша.

— Хороший офицер, — сказал Саблин.

— Его мечта умереть на войне. Вы знаете, он был в лазарете Императрицы и очарован. Мне кажется, бедняга безумно влюбился в великую княжну Татьяну Николаевну.

— Ну, это не страшно, — сказал Саблин.

— Он грезит умереть героем и чтобы только ее о том уведомили.

— Мальчишество, — сказал Саблин.

— А право, ваше превосходительство, есть много хорошего в этом мальчишестве. Ведь сколько их убито, сколько умерло по лазаретам с пустым сердцем. А этот умрет с сердцем, полным счастья и любви.

— Зачем так? Может еще нас с вами переживет.

— Ох, ваше превосходительство. Сколько их убито. Помните Сережина.

— Гусар?

— Гусарик... Так его сестры в корпусной летучке звали. Красоты неописанной был юноша. Что за брови, что за усики, пел — божественно! И, помните сестру Ксению — француженку. Ну, любовь между ними была, чистая, хорошая... О помолвке думать не смели. Каждый себя считал недостойным. Тогда в разъезде, у Камень-Каширского, рота германцев отрезала ему путь. „Ребята! за мной!” — в шапки врубился в роту, выскочил и всех людей вывел. Но у самого две пули в животе. Как он доехал — чудо. Привезли в летучку. Ну, Ксения над ним. Я был тогда в лазарете. Посмотрел на нас, на Ксению. Страдал, должно быть, ужасно. — „Как хорошо умирать!” — сказал, вытянулся, закрыл глаза и умер. Вот такой же и Карпов. Эти молодчики не только не

скажут, но и не подумают, что живому псу лучше, нежели мертвому льву.

— А есть такие, что говорят так? — спросил Саблин.

— Было немного. Становится больше. А ведь Карпов... Да ему теперь чтонибудь отчаянное поручить. Только очастливите!

„Какая хорошая дорога”, — думала Леда, идя по широкой аллее между двух канав, обсаженных громадными липами. Солнце пригрело и снег таял. Черная, блестящая и жирная земля обнажилась на колеях.

„Тут бы галопом хорошо! Ну, милый! галопом”...

Саблин понял ее просьбу, он подобрал поводья, разобрал по-полевому и не успел приложить шенкеля, как Леда радостно свернулась упругим комком, отделилась от земли и пошла, далеко выбрасывая правую ногу и подставляя левую красивым и легким галопом. Она прибавила ходу, на нее не рассердились.

„Вот хорошо-то!” — думала она, косясь на тяжело скакавшего Бригадира и всё прибавляла и прибавляла хода. Хвост ее вытянулся в одну линию с крупом и красивым опухалом свешивались с него блестящие волосы.

Так и дошли они все, возбужденные быстрым ходом, счастливые и взволнованные, полевым галопом до самого господского дома, где помещался командир корпуса.

XXX.

— У комкора начдив 177 и ком 709 полка, — сказал румяный, завитой офицер ординарец в изящно сшитом френче, пропуская Саблина и Семенова в темную гостиную, уставленную богатою старинною мебелью. — Впрочем, я доложу-с...

Он вышел и сейчас же вернулся. Ему доставляло удовольствие говорить входившими тогда в моду сокращенными выражениями, вместо „командир корпуса” — „комкор”, вместо „начальник дивизии” — „начдив”.

— Комкор вас просит, — сказал он.

Саблин прошел в небольшой кабинет, где сидел знакомый ему по Петрограду генерал-лейтенант Зиновьев и ка-

кой-то мрачного вида пехотный полковник. Командир корпуса, старый генерал-от-инфантерии Лоссовский встал ему навстречу.

— Как скоро вернулись, — сказал он. — Не понравилось, поди, в тылу! Но, как я счастлив! Вы очень и очень кстати. Давайте посоветуйте нам. Я с Леонидом Леонидовичем никак не согласен. Вы знакомы? Начальник кавалерийской дивизии генерал-майор Саблин. Наш Мюрат....

— Как же, — сладко улыбаясь сказал Зиновьев. — Имели удовольствие встречаться в Петроградском округе. — Я думаю, — обратился он к корпусному командиру — генерал мог бы нам помочь.

— Вот, видите, Александр Николаевич, — показывая широким жестом на карту, сказал Лоссовский, — у нас тут разногласие. И опять я слышу те слова, которые я терпеть не могу слышать и которых я не должен слышать: **Это невозможно.** Позвольте, господа, на войне нет ничего невозможного. Там, где люди готовы отдать жизнь, там не может быть невозможного. Да-с, — он надул крупные пухлые губы и разгладил свои усы с подусниками. — Поди, Суворову Багратион не говорил, что эт-та невозможно. Русскому солдату, милый полковник, всё возможно. Всё. Дело только в проценте потерь. Только в проценте! А на войне, не без урона. Да-с...

— Но если, ваше высокопревосходительство процент потерь будет равен ста — ничего не выйдет, — сказал почти тельно, но грубоватым тоном командир полка.

Лоссовский пожал широкими плечами.

— Тут дело всё в том, — сказал он, обращаясь к Саблину, — что нам надо подыскать Петровского солдата, знаете того богатыря, которому Петр Великий, в споре с немецким королем Фридрихом о дисциплине, приказал прыгать в окно. Надо отыскать офицера, который смело и не задумываясь пошел бы на верную смерть. И вот полковник Сонин такого у себя в полку, а Леонид Леонидович у себя в дивизии не находят-с. А? Как вам это покажется?

— Мне это не вполне понятно, ваше высокопревосходительство, — сказал Саблин.

— Извольте, я вам объясню. Смотрите на карту.

Лоссовский пододвинул Саблину громадный план, склеенный из многих листов, на котором до мельчайших подробностей было изображено расположение наших и немецких войск. Две зубчатые линии, извилистая и ломаная — красная и черная, сходились и расходились, закрывая собою контуры лесов, болот, деревень.

— С первым дуновением весны, как пишут в хороших романах, мы переходим в наступление, — тихо и таинственно заговорил Лоссовский. Это, конечно, секрет полишинеля. Об этом говорят все жида местечка Рафаловки и пишут немецкие и Русские военные обозреватели. Командарм возложил прорыв позиции на мой корпус. Ну, меня еще усилят. Вы понимаете, что надо сделать загодя кое-какие работы, подготовить новые позиции для батарей, срететировать, так сказать, всю пьесу, чтобы долбануть без отказа. Я хочу прорыв на узком фронте и сейчас же в этот прорыв, еще теплый — кавалерию — две, три дивизии, вас в том числе. Ну вот, милый Александр Николаевич, рассмотрите на карте и скажите, где бы вы нанесли удар и где повели демонстрацию.

— Места и позиция мне хорошо знакомы, — сказал Саблин. — Я дрался с дивизией здесь осенью, я закрепился на ней и передал позицию пехоте.

— Ну вот и отлично. Так где же?

Саблин долго вглядывался в карту и, наконец, сказал: — удар я нанес бы у Костюхновки, демонстрацию у Вольки Галузийской.

— Ну вот, что я говорил, — с торжеством обратился Лоссовский к Зиновьеву.

— Его превосходительство так говорит потому, что не знает обстоятельств, — хриплым простуженным басом сказал командир пехотного полка. Тут есть одно роковое обстоятельство. У Костюхновки, сами извольте видеть, наши и неприятельские окопы сходятся вплотную. Тут так называемое „орлиное гнездо“. Между нами и ими всего тридцать шагов. Солдаты свободно переговариваются между собою из окопа в окоп. Тут не то, что выйти невозможно беззнака-

занно, но посмотреть в бойницу стального щита нельзя. Ухлопают.

— Ухлопают первого, а перед вторым, перед цепью растеряются и сдадут, — сказал Лоссовский.

— Ну, конечно-же, — подтвердил и Саблин. — Сами посудите — здесь тридцать шагов. Мгновение и уже пошла штыковая работа. Позицию занимает польская бригада Пилсудского. Да никогда поляки не выдержат удара. Вы только к проволоке подойдете — они уже бегут. А там, где вы ходите, — густой болотистый лес. Артиллерийская подготовка невозможна. Проволочные заграждения в три полосы и все с фланговым обстрелом из пулеметов, укрепления глубокие, местами бетонированы и занимает их венгерская спешенная кавалерия. Этих-то мы знаем! Умеют умирать. Да и идти придется три версты. Сколько дойдет? Тут вы наверняка положите двадцать, тридцать человек, а там, пока вы дойдете, вы потеряете сотни людей.

— Ваше превосходительство, — сказал командир пехотного полка — в этом у нас и спор. Тут целая, изволите видеть, **психология**. Наверняка. Наверняка-то никто и не идёт. Там каждый думает, — ну, убьют **кого-нибудь**. Да, может быть, не меня, а другого кого-то. А тут именно меня. Это ведь, как самоубийством кончить, под поезд что ли, на рельсы, броситься. Никто не хочет — наверняка-то. В этом и вся штука. Я уже говорил не раз. Хотели мы тут сами поляков ликвидировать, фронт выровнять, ну, вызывал охотников. Наверняка-то никто и не идет. Что ему георгиевский крест, когда он его наверняка не увидит. Один штабс-капитан, пьяница притом, согласился было. „Я”, говорит, „пойду”. В пьяном виде, понимаете. А потом раздумал. „У меня”, говорит, „жена и дети, ведь уже наверное вдовою, да сиротами будут”. Другой тоже вызвался. Подпоручик один. Порохом мы его зовем. Смельчага, знаете, феноменальный. Ночью ли караул неприятельский снять, в бою ли на батарею броситься — первый человек. Три раза ранен. Одного глаза нет. Кажется уже калека. Совсем было сговорили. Тебе, мол, всё равно. Всё одно беспутной головы не сносить. Согласился сперва, а потом и на отказ. „Нет”, — говорит, „**наверняка**

не пойду. Нехорошо испытывать Бога. Будь хотя один шанс, пошел бы, а, когда никакой надежды нет — не могу”.

— Тут, ваше высокопревосходительство, — сказал Зиновьев, — надо свежих людей, которые всех подробностей бы не знали. Вот, если бы, скажем, накануне штурма Александр Николаевич своих бы молодцов прислал. Между казаками, наверно, есть такие отчаянные, что и наверняка пойдут. В свою судьбу верят. Я помню у Лабунских лесов в августе 1914 года замялась моя пехота. А рядом казаки были. Чаща непроходимая. Орешник так разросся, что прямо джунгли какие-то. А оттуда австрийцы так и садят. Казаки пришли. Спешились, перекрестились — и айда — так и ухнули в лес. А за ними моя пехота. В два часа лес покончили. Пленных больше шестисот набрали. Так и тут бы. Свежего кого-нибудь. Кто не был еще под гипнозом страха. Ведь сидят мои люди здесь всю зиму и дня не проходит, чтобы кого-нибудь не убили и всё в „Орлином гнезде!” Каждые полмесяца я новую роту ставлю и каждую неделю пять — десять человек в этой роте ухлопают. Вся дивизия „Орлиное гнездо” знает.

— Что вы скажете, Александр Николаевич, — сказал Лоссовский. — Мысль не плоха. А, подумайте-ка? Примените кого из своих. Кого, может быть, и не жалко.

Саблин долго молчал.

— Нет. Всех жалко, — сказал он. Я понимаю — послать на подвиг, когда есть хотя один шанс, что посланный уцелеет, это одно, а послать, когда нет ни одного шанса, — это уже другое. Посылаешь эскадрон в атаку, знаешь, что половина не вернется, но ведь не знаешь, кто именно ляжет, а тут послать и знать, что эти погибнут... Но я понимаю, что всё-таки это надо сделать.

— Сделайте, Александр Николаевич. Я на вашу славную дивизию надеюсь, — сказал Лоссовский. — Подберите что ли какого негодяя, которого всё равно суду предать надо и расстрелять, георгиевский крест ему авансом и вдове тысячу рублей. А? Что? Правда?

— Нет, ваше высокопревосходительство, — серьезно, в глубоком раздумье, словно не сам он говорил, а кто-то другой, произнес с расстановкой и чуть запинаясь от охватив-

шего его волнения Саблин, — чистое дело, святое дело надо делать и чистыми руками, — я найду вам человека. Только скажите мне когда, и позвольте съездить самому и осмотреть обстановку.

— Не угодно ли в первую лунную ночь пожаловать ко мне в дом лесника, вместе и поедем. Днем-то туда не пройдешь. На выбор бьют по дороге. Место открытое. Я позвоню вам по телефону, — сказал Сонин.

— Хорошо. Я осмотрю всё сам и найду офицера! — сказал, вставая, чтобы откланяться корпусному командиру, Саблин.

— Спасибо, Александр Николаевич, — пожимая руку Саблину сказал Лоссовский и признательно большими выпуклыми серыми глазами, в которые навернулась слеза, посмотрел в самую душу Саблину.

XXXI.

Назад в свой штаб, к великому негодованию Леды, Саблин ехал шагом и маленькою рысью, не торопясь и не позволяя ей прибавлять хода. Стало совсем по-весеннему тепло. Солнце с голубого ясного неба светило ярко и ожили ручьи в лесу, сливаясь в придорожные канавы и напевая сереброголосыми струями ликующий весенний гимн. Там, где на пути туда были темные пятна жирной земли среди белого снега, — были теперь большие лужи и снег отошел далеко от них и стал рыхлый и ноздреватый. В шинели было жарко. Лоб намокал под папашой. Лес был полон таинственных шорохов, будто готовился к весеннему маскараду и искал и сзывал могучие соки земли. С ветвей шла капель, шуршащая по старым листьям и тихо раздвигающая невидимыми ручьями мох, птицы перекликались звончее и выбежавший на дорогу серый пушистый заяц не бросился опрорхнуть назад, но привстал на задние лапки и стал внимательно вглядываться в приближавшихся лошадей. Леда удивилась его нахальству и, вся насторожившись, напружинила спину, готовясь прыгнуть от притворного испуга. Семенов не выдержал и крикнул на весь лес такое „тю!“, что лес задрожал и

целый пласт снега упал с соседней елки, а заяц исчез моментально. И долго ему чудился страшный окрик и на всём скоку он выделявал прыжки, выметывая таинственные петли.

К штабу подъезжали в третьем часу.

— Вам и отдохнуть не придется, ваше превосходительство, — сказал Семенов, стэком показывая Саблину на выстраивавшихся вдоль поповского палисадника гусар и казаков георгиевских кавалеров и на хор трубачей, разбиравший инструменты.

— Ничего. Я чувствую себя отлично. Прогулка освежила меня, — отвечал Саблин.

Весь домик священника был перевернут вверх дном. Из столовой в гостиную широко, на обе половинки, распахнули двери и сквозь обе комнаты протянули длинный обеденный стол. Собрали всю посуду, какую могли найти в селе и стол был накрыт на двадцать приборов. Давыденко, любитель выпить, воспользовался поездкой к кавказцам, у которых всегда каким-то чудом было вино, и привез маленькие бутылочки Сараджиевского коньяка и толстые темные бутылки кахетинского белого и красного.

Скатерти были разноцветные, посуда разнокалиберная, — не всем хватило салфеток и рюмок, но стол был убран ветками елок и сосен, букетами, стоявшими посередине, а с потолка свешивались три больших клубка зеленой омелы, усеянной белыми ягодами.

Ординарцы постарались придать обеду торжественный вид. Старалась и матушка, запершаяся на кухне с Семеном и помощником шофера Поляковым.

Все офицеры штаба, командиры гусарского и донского полков, от которых были награждаемые люди, командир артиллерийского дивизиона, ротмистр Михайличенко и хорунжий Карпов были приглашены на обед. Батюшка в парадной лиловой рясе похаживал вдоль стола, потирая руки и устанавливая стулья.

— В тесноте, да не в обиде, — говорил он, улыбаясь радостной улыбкой и косясь на бутылки. — Прямо пир Валтасара у меня. Уму неподобно. Прощенья просим.

Трубачи встретили Саблина маршем того гвардейского полка, в котором он провел двадцать лет своей жизни и который был связан для него со столькими жгучими, сладкими и тяжелыми воспоминаниями... Этот марш слышал он, когда впервые вышел в полк и взволнованный счастьем свободы приехал в полковое собрание... Этот марш сыграли ему и Вере Константиновне трубачи, когда, после венчания, они вышли из церкви... Под звуки этого марша повезут хоронить его тело.

Так верил Саблин и иначе не мог себе представить своих похорон.

Со звуками этого марша сливались в его воспоминаниях громовое ура и осиянный вечным солнцем лик венчального вождя Российской Армии Государя Императора.

И всякий раз, как Саблин слышал мощные аккорды своего полкового марша сердце теснилось волнением и глаза туманились слезою.

Саблин слез с лошади, потрепал ее по шее и дал ей сахару. Он обошел фронт людей и поздоровался с ними. Все знакомые, бодрые люди, герои Железницы. Отдохнувшие в тылу солдаты были румяны и глаза их блестели от сытой спокойной жизни. У казаков кудри вились и отливали металлом. Люди были красавцы, молодец к молодцу, высокие, стройные, большинство сероглазые или с голубыми глазами, смело и радостно смотревшими на Саблина. При ответе ровные, крепкие зубы ярко блестели из-под усов.

„Как хороши наши солдаты!“ — подумал Саблин. „Лучше и красивее нет на свете“.

— Герои Железницы, — сказал он, становясь против фронта, — именем Государя Императора поздравляю вас георгиевскими кавалерами... Вы...

Саблин хотел продолжать, но дружный громовой ответ — „покорнейше благодарим, ваше превосходительство!“ — прервал его.

— Носите эти кресты с честью! — говорил Саблин. — Помните, что этот крест святого великомученика Георгия обязывает вас и в бою и в мирной жизни вести себя так, как надлежит вести георгиевскому кавалеру. Вы должны для дру-

гих людей своего взвода быть образцом храбрости и честного исполнения долга перед Царем и Родиной. И, когда придете вы в родные села и деревни, каждый и там будет смотреть на вас, как на кавалера, и вы должны вести себя честно, быть трезвыми и разумными работниками на счастье России и на радость нашему великому Царю...

— Постараемся, ваше превосходительство, — крикнули дружно солдаты.

Саблин пошел к правому флангу. На фланге гусар стоял командир полка и рядом с ним лихой длинноусый ротмистр Михайличенко, командовавший эскадроном гусар, ворвавшимся в Железницу. Капитан Давыденко подал Саблину коробочку с орденом.

— Именем Государя Императора поздравляю вас, ротмистр, с орденом Святые Анны второй степени с мечами.

Он подал коробочку ротмистру и протянул ему свою руку для пожатия.

— Покорно благодарю, ваше превосходительство, — отчетливо, по-солдатски, отчеканил ротмистр, крепко, до боли, сжимая руку Саблина. Одну секунду они смотрели в глаза друг другу и Саблин понял, что этот немолодой уже ротмистр, — и Саблин знал это, — очень неглупый и образованный человек, философ, отличный семьянин, муж прекрасной пианистки, и отец четырех детей, — этот ротмистр, не колеблясь, в эту минуту пойдет на смерть, увечье и смертные муки... За кусочек золота, покрытого эмалью, на алой ленте. Он знал, что сегодня будет послана от него в семью радостная телеграмма и немолодая и некрасивая мадам Михайличенко будет плакать слезами радости.

„Как всё это непонятно”, — подумал Саблин и странное волнение охватило его самого. Дальше стояли солдаты. Саблин каждому подавал георгиевский крест с продернутой ленточкою и каждому говорил одну и ту же стереотипную фразу: — „именем Государя Императора награждаю тебя георгиевским крестом!”

Солдаты неловко брали крест, большинство крестилось и целовало его. Сзади командир полка с ординарцем Саблина, корнетом фон Даль, суетились, прикалывая ленточки с

крестами к шинелям. И опять Саблин видел взволнованные лица, слёзы на глазах и радостное возбуждение.

„Много ли надо человеку”, — думал Саблин, — „грубо отштампованный кусочек белого металла и клочек черножелтого шелка, а сколько радости, сколько готовности умереть за это! Немного стоит жизнь человека!”

На правом фланге казаков стоял полковник Протопопов, и рядом с ним хорунжий Карпов. Едва только Саблин взглянул в большие лучистые глаза Карпова, опущенные длинными изогнутыми ресницами, как ему вспомнился Облонский в Анне Карениной и его восклицание при встрече с Левиным — „узнаю коней ретивых по каким-то их таврам, юношей влюбленных узнаю по их глазам”.

Такою радостью и вместе с тем смертельною тоскою были наполнены эти чистые большие глаза юноши, так ясно смотрели из них и счастье любить, и отчаяние сознавать полную безнадежность своей любви, что Саблину даже жутко стало. Так смотреть должен был Вертер, так смотрят... — самоубийцы...

Давыденко исполнил свое обещание. Он подал Саблину не только прекрасную кавказскую, всю в серебре и золоте шашку, но у головки эфеса скромно блистал искусно вделанный в нее беленький крестик и георгиевский новенький темляк был ловко, по-кавказски, ввязан на шейку эфеса. Тонкая без украшений щегольская джигитская портупея черной кавказской сырмяти была надета на кольца. Шашка лежала на подушке малинового бархата с вышитой собачкой, не совсем гармонировавшей с положенным на нее оружием.

— Именем Государя Императора, и по постановлению Георгиевской Думы, я счастлив, хорунжий Карпов, передать вам это оружие храбрых. Пусть из рода в род передается оно у вас, как память о вашем славном подвиге.

Лицо Карпова, похудевшее от раны, покрылось румянцем и дрогнувшим голосом Карпов поблагодарил Саблина.

— Хотите, я пошлю ей телеграмму, — сказал Саблин.

— Кому? — чуть слышно спросил Карпов.

— Татьяне Николаевне, — сказал Саблин так тихо, что

Карпов только по движению губ догадался, о ком говорит ему его генерал.

— О да, если можно, — заливаясь краской до самых волос, проговорил Карпов.

— Ну, конечно. А вы напишите письмо.

Ординарец, улан фон Даль, надевал на смущенного Карпова новую шашку, снимая его старую, простую. Саблин подходил к правофланговому казаку, застывшему в напряженной позе с повернутой направо головой.

„Этот юноша”, — думал Саблин, — „умрет с наслаждением и совершит какой угодно подвиг. Он пойдет вперед даже и тогда, когда будет знать, что его наверно ожидает смерть”.

„Но смогу ли я послать его?..”

И уже дрогнувшим голосом Саблин сказал казаку: — именем Государя Императора награждаю тебя этим георгиевским крестом.

Рука его дрожала, когда он передавал крест.

XXXII.

Обед удался на славу. Пирог, который торжественно принесла сама матушка Александра Петровна, прекрасно зарумянился и хрустящая темная корочка, посыпанная поджаренными тертыми сухариками местами поднялась большими темными пузырями.

— Не осудите, пожалуйста, — говорила красная от плиты и волнения попадьа, еще более хорошенькая с выбившимися на лоб русыми вьющимися кудрями и полными белыми руками, обнаженными по локоть.

За окном играли трубачи. Певучие аккорды „Жизни за царя” напоминали Мариинский театр и уносили из крошечных комнат, где канарейка и чижик старались перекричать и трубачей и гостей, в далекий Петроград.

Шли тосты. За Государя Императора, покрытый громовым ура и мощными звуками торжественного Русского гимна, за новых кавалеров, перемежаемый маршами полков гусарского и донского, за славу, за победу, за начальника дивизии, за командиров полков, за господ офицеров, за сол-

дат и казаков, за верных боевых товарищей, конский состав дивизии, за прелестную радушную хозяйку...

Офицеры, отвыкшие от вина, хмелели быстро. Протопопов, командир донского полка, сидевший по левую руку Саблин, приставал, прося разрешения вызвать по тревоге песенников, послушать песни казачьи.

— Ведь он у нас, ваше превосходительство, первый певун в полку, — говорил он про Карпова, — такой баритон, что просто в оперу, на сцену надо бы. Вы его никогда не слышали?

— Нет, никогда, — сухо ответил Саблин.

— Вот и послушали бы. Влюбиться в него и без того прекрасного казака. Единственный сын у матери.

„Слушай, слушай, — говорил Саблину внутренний голос мучителя совести, — сумей оценить, сумей полюбить всюо душою этого юношу и тогда отдай, тогда принеси в жертву, ибо жертва нужна. Ведь, пошлешь его на смерть, на верную смерть, пошлешь? Когда настанет нужный час, отдашь приказание и голос не дрогнет и не смутишься, потому что ты — солдат. Но разве это грех? Где больше грех? Послать, любя больше самого себя, послать на смерть, плача и рыдая и болея сердцем, или по злобе отправить того, кого не любишь, кто противен телесно, кто нравственно возмутит душу. Если жертва нужна она должна быть дана от всего сердца”.

— Далеко, ведь, Семен Иванович, — сказал Саблин, гоня желание увидеть Карпова во всем его блеске. — Когда еще приедут. Темно станет. Не стоит.

— И что за далеко, — отвечал Протопопов, которому хотелось щегольнуть перед начальником дивизии исполнительностью казаков своего полка, быстротою сбора и отличными голосами. — Семи верст отсюда не будет. Духом прикажут. По телефону только сказать.

— Ну, как знаете, — сказал Саблин.

— Я распоряжусь, — сказал Давыденко, слушавший разговор начальника дивизии. — Которой сотни песенников? — спросил он у Протопопова.

— Да четвертой, что ли, — небрежно сказал Протопопов, зная, что четвертой сотни песенники лучшие в полку, что они уже подготовлены к выезду и лошади на всякий случай поседланы и сами они собраны на штабном дворе. Он уже предвкушал удовольствие удивить начальника дивизии и всех гостей. Только продудит телефон и через двадцать минут уже готово — и песенники на местах. Пусть-ка кто другой так сделает!

— Четвертой... Ведь и кавалер-то молодой сам четвертой, — повторил он еще раз.

Давыденко пошел на телефон.

На другом конце стола подвыпивший Семенов раскрыл окно, чтобы слышнее были трубачи и, улыбаясь красным веселым лицом подпевал куплеты, подмигивая попадье.

— Это барышни все обожают... Это барышни все обожа-а-ают! — Александра Петровна, а вы обожаете и теперь.

— Что-то, Варлаам Николаевич, я не пойму в толк, о чем таком вы намекаете.

— А вы поймите, Александра Петровна, слышите как трубачи-уланы выговаривают — слушайте, — и дождавшись повторения мотива он и с ним входивший с телефона Давыденко и фон Даль уже втроем пристроились.

— Это барышни все обожа-ают...

В открытое окно врвался холодный, но пахнувший весною воздух, слышалось в перерывах игры трубачей, ржание и взвизгивание лошадей, наполнявших двор и говор кавалеров — гусар и казаков, только что пообедавших в риге и выходивших теперь на двор, чтобы ехать по домам.

Трубачи по настроению пообедавших почувствовали, что вино уже подействовало и сменили серьезный репертуар модными легкими песенками, маршами и отрывками из опереток.

Офицеры им вторили, напевая бесцеремонно за столом.

Впрочем обед уже был кончен. Саблин разрешил курить и сам, чтобы не стеснять, вышел из-за стола и сел у окна. Подали чай, печенье, карамель, сухари и коржики изготовления матушки.

Короткий зимний день догорал. Румяное солнце спускалось к темной полосе лесов и молодой месяц красивым рогом показался на побледневшем небе, когда подъехали казаки песенники. С лошадей валил густой пар. Казаки постарались и примчались в двадцать минут. Солидный вахмистр ввел их во двор и скомандовал „смирно”. Саблин поздоровался с ними.

— Разрешите начинать? — спросил вахмистр.

— Начинайте.

Чтобы распеться, они спели свою походную старую песню — не концертную, как говорил вахмистр, не раз слышавший пение войскового хора.

— Хорунжий Карпов, идите петь, — начальническим голосом сказал Протопопов, когда казаки кончили первую песню.

Карпов, которому давно хотелось показаться перед казаками в своей новой „шикарной” шашке с георгиевским темляком, не заставил повторять приказание и в одном ките выскочил на двор.

„Если бы она меня теперь видала!” — подумал он, охорашиваясь перед хором и сверкая своими ясными глазами изпод красивой серебристого меха папахи, сплющенной по кабардински и заломленной на затылок так, что непонятно было на чем она держится. — „Адски лихо было бы ей пропеть”.

Он ощупал на пальце ее кольцо. Казаки сдержанными голосами поздравляли его с Монаршей милостью.

— Заслужили ваше благородие, хороша штука, — говорили они вполголоса.

Саблин и многие гости вышли на крыльцо. Мороз еще не мог осилить разогретого солнцем воздуха, на земле была жидкая грязь, не скованная ледком.

— Начинайте, Карпов, — сказал Протопопов.

Карпов взял у вахмистра плеть, чтобы ею дирижировать хором, стал в позу, закрыл на минуту глаза и подумал: — „это я тебе... это я вам, Ваше Императорское Высочество, пою...”

Самый титул ему нравился. Чаровала сказочная недоступность его предмета и до жути хотелось умереть со славой.

Он запел, создавая в уме картину, которая теперь влекла его, манила и казалась великим счастьем.

— Черный ворон, что ты вьешься,

Над моею головой,

Не пропел, а прокричал он музыкальным стоном героического отчаяния смерти, так, что холодок мурашками пробежал по жилам Саблина, и послушный хор сейчас же вступил мягкими согласными аккордами:

— Ты добычи не дождешься, —

говорил на фоне их голосов голос Карпова, уже смягченный и умиротворенный:

— Черный ворон, — я не твой.

И опять стоном воскликнул голос, как бы уносящийся в жалобе к небу.

— Ты лети-ка, черный ворон,

К нам на славный тихий Дон,

и хор проговорил, уже не покрываемый голосом запевалы, сдержанно и грустно:

— Отнеси ты, черный ворон,

Отцу, матери поклон.

Красивая песня гармонировала с грустью умирающего дня и с общей обстановкой фронта, с возможностью ежеминутно быть вызванным на позицию, быть убитым и брошенным на съедение воронам. Каждое слово имело смысл, понимаемый этими людьми, выдавшими и смерть товарищей и раны.

Песня кончилась. Молчаливая грусть была лучшим одобрением певцам.

— **Конь боевой**, — сказал Протопопов, стоявший рядом с Саблиным с видом импрессарио на удавшемся концерте.

Карпов переставил руками двух казаков, мешавших ему петь и, ставши лицом к крыльцу, на мгновение задумался. Он искал в уме теплых душевных тонов, которых требовала песня.

— Конь боево-ой с походным вьюком

У церкви ржет, кого-то ждет,

пропел он сильным баритоном и хор вступил за ним, мягко дорисовывая картину станичной жизни.

В ограде бабка плачет с внуком,
Молодка горьки слезы льет...

И, едва смолк хор, Карпов продолжал:

— А из дверей святого храма,
Казак в доспехах боевых,
Идет к коню из церкви прямо
Идет в кругу своих родных.

Древний, всё повторяющийся из рода в род семейный ритуал проводов на службу вставал перед мысленным взором.

Мы послужи-и-ли Государю,
Теперь и твой черед служить

говорил Карпов мягким, за душу хватающим голосом и хор продолжал:

— Ну, поцелуй же женку Варю
И Бог тебя благословит....

Саблин вспомнил свои юные годы, когда он сам пел с солдатами. Жизнь захватила его грязными лапами и пронесла сквозь страшные пучины оскорблений, унижений и подлости. Жизнь при дворе наружно яркая, блестящая, а внутри темная и страшная. Ну, разве не лучше было умереть тогда, когда мог он петь с Любовиным и был чистым юношей, и безусловно честным офицером... Не лучше разве, если и Карпов умрет теперь, когда столько силы и правды в его голосе, когда ни одной подлости еще он не совершил? Пусть лучше будет мертвым львом, нежели живым псом!

— Где научились вы этой песне? — спросил Саблин Карпова, когда длинная, полная благородной любви к Родине песня замерла в торжественном раскате.

— В Донском. Императора Александра III кадетском корпусе, — сказал Карпов.

— Славная песня.., — сказал задумчиво Саблин, — прекрасная песня.

Ему стало холодно, и он вошел в хату. Денщики прибирали стол и снимали скатерти, залитые вином. В окно было видно, как догорал закат. Мягкая грусть щемила сердце.

„Ну какая тут может быть революция, измена царю, дворцовый переворот”, — думал Саблин, сравнивая свои Петроградские впечатления с тем, что он только что пережил и перечувствовал. Никакие кинематографы, никакая пропаганда не совратят этих людей. Разве возможно с верою креститься и целовать георгиевский крест, разве возможно так петь, а потом идти и убивать Царя?!... Нет, Русский народ никогда не пойдет на это!”

„А если... Если у него вынут веру в Бога?” — тихо сказал кто-то внутри него и холод побежал от этих слов по спине и по ногам. — „Если ему докажут, что Бога нет... **Докажут...** Отсутствием Божьего гнева, тем, что Бог не защитит и не поможет. Надругательством над святыми, над мощами, над храмом. Ведь Русский народ дик и суеверен и если огонь с неба не опалит осквернителя храма — Бог исчезнет, осквернитель станет Богом и тогда... Всё позволено!”

„Какой вздор! — тогда... тогда поведут народ на подвиг вот эти самые святые юноши!”

„Но ты убьешь их раньше, нежели их час настанет”...

„Господи! Господи! яви мне свое милосердие, Господи, если Ты еси, помоги мне”.

„**Если Ты еси,** — но ведь это уже сомнение, а может ли сомневающийся молить о чуде, просить о пощаде?”

„Господи! Прости и помоги! Помоги маловеру”.

Как в тумане, машинально, привычными словами, которых сам за внутреннюю душевную работу не слышал, Саблин поблагодарил трубачей и песенников, дал им наградные деньги и отпустил их.

Праздник кончился. Саблин вошел в кабинет священника, где была готова ему походная койка и запер двери. Хотелось остаться одному.

Синее небо с загорающимися звездами глядело в оконце, пригорюнилась одинокая маленькая церковка на берегу озера и на образке над дверьми ее тихо отразилась луна. Была печальная прелесть в этом уголке замерзшего озера.

А по ту сторону дома еще шел шум жизни. С бубном и присвистом весело пели уезжающие песенники и их переби-

вали трубачи, уходившие по другой дороге. И долго слышались то звуки бодрой веселой песни казачьей —

„Донцы песню поют
Через реку Вислу-ю
На конях плывут”

— то напевы трубачей —

„По улице пыль поднимая,
Под звуки лихих—их трубачей..

...„Верую, Господи! Помоги моему неверию!”...

XXXIII.

Дней через десять после этого праздника, утром, Саблина вызвали к телефону из штаба корпуса.

— С вами сейчас будет говорить начальник 177-й пехотной дивизии, — сказал телефонист. — Соединяю.

Но говорил не начальник дивизии, а Сонин, командир того пехотного полка, на участке которого было знаменитое „Орлиное гнездо”. Он докладывал, что луна настолько хорошо светит, что есть полная возможность осмотреть и правильно оценить позицию у Костюхновки, и если его превосходительство не передумал, то не придет ли он сегодня к восьми часам и они вместе пройдут в „Орлиное гнездо”.

— Хорошо, я приеду, — сказал Саблин.

Дорога уже сильно размокла, снег почти весь сошел и Саблин выехал заблаговременно. В ясных сумерках он один, без ординарцев, никому не сказавши, куда он едет, покатил на автомобиле из селения Озеры. Дорога была знакомая. Зимой он шел по ней, сменяясь с позиции. Но теперь он видел много перемен. Густой красивый лес, которым он так любовался под Рафаловкой, был почти весь вырублен, за то болотистая грязная дорога была нагачена широкою, отлично разделанною гатью. У самой реки был устроен земляночный город и поредевший лес кишел пехотою, как муравьями. Слышался грубый здоровый смех, визжала гармоника, солдаты шли, звеня котелками, к красневшим вдоль задней линейки кухням. Лес рубили, не под корень, а как удобнее — в рост человека и оставшиеся высокие пеньки тор-

чали нелепым частоколом вдоль землянок. Моста, по которому тогда с таким трудом переходила дивизия Саблина, уже не было. Вместо него был новенький щеголевато сделанный длинный, почти на версту мост, покрывавший всё займище реки, устроенный понтонным батальоном. Невдалеке от него виднелся другой, а еще дальше — третий мост. Весь берег реки был изрыт глубокими, отделанными деревом окопами, здесь была разработанная инженерами тыловая позиция корпуса.

Густая сеть проволочных заграждений спускалась в воду и уже была залита вздувавшейся рекою.

Часовой-ополченец остановил у моста автомобиль, спросил пропуск и пропустил, удостоверившись, что едет „начальство”. Саблина удивило, что проходивших одновременно солдат и с ними каких-то евреев с булками часовой не опрашивал.

„Значит, опрашивает только „начальство”, — подумал Саблин.

Деревня Рудка-Червоная, в которой когда-то стояли драгуны дивизии Саблина, более чем на половину выгорела. Печально торчали обгорелые печи с трубами и обугленные деревья небольших садов. В оставшейся части деревни стояли обозы. При свете поднявшейся луны Саблин увидел длинные коновязи и за ними ряды парных повозок и двуколок.

И тут всё полно было солдатами. У крайней хаты, которую тогда занимал командир драгунского полка болталась белая тряпка с красным крестом. Здесь сидели сестры на заваленке, подле них стояли какие-то фигуры в рыжих халатах и слышался смех.

Чем ближе подъезжал Саблин к позиции, тем меньше становилось войск и целее лес. Гать по болоту стала более узкой и была сделана небрежно, работали наспех, может быть, под огнем. Позиции за лесом еще не было видно, но она уже чувствовалась постоянными, каждые полминуты повторяющимися выстрелами.

Та — пу!... Та — пу!.. звучали выстрелы австрийцев и очень редко раздавался им в ответ наш выстрел и казался

совсем близким, громким эхом прокатываясь по всему лесу..., а потом опять далекие двойные: та — пу!... та—пу!..

Влево, у самой дороги, прикрытая еловыми ветвями, маскированная от аэропланов стояла батарея. Немного поодаль в лесу тянулись коновязи, были устроены землянки и желтым светом горел огонек. Автомобиль остановился, помощник шофера пошел спрашивать о дороге.

— Первый светок налево, — сказал он, возвращаясь. — Там указатель есть.

И действительно у первого поворота был столб, на столбе доска, на которой крупными буквами без „ъ” и „ѣ” было написано „к дому лесника”. Проехали еще с полверсты и оказались на небольшой лесной прогалине. Она была так же изрыта землянками и несколько повозок стояло на ней. В полуразрушенном домике светлились окна, стоял денежный ящик и ходил часовой в старой шинели. На шум автомобиля, с фонарем в руке, вышел хозяин, полковник Сонин.

— Сюда ваше превосходительство, пожалуйста, — говорил он, присвечивая фонарем. — Тут только осторожно, одной ступеньки не хватает.

Через разбитое крылечко Саблин прошел в узкие темные сени и из них в маленькую комнату, служившую и спальней, и столовой, и рабочим кабинетом. Вдоль стен стояли три койки и четвертая постель была постлана прямо на полу, посередине был грубо сколоченный из необтесанных досок стол и скамейки, впрочем было и некоторое подобие кресла из чурбана с прибитыми к нему спинкой и ручками из толстых и кривых сучьев. На столе стояла маленькая жестяная лампочка и ярко горела широко пущенным пламенем. Было душно и жарко. Хозяева пили чай. Большой синий эмалированный чайник, кружки облупившиеся и почерневшие и ломти черного хлеба валялись на столе. Три офицера встали при входе Саблина.

— Мой адъютант; ординарец Пышкин; казначей — быстро и небрежно, как лиц не стоящих особого внимания, представил Сонин.

Адъютант был долговязый малый из „кадровых” офицеров. На нем был китель старого покроя, усеянный значка-

ми, с покоробившимися серыми защитными погонами и старыми почерневшими аксельбантами. Лицо было худое, острое, без усов и бороды, и глаза серые и печальные носили беспокойство и тревогу. Длинная фигура его хранила следы старой выправки и на поклон Саблина он ответил не без грации, даже попытался звякнуть шпорой и руку подал умело, привычным жестом.

Ординарец Пышкин, молодой человек с широко вылупленными серыми бараньими глазами на круглом румянном безбородом и безбровом лице, смотрел на Саблина, как ребенок смотрит на игрушку; он неловко протянул мягкую потную руку и не знал куда девать левую.

Казначей был из нижних чинов. У него была строгая солдатская осанка, рыжие усы над тонкими бледными губами и скуластое, худое с нездоровою кожей лицо. Всё говорило, что это был бравый исполнительный унтер-офицер из нестроевых какой-нибудь каптенармус, или писарь, который и в церкви прислуживает и мастер дешево дрова купить и солдат благодетельствует тайно продаваемой водкой. Серые глаза из-под рыжих ресниц смотрели остро и вместе с тем ничего не выражали. Он подал руку дощечкой с плотно сжатыми прямыми пальцами и так и не согнул ее в руке Саблина.

И Пышкин, и казначей были в рубахах без ремней с защитными погонами, на которых химическим карандашом были нарисованы полоска, звездочка и номер полка.

— Чайку не прикажете, — предложил Сонин таким тоном, что заранее предвидел отказ. — Мы в ожидании вас баловались немного.

Саблин отказался.

— А то лучше пойдете, пока луна высоко светит, а вернемся, поужинаем и чаю настоящего напьемся, — сказал Сонин.

— Мне прикажете идти? — спросил адъютант.

— Нет, оставайтесь. Пышкин пойдет.

Пышкин с видимым неудовольствием стал одеваться.

Все трое сели в автомобиль и проехали около двух верст к перекрестку дорог, где Сонин приказал остановиться.

— Вот и Костюхновская дорога, — сказал Сонин, вылезая из автомобиля. — Тут уже пешком придется. Вам ничего? Немного. Версты две.

— Я пройду с удовольствием, — сказал Саблин.

Они вышли на опушку.

— Извольте видеть, — какая позиция, — сказал Сонин, останавливая Саблина.

XXXIV.

Большой высокий мешаный лес обрывался тёмною стеною и тянулся вправо и влево от широкой песчаной дороги. Шагов на тридцать от него отбежали маленькие елочки, сосны и можжевельник. Дальше до песчаных бугров тянулось ровное поле. Оно теперь искрилось и сверкало под лучами лунного света. Верстах в двух были опять небольшие перелески и над ними непрерывно взметывались белые светящиеся ракеты. Вылетит, оставляя яркую полосу одна, вспыхнет синеватым, неземным светом и начнет тихо падать на землю. И не упала одна, как взлетает рядом другая и падает печальная, таинственная, точно живая. На много верст вправо была видна позиция и она вся была покрыта этими тихо порхающими синеватыми огоньками.

И без того таинственная и страшная, непереступимая „его” позиция от этих огней становилась еще таинственнее и загадочней.

Иногда где-то бухали пушки и сверкал желтым сполохом, как далекая молния, отражаясь в синем небе, огонь выстрела. Полета снаряда не было слышно и вдруг недалеко над самым лесом ярким огнем вспыхивал разрыв и долго гудел и эхом отдавался гул лопнувшей шрапнели.

— Всю ночь палит, а чего и сам не знает, — сказал Сонин.

Луна серебристым, изменчивым, обманным светом усугубляла таинственность этого поля, жившего своею ночью жизнью. Вправо и влево тархтели колеса и звенело железо — это ехали кухни, торопясь за ночь накормить людей.

— Идемте, — сказал Саблин.

— Идемте, — отвечал Сонин. — Вы, Пышкин, приотстаньте, чтобы мишени большой не делать.

— А что? — спросил Саблин.

Сонин не ответил. Маленькая пуля пропела неподалеку и щелкнула где-то в землю.

— Всю ночь стреляет по дороге. На авось.., — сказал Сонин. — Никого, однако, не убил.

Выстрелы не переставали и пение, а по мере того, как они подходили к холмам и чмокание пуль становилось чаще.

— Дураки эти поляки и австрийцы, — говорил раздраженно Сонин. — Ну, можно ли ночью попасть! Он может быть и видит, да никогда не попадет.

Пуля чмокнула в песок совсем близко.

— Однако пойдете немного стороной от дороги и разойдемся, — сказал Сонин, — теперь ведь не больше шестисот шагов осталось.

Они подходили к длинному песчаному бугру. Он тянулся поперек дороги и уже было видно, что он весь изрыт маленькими землянками и подле них ходили, как тени, люди и слышались сдержанные голоса.

Это было мертвое пространство, недоступное для пуль, и здесь, на клочке земли, в двести шагов длиною и сорок шириною, жили, ели, спали, разговаривали, думали сто пятьдесят человек — две недели — от смены и до смены. В стороне были видны небольшие холмики и над ними кресты. Могилы убитых.

Песчаный холм поднимался стеною и по окраине его зубцами были поставлены стальные щиты. За ними лежали чашовые.

— Вот мы и в „Орлином гнезде“, — сказал Сонин. Ложавшие, сидевшие и ходившие люди смотрели на них, как на выходцев с того света. От одного к другому шел шопот — „командир полка“ — „полка командира“ — „ротному сказать“.

Но ротный командир, вероятно, предупрежденный по телефону, выходил из крошечной землянки. Это был мальчик. Такой же юный, как Карпов, но без воинственного задора, без страсти войны. Белобрысый, белокурый, толсто-

губый, он был неловко одет в наваченную шинель, делавшую его толстым и неуклюжим. Серая шапка искусственного барана кругло, как-то по-бабьему была надета на его голову. Глаза выражали испуг и тоску, и лицо было бледное и смятенное.

Он пошел с рапортом к командиру полка, но Сонин указал ему на Саблина и юноша окончательно растерялся. Называя Саблина то „ваше превосходительство“, то „господин полковник“, юноша доложил ему, что на форте № 14 находится 9-ая рота 709 пехотного Тьмутараканского полка, что в ней один офицер и 127 рядовых солдат, что происшествий никаких не случилось кроме того, что полчаса тому назад из бомбомета ранило шесть человек и одного убило на повал у бойницы ружейною пулею.

— Опять подглядывали в щиты, — недовольно сказал Сонин. — Я вам сколько раз говорил, чтобы не смели смотреть.

— Ну что же! — господин полковник, да разве же я им не говорю! Тянет их... Понимаете, как прорубь тянет, или омут... И меня, знаете, тянет, — со слезами в голосе проговорил юноша.

— Это кого убило-то? — спросил Сонин.

— Овечкина.

— Это который Овечкин?

— Из октябрьского пополнения.

— Дурной он, ваше высокоблагородие, — почтительно заговорил, выставляясь сзади фельдфебель, пришедший вырывать своего ротного командира.

Фельдфебель был маленький, кряжистый, приземистый человек, лет сорока, черноусый, чернобровый, ладный, ловкий, типичный Русский солдат, сметливый, смелый и разумный.

— Загляну, да загляну, — передразнивал он Овечкина, — и ничто мне не будет, — вот и заглянул. Лежит дураком, як падаль!

И он указал на лежавший неподалеку труп.

Сонин подошел к убитому, снял шапку и перекрестился.

Труп солдата, еще теплый и гибкий лежал на песке на спине. Кто-то сложил ему на груди белые восковые руки.

Лицо было страшное, с разбитым глазом и развороченным черепом, все залитое черною кровью.

— Разрывную должно быть, сказал Саблин.

Два солдата, стоя на коленях, рыли малыми „носимыми” лопатами неглубокую могилу в песке.

— Хоронить здесь будете? — спросил Сонин.

— Здесь. Куда таскать. Он и ночью бьет непрерывно, — отвечал фельдфебель, — вот с ранеными и то не знаю как? Дождусь, когда луна зайдет. По темноте лучше. Да кабы кричать не стали. Он и на крик палит. А ему что. Всё одно — помер.

-- Копайте только глубже, — сказал Сонин.

Сонину, фельдфебелю и солдатам, рывшим могилу — всё это было так просто и ясно. Возить мертвого — рисковать живым. Мертвый уже никому не нужен: он обуза для роты на ее боевом посту и от него надо отделаться поскорее. Саблин взглянул на командира роты. Этот видимо и думал и чувствовал иначе. Лицо его было зеленовато белым, холодный ужас застыл в добрых детских выпуклых глазах и подбородок его прыгал.

— Что, молодой человек, боитесь, — отечески ласково сказал ему Саблин, взял его под руку и отвел в сторону от трупа.

Эта ласка чужого незнакомого человека так тронула юношу, что он вдруг расплакался, сдерживая вырывавшиеся рыдания.

— Бою-усь..., говорил он сквозь слезы, — я и покойников боюсь. И смерти боюсь. А меня тянет. Вот, как его тянуло. Я понимаю его. Удержаться нельзя. Ведь это так просто, подошел к щиту, отодвинул задвижку и заглянул... а там... там... смерть.... Как же это можно? Я шестой день здесь и это уже четвертый... так... Страшно. Ночью они мне снятся.

— Вам надо успокоиться, отдохнуть, — сказал Саблин. Вы где учились?

— В коммерческом я кончал. Тут на курсы стали записывать. Солдатом я не хотел идти, я и пошел.

— Давно на войне?

— Второй месяц.

— Кто ваши родители?

— Купцы. В Апраксином у нас магазин. Зайчиковы, мы, может быть, изволили слышать, — успокаиваясь, говорил ротный.

— Ну вот и всё Орлиное гнездо, --- сказал, подходя, Сонин. — Видали? Я вам говорю — наверняка. Пойдемте обратно.

XXXV.

Но Саблину этого было мало.

По песчаной осыпи холма он подошел к стальным щитам, неровным рядом установленным вдоль хребта. Приникши и слушая землю лежал, не шевелясь, под ними часовой.

Да, тянуло... Саблин и сам испытал это чувство, как и его потянуло подойти, взяться за стальную пуговку и откинуть окошечко, закрывавшее паз и посмотреть на смерть.

Сонин оставался внизу.

Саблин медленно, нагнувшись, проходил позади щитов и вдруг увидал небольшую щелку между ними. Он лег на землю, подполз к щели и приник к ней жадным глазом.

Луна ярко светила. Перед ним был хаос. Два песчаных хребта, параллельных друг другу отделялись неширокою прогалиною. Вся она была завалена рогатками, оплетенными колючей проволокой и небрежно, наспех, видно в те немногие минуты, когда шла штыковая свалка, вбитыми кольями, кое-как опутанными проволокой. Два трупа, высохших и желтых с большими черными глазными впадинами лежали здесь давно, с самой осени. Валялись кровавые черные тряпки, обрывки шинелей, чьи-то сапоги, жестянки от консервов и неразорвавшаяся бомба бомбомета. Напротив, — не более как в двадцати пяти шагах, зубцами торчали железные щиты. Оттуда с легким шипением взметнулась брошенная вверх ракета и, лопнув, залила всю эту страшную картину мертвым синим светом. И все эти предметы — нежизненные, необычные, безобразные — трупы людей, придавленные рогатками с проволокой, колья, жестянки осветились мертвым колеблющимся порхающим светом и стали казаться кошмарным, ди-

ким сном. Покойники как будто шевелились и странные тени коробили их страшные изсохшие лица...

Сильно билось у Саблина сердце и ему казалось, что в такт его сердцу там, по ту сторону страшной ложбины, бьется чье-то чужое, страшное сердце врага.

Томила жуткая тоска. Хотелось вскочить и бежать подалее от этого клочка земли, освещенного порхающим синим светом, бежать от.... войны.

Вся война слилась для него в этом десятке квадратных саженей песка, в яме с трупами и беспорядочным хаосом рогаток, кольев и проволоки.

Перебежать этот клочок земли — и неприятель.

Но перебежать невозможно.

Отчего?

И вдруг с холодным расчетом военного человека, понимающего войну, Саблин стал соображать, что именно здесь легче всего перебежать к неприятелю. Эти рогатки даже и резать не надо. Если одеть саперные кожаные рукавицы, которые одевают, когда оплетают проволокой — то можно просто откинуть рогатку, бросить ручные гранаты, а там прикаладами свалить щиты.

„Да, это возможно”, — подумал он. „Погибнет только первый, которого те увидят еще смелыми, не затуманенными ужасом глазами, а остальные сделают свое дело”.

„Но первый погибнет **наверняка**”.

„И этот первый будет Карпов?” — спросил он сам себя. И, не ответив, подавил вздох и стал медленно сползать, отодвигаясь от страшной щели.

Ему казалось, что он пролежал так одну секунду.

— Долго же вы рассматривали там, сказал ему ожидавший внизу Сонин. — Ну, что?

Но Саблин не отвечал. Он весь дрожал внутреннею дрожью и боялся голосом обнаружить волнение. Он сделал вид, что не слышал вопроса и медленно пошел к землянке ротного командира. Сонин и Зайчиков с фельдфебелем шли за ним.

— Можно заглянуть к вам? — спросил, наконец, усилием воли овладев собою, Саблин у молодого ротного.

— Ах пожалуйста... — сконфуженно ответил Зайчиков.

Пять узких ступенек вели в землянку. Она была мала и тесна, как гроб. И когда вошел один — другому не было места. Вдоль стены на земляном выступе, покрытом еловыми ветвями была постлана постель. Подле был небольшой столик. На нем горела свеча. На столе стоял портрет женщины в черном кружевном чепце с простым миловидным лицом, валялись иллюстрированные, измятые, зачитанные журналы „Огонек“, „Солнце России“ и лежало маленькое евангелие.

Зайчиков заглядывал сверху.

— Это матушка моя, — сказал он глухим печальным голосом, уловив взгляд Саблина, устремленный на портрет. — Вот и вся наша жизнь, добавил он.

Пахло земляною сыростью и хвоею. Пахло могилою.

„Да“, — подумал Саблин, — „нелегко прожить так две недели, особенно, когда каждая бойница тянет приподнять завесу и узнать, что по ту сторону жизни“.

Он попрощался с Зайчиковым и пошел с Сониным назад.

Теперь он не замечал уже свиста пуль и только, когда одна чмокнула подле самых его ног он сказал нервно — „ишь проклятая!“

В доме лесника было прибрано. Стол был накрыт на два прибора, стояли чистые стаканы, было положено на тарелку печенье и открыты жестянки сардинок и маринованной лососины. За дверью возился казначей и оттуда пахло жареной курицей.

Заспанный адъютант с высохшим безразличным лицом доложил: — „а в Орлином гнезде опять одного убило“.

— Знаю-с, — сказал командир полка, — Овечкина.

— Нет. Без вас уже. Ротного — Зайчикова прапорщика.

— К-как? — в голос спросили Саблин и Сонин.

— Обычно как. Не утерпел. Вы уехали, подошел к щиту, открыл задвижку и стал смотреть. Фельдфебель говорит, минуты две смотрел.

— Ах ты! Царство ему небесное! Этакий право! — говорил, крестясь, Сонин. — Кого же мы назначим вместо него.

— Больше некого, как Верцинского, — сказал адъютант.

— Ну, что вы! Верцинского, — с возмущением возразил Сонин.

— А что думаете, господин полковник, такие-то лучше выдерживают. Этот по крайности не заглянет, куда не надо. Да и не кого больше.

— Простите, ваше превосходительство, не угодно ли откушать, — обернулся Сонин к Саблину. — Казначе-ей, — крикнул он, — что, курица готова?

— Сейчас, — отвечал голос за дверью.

— На все руки он у нас, — сказал про казначея Сонин. — А где Пышкин? — вдруг вспомнил он.

— Полчаса, как пришел, отвечал адъютант.

— Ишь, каналья, увильнул таки опять. Экий трусишка Маленькин сынок знаете. Навязали мне. Родственничек. — Садитесь, пожалуйста, ваше превосходительство. Сейчас и водочки достанем.

Но Саблин наотрез отказался. Хотелось быть одному. Нервы шалили.

XXXVI.

Когда проехали мимо батареи и стали уже выезжать к опушке леса, щелкнула покрышка у шины и автомобиль остановился.

— Я говорил, так не обойдемся, ворчал Петров. — Ишь ты подлюга, заяц, дорогу перебежал... Одну минуту, ваше превосходительство, шину переменим.

— Я пройдусь немного, сказал Саблин и вышел из автомобиля.

Всё в нем было напряжено и внутренняя дрожь не умолкала.

Полная и красная луна спускалась к закату. Маленькие елочки, причудливые кусты можжевельника казались таинственными. Саблин шел ровным широким шагом, заложив руки за спину и обрывки мыслей неслись у него в голове. Зайчиков с круглым лицом и выпуклыми серыми наивными глазами не шел у него из ума.

„Ротный командир“.. — криво усмехнувшись, подумал Саблин. „Властитель и ответчик за полтора человека кре-

стьян, сделанных солдатами. Этот робкий ребенок на страшном посту, в тридцати шагах от неприятеля, где каждую ночь можно ожидать штурма и прорыва позиции и... крушения целого фронта. Целый фронт держится на прапорщике Зайчикове, который боится покойников и неприятеля, который плачет, как ребенок и которого тянет посмотреть на смерть и приподнять завесу будущего”.

— И которого уже нет больше, — сказал кто-то у дороги бледным, грустным голосом.

Саблин вздрогнул, поднял голову и тревожно оглянулся. Влево у дороги, среди мелких елочек и кустов можжевельника была солдатская безымянная могила. Таких могил было много в этом лесу, где всю осень шли постоянные бои. Саблин заметил ее и тогда, когда они ехали к дому лесника. Небольшой крест из двух стволов молодых елок, связанных колючей проволокой, как терновым венком. На верху истлевшая солдатская фуражка... Теперь у этого креста, обняв его, сидел кто-то и смотрел на Саблина неподвижным белым лицом. Правая сторона лица была залита чем-то черным. Месяц, спускаясь, смотрел прямо в лицо этому странному видению и мелкие тучки, тянувшиеся по небу, то бросали на него тени, то снова открывали его. Саблин не сомневался, что это был Зайчиков. Как мог труп Зайчикова оказаться сидящим теперь у креста одинокой могилы, как мог убитый Зайчиков говорить? — Саблину в эту минуту не приходило в голову. Но он и потом был уверен, что это был Зайчиков и что он разговаривал с ним в лесу.

— Вы убили его. За что?

— Как я убил Зайчикова? — подумал Саблин.

— Вы приласкали его. Вы заглянули к нему в душу. А разве можно на таком месте открывать душу, — говорил тот, кто казался Зайчиковым. — Душа и улетела. Эх вы, психолог! Сонин со своею грубостью лучше понимает, что надо делать. А вы, взяли, да по больному месту и шарахнули. На мать посмотрели. Разве можно мать напоминать, когда человек у омота стоит и давно в него броситься собирается.

— А Карпова пошлешь?

— Пошлю, если нужно будет, — подумал Саблин.

— Смотри, посылать будешь — о смерти, о матери, о ней ни гу-гу. Посылать будешь на **верную смерть**, а так говори, что и смерти не будет. Просто лихость одна, ну, как всегда, на войне, конечно, и опасность есть, но чтобы **вера была**. Понял? Без веры не посылай. Нельзя. Жестоко...

Голос становился всё дальше и дальше. Зайчиков чуть шевелился около креста, точно хотел опереться и встать. Саблин едва не потерял сознание.

Недалекий шум машины заставил его очнуться. Пересилив страшное волнение, Саблин заставил себя посмотреть на могилу.

На кресте висела незамеченная им раньше старая, ставшая черной от времени и сырости солдатская шинель. Она была освещена теперь ярким светом ацетиленовых фонарей.

— Пожалуйте, ваше превосходительство, — открывая дверцу автомобиля, сказал Поляков.

— Как далеко зашли, — продолжал говорить Поляков, — мы уже обеспокоились, думали не дай Бог, не случилось ли что. Ишь лес-то какой страшный. И могила безымённая тут.. Наше место свято! Страшное место.

— Пустое болтаешь, — сказал Саблин, садясь в автомобиль.

Всю дорогу он молчал. Уже поздней ночью, без луны, он вернулся домой. Звезды кротко мигали над озером. Лед трещал, сковываемый предутренним морозом, в подклетях хрипло пели первые петухи. Саблин чувствовал себя больным и разбитым.

„Нервы шалят“, — думал он, серый и грустный входя утром в общую штабную столовую, где доктор Успенский пил чай. — „Рано я вернулся, надо было пожить в тылу, отдохнуть.“

Мелькнул перед ним шумный Петроград, ученья войск на улицах, вечер у графини Палтовой, кинематограф... „Нет, нет, только не там. — Спросить Успенского? Может быть надо бром?“

Саблин посмотрел на толстого доктора, сосредоточенно дувшего на блюдечко с чаем, увидел сытое розовое лицо, заплывшие жиром равнодушные глаза и понял, что этот человек никогда не поймет его душевного состояния.

Бром принимать?

„Нет, не бром принимать, а надо изменить всю эту жизнь, добиться победы и через нее мира — тогда всё хорошо будет”.

„Победы во что бы то ни стало!”

XXXVII.

В конце апреля N-ский армейский корпус сделал перегруппировку для перехода в наступление. Дивизию Саблина перевели ближе к реке и поставили биваками в лесах, в ожидании прорыва и атаки. По сосредоточению резервов Саблин понял, что жертва Карпова будет не нужна, мнение Зиновьева восторжествовало, Костюхновку оставили в покое — прорыв намечали у Вольки Галузийской.

Трое суток подряд, днем и ночью, долбили наши тяжелые и легкие пушки позицию неприятеля, засыпая леса металлом, срывая деревья, взрывая целые площади земли. Неприятель отвечал тем же. Он собирал последние резервы и с лихорадочною поспешностью гнал их на фронт, готовясь парализовать прорыв. На четвертые сутки длинные густые цепи солдат поднялись из окопов и серые люди перешли грань таинственного и пошли к окопам неприятеля. Они шли по густому лесу, продираясь сквозь чащу молодой зелени и невидимые пулеметы и ружья косили их ряды и цепи становились реже и жиже. Многие незаметно, в лесу, поворачивали и разбредались и, когда дошли до проволок, — людей было слишком мало, чтобы кинуться на штурм. 175-ая и 180-ая дивизии остановились и стали окапываться. В порыве атаки образовался перерыв и атака захлестнулась. Венгерская спешенная кавалерия и германский ланвер, быстро подвезенный из-под Вердена, отбил и Русскую атаку. На пятый день было приказано отойти в исходное положение, чтобы не нести напрасных потерь.

Растрепанные дивизии уходили в те самые окопы, которые они занимали зимою, в опостылевшие землянки, свозили туда своих убитых и сзади их позиций выросли кладбища с сотнями новых крестов. Потери обеих дивизий были громадны и превышали половину состава. Три командира полка были убиты, четыре ранены, почти все офицеры погибли. Нужны были новые пополнения, надо было отвести части в тыл, но сделать этого было нельзя. Всё было брошено на фронт, Русская армия спасала Верден, спасала Париж. Русские офицеры и солдаты умирали в лесах Полесья и Волыни для того, чтобы их союзники французы могли устоять на берегах Рейна.

Страшное лето 1916 года наступало.

В мае корпус Лоссовского сделал новую перегруппировку, к нему подошли еще две казачьих дивизии. Высшее командование требовало прорыва неприятельского фронта во что бы то ни стало. Лоссовский наметил прорыв у Костюховки и сообщил Саблину, что он надеется на то, что он даст офицера и 10 молодцов для того, чтобы увлечь пехоту.

— Вы понимаете, — говорил он, пожимая руку Саблину, вызванному в штаб корпуса, — что, после нашей неудачи в апреле, — это особенно нам необходимо. Ах, зачем мы тогда вас не послушали! Да смутило, что ведь вы один среди нас были не генерального штаба. Так пришлете кого надо?

— Долг исполню, — сказал Саблин и сумрачный вернулся на свой бивуак.

XXXVIII.

Вся дивизия стояла в тесном, сосредоточенном порядке по лесным прогалинам и в самом лесу. Неприятельские аэропланы каждое утро целыми эскадрильями налетали на нее и сбрасывали бомбы. Всё сходило благополучно, если не считать, что одною бомбою, упавшею как раз в середину коновязи уланского полка ранило тридцать человек и убило и покалечило семьдесят лошадей. Стали рыть землянки и крыть их лесом и землей, чтобы найти защиту от воздушного врага.

Близость решительного боя и победы — а в ней почему-то никто не сомневался, возбуждала людей, и кавалерия, собранная в резервы, жила шумною жизнью. Лишь только смеркалось, повсюду загорались веселые огни костров, собирались песенники и трубачи, лес наполнялся гомоном людских голосов и ржанием коней и создавалась атмосфера возбужденного всё забывающего веселья. Особенно шумно жили кавказские казаки. Уже с семи часов вечера гремел тумбас, пицала зурна и веселые голоса беззаботно пели:

— Может завтра в эту пору
Нас на ружьях понесут
И уж водки после боя
Нам понюхать не дадут,
 Пей, друзья, покуда пьется
 Горе жизни забывай,
 На Кавказе так ведется
 Пей, ума не пропивай!
Тара-ри-рай, Та-ра-ра-рай
Тари-ри-рай — та-ри-рай —
На Кавказе так ведется —
Пей! — Ума не пропивай!!

Вдруг вскакивал казак и пускался лихою лезгинкою по мягкому мху. Круг раздвигался, начинали хлопать в ладоши, казак выхватывал кинжал, брал еще другой у товарища и гордо выступал, играя острыми лезвиями, то подбрасывая их, то втыкая в землю и перебирая между ними ногами. Иногда лезгинка сопровождалась стрельбою в землю из револьвера. Ранили при этом в плечо доктора — что за беда! — лезгинка и песни не утихали.

Кругом толпилась серая угрюмая пехота.

Солдаты смотрели на порхающие в танце лезгинки полы черкесок, на красные штаны и алые башлыки, на бритые наголо головы с папахами черного курпея на затылках, на оживленные, черные, югом прожженные глаза, и дивились.

— Не люди, а черти, ишь ты какие! — говорил широкий скуластый солдат с лицом, обросшим густою рыжею бородою, крестьянин, призванный из запаса. — Ведь создаст же Господь!

— Нагаечники! — презрительно сплевывая семечки возразил худощавый и бледный солдат с серыми злыми,

страдающими глазами. — Им только бы пить да песни горланить. Бессознательный народ.

— А, что, паря, поди доставалось, — подмигнул ему сосед, бойкий солдат в опрятно одетой рубахе. — Верно нагайкой-то полоснули, когда забастовки делал.

— Молчи, фараон, — злобно сказал бледный солдат и пошел вон из толпы.

— Ты, поругайся, сволочь, я тебе покажу, холера несчастная! — сказал бойкий солдат.

— Вы сами, товарищ, его задели, — заметил смуглый солдат грузинского типа.

— Эки, право, люди. Завтра на штурм идти, на смерть, а они лаются. Ну, люди! Им бы рубаху чистую одеть, да Богу молиться, а они что задумали, — сказал рыжебородый и обратился к подошедшему офицеру.

— Что, ваше благородие, да нешто казаки люди?

— Ну, конечно, люди, — отвечал тот, улыбаясь, — такие же крестьяне, как и вы. Только земли у них больше.

— Скажи пожалуйста. А почему земли у них больше?

— Навоевали, — отвечал прапорщик.

— То-то они с войны и веселятся. Им что. Их и пуля не берет. Ишь и защитного не носят.

— Им на конях-то всё одно.

— Они и пешком так идут.

— Черти, право слово. Ведь родятся же такие.

— Посторонись, пехота! — раздалась сзади голоса и, расталкивая толпу, прошли к песенникам казачьи офицеры с бутылками и стаканами вина.

— Ишь ты какие! Гоголи! И пьют с казаками вместе. Не жеманятся. Чудной народ.

.. .. .

У Саблина была небольшая землянка. Ее строили зимой для командира пехотного полка. Она имела дощатый пол и стены ее тоже были обшиты досками. Маленькое окно в четыре стекла в уровень с землею пропускало тусклый свет. Была поставлена койка Саблина, был стол для бумаг и ящик от консервов, вместо стула. Гул и шум биваков, песни и музыка глухо проникали в это подземное жилище, при-

давленное низкой крышей, с насыпанной на нее на аршин землей, и в нём было тихо, как в могиле.

Саблин сидел на ящике, опершись спиною о стол и смотрел на маленький образ Спасителя, поставленный в головах постели. Это был дорогой, богато украшенный золотом и самоцветными камнями образ, которым когда-то дед и бабушка Саблина благословили на брак его отца и мать. Этим же образом благословляли его и Веру Константинову. Тёмный лик Спаса Нерукотворного кротко смотрел из венчика. Отсвет догорающего весеннего дня ложился и бродил по нему тихими тенями.

— Свете тихий святыне славы Отца Небесного, — думал Саблин, глядя на образ умиленными глазами.

— Свете тихий, — задумчиво повторил он. — Подлинно тихий свет и кроткая любовь и правда идут от Тебя. Скажи мне правду... Прав ли я?

Он только что отпустил Карпова. Он еще ощущал стройную фигуру юноши, навтыяжку стоявшего у двери. Он помнил каждое свое слово и в ушах звучал каждый солдатски точный, словно заученный, ответ Карпова.

— Отберите десять молодцов казаков, на всё готовых, — сказал Саблин. — Командир полка предупрежден. Явитесь с ними ко мне в двадцать часов. Костюхновку знаете?

— Так точно, ваше превосходительство, — спокойно и отчетливо сказал Карпов.

— Орлиное гнездо?

— Знаю. Найду.

— Мне подвиг нужен, хорунжий Карпов! — сказал Саблин.

— Я всё исполню, — еще спокойнее сказал Карпов.

Саблин на карте показал расположение частей.

Карпов вынул из полевой сумки свою карту и зарисовал на ней окопы.

— Нужно увлечь пехоту... Пойдите, посмотрите обстановку... Это пустыки... Двадцать пять шагов... Рогатки откинуть можно... Возьмите в конносаперной команде кожаные рукавицы... Ручные гранаты возьмите... Понимаете...

— Понимаю, ваше превосходительство.

— В отверстия щитов не смотрите. Они все пристреляны из наведенных пулеметов и винтовок. Но там, в левой стороне, есть щель между щитами. Вы увидите. Подползите к ней и рассмотрите обстановку. Там с осени лежат два трупа. Сгнили теперь должно быть. Я зимою видел. Над ними рогатка — не привязанная. Ее отпихнуть — и ура!! — Щиты прикладом свалите, или перепрыгнуть можно... Пехота за вами. Тьмутараканский полк... Понимаете?.. Подвиг... Георгиевский крест.

— Всё будет точно исполнено, ваше превосходительство. Саблин молчал.

— Могу я идти? — спросил Карпов.

— Да... Идите пожалуйста.

Раз — два, — Карпов повернулся отчетливо на левом каблуке и на правом носке, щелкнул шпорою, открыл дверь и вышел.

XXXIX.

Пока дверь была открыта, в нее слышен был певучий вальс, который играли неподалеку трубачи. Потом всё стихло...

— Свете тихий святые славы Отца Небесного, святого блаженного Иисусе Христе — как же это так? Разве **можно** это? **Можно — дерзать?** Или мне всё позволено? И власть над жизнью и смертью дана мне? — подумал Саблин, обращаясь к образу.

И долго ждал ответа. Вдруг вспомнил беседу со священником в госпитале, и, казалось, услышал тихие слова, полные безграничной печали: — „ты не имел бы надо Мною никакой власти, если бы не было дано тебе свыше"... Так сказал Христос Пилату. Так говорит теперь Христос ему за Карпова.

— Но ведь, Господи, я на **верную смерть**, на **верную** посылаю его?.. Значит можно... убийство. Значит, мне дана власть судить и решать... Но если найдутся и другие, которые тоже будут считать, что им дано судить и решать, что тогда? И почему я могу, а **другие** нет?

„Господи!“ — в невыразимой муке воскликнул Саблин и, подойдя к образу, опустил на колени, и, достав из-под

подушки евангелие, стал перелистывать его, отыскивая те места, которые давно поразили его и в которых он искал ответа на вопросы смятенной души.

Вот сотник просит Христа войти в дом его и исцелить его расслабленного и страдающего слугу и говорит Христу: — „скажи только слово, и выздоровеет слуга мой. Ибо я и подвластный человек, но, имея и себя в подчинении воинов, говорю одному: „пойди, и идет“; и другому: „приди, и приходит“; и слуге моему: „сделай то, и делает“...

И Христос не возмутился, но исполнил просьбу сотника.

...,И поведут вас к правителям и царям за Меня, для свидетельства перед ними и язычниками.

„Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам что сказать.

„Ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить за вас.

„Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей и умертвят их“.

„И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевый же до конца спасется”.*)

Пальцы проворно перелистывали страницы евангелия и смущенный ум бился среди недосказанных, непонятных мыслей, но чувствовал Саблин одно: — **нет свободной воли** и кто-то невидимый руководит делами, поступками и даже мыслями людей. Делает, как **Ему надо**.

„Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю без воли Отца вашего.

„У вас же и волосы на голове все сочтены“.

„Не бойтесь же: вы лучше многих малых птиц”.**)

Карпов прекрасный в своей духовной чистой любви, у которого глаза излучают вдохновенную преданность Богу, Престолу и Родине, был дорог Саблину.

В эти часы Саблин любил Карпова, как сына.

*) Евангелие от Матфея, глава 10, ст. 18-22.

***) От Матфея, глава 10, стр. 29-31.

„Он сказал им: — и так отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу”.***)

„А если это **жизнь? И жизнь отдать?** Как отдать, когда не знаешь, что по ту сторону ее, что там?

„А вдруг **ничего**”.

„И это **ничего** я даю Карпову, вместо прекрасного мира, вместо песен с казаками, вместо его нежной чистой любви и всей красоты жизни”.

„Два трупа под рогаткой... Темные лица, провалившиеся глаза, черными впадинами глядящие недоуменно на свет, и обрывки шинелей и рубах на почерневшем и иссохшем теле. Лежат с осени. И что им красота и ужас мира, что им страх и радости? Бедный Зайчиков. Где он? И от него с его робостью и тихим умом тоже ничего не осталось. Вера? Николай... Маруся... Ушли и нет их. И весточки не подали. **Ничто** я даю ему вместо яркой, пускай даже тяжелой жизни, — но жизни... Жизни!!!”

„Где это? У Достоевского, Раскольников думает, что если бы мир был бы только скала, на которой можно поставить ступню и тогда стоило бы жить...”

„И сколько их? Сколько прекрасных юношей убито за время войны. Прошлый месяц неудавшееся наступление стоило 112 жизней офицеров и 7.325 солдатских жизней и ничего не добились... А тут он один. Его прекрасною жизнью я спасаю тысячи людских жизней”.

„А ты знаешь, что Карпов будет убит?”

„Не две ли малые птицы продаются за ассарий? И ни одна из них не упадет на землю **без воли** Отца вашего”...

„Ты знаешь эту волю? Может быть именно там и есть спасение. И подвиг и спасение, а где-нибудь в тылу, на спокойном биваке в сладком утреннем сне какая-либо бомба с аэроплана... И смерть — глупая смерть без пользы для дела, без нужды, без оправдания и подвига!”

„Если бы ты знал, если бы тебе дано было знать судьбы и **волю**, может быть, всё шло бы иначе, но тебе ничего не дано, а потому, молчи и делай”.

***) От Луки, глава 20, ст. 25.

„И скажу слуге моему: „сделай то и делает”.

В дверь постучали.

— Кто там? — воскликнул Саблин, пряча под подушку евангелие.

— Ординарец, ваше превосходительство. Хорунжий Карпов с казаками ожидают.

— А — хорошо.

Вдруг, полная уверенность что с Карповым ничего не случится, что поляки бегут из окопов, что они промахнутся и он увидит завтра всех этих живыми, бодрыми и счастливыми охватила Саблина.

Благодарными, счастливыми глазами посмотрел Саблин на образ Спасителя, еле видневшийся в потемневшей землянке и вышел наружу.

Был ясный вечер. Тихий свет был разлит по лесу. В двадцати шагах от землянки на песчаной дороге стояло шестнадцать конных казаков и офицер. Впереди десять удальцов, решившихся идти на подвиг, немного поодаль шесть коноводов. Лица казаков были тщательно вымыты, а волосы завиты колцами. Новые рубахи и шаравары с алыми лампасами были одеты на них и сапоги ярко начищены. Они сознательно шли на последний смотр в своей жизни — на смотр смерти. Но смотрели они бодро, серьёзно и весело. А стоявший на правом фланге их на прекрасном рыжем коне Карпов — тот сиял от восторга и важности возложенного на него предприятия.

— Здорово, молодцы, донцы! — сказал бодрым голосом Саблин.

Казаки дружно ответили.

— Ну... помогите пехоте. С Богом, да хранит вас Господь! Ровно в одиннадцать начинаете, — крикнул им Саблин.

— Постар-р-аемся ваше превосходительство, — крикнули казаки и стали проезжать мимо по три на торопящихся, жмущихся друг к другу, храпящих и фыркающих конях, которые прями длинными острыми ушами.

Карпов подъехал к Саблину. Саблин вздрогнул от охватившего его тайного предчувствия чего-то мучительного и тяжелого. С тоскою посмотрел он на молодого офицера. Но

лицо его было полно спокойной решимости и того дисциплинированного сознания важности каждой мелочи при исполнении своего долга, которое прививается годами муштровки в корпусе и училище.

— Позвольте часы сверить, ваше превосходительство, — просто сказал Карпов.

Саблин облегченно вздохнул.

— Шесть минут девятого, сказал он.

Карпов взглянул на свои часы браслет.

— Есть! — сказал он, сдавил лошадь шенкелями и в три могоучих скачка догнал голову своего малого отряда.

Саблин круто повернулся и, шатаясь, прошел в свою землянку. Он захлопнул двери и бросился на койку. Тихо и темно стало в землянке, как в могиле.

Саблин долго лежал ничком, уткнувшись в подушку. Потом медленно повернулся. Голова пылала. Четыре стекла узкого оконца, все в ряд, мутно рисовались. Заглушенная землю чуть слышна была музыка. Саблин прислушался, приподнял голову, прислушался еще и еще раз.

...Это барышни все обожа-ют!...

играли трубачи.

Встали и поплыли прекрасные, но мучительные образы... Озеры... Праздник у батюшки на квартире. Песенники и стройный юноша с красивым баритоном.

...Это барышни все обожа-ют!...

„Я, кажется, с ума схожу“, — подумал Саблин, — снова уткнулся лицом в подушку и весь сосредоточился в горячей молитве: — **тихому свету...** Свету тихому — потому что бушевал он весь против Бога. „Если нет у меня свободной воли, если Ты всё взял на себя, так зачем же Ты уничтожаешь всё лучшее, красивое и чистое, и оставляешь одну мерзость на земле. — Ну, — возьми меня, меня возьми с моими грехами и заблуждениями, но его спаси и сохрани!“

Темно, как в могиле и сыро, как в могиле, было в одинокой землянке и тихий свет не сходил в нее.

XL.

Карпов приник к щели между щитами. Пять минут тому назад убило Алпатова — его любимца, ухаря казака, лучшего песенника в полку, кавалера трех степеней георгиевского креста. Пошел за четвертым. Золотым с бантом. Убило глупо. Зря, без пользы для дела.

Когда пришли в „Орлиное гнездо“, распросили пехоту об обстановке. Ротный командир к ним не вышел.

— Он в землянке сидит. И не выйдет. Как три дня тому назад на позицию заступили, забился в землянку и не выходит. Боится, — докладывал фельдфебель.

Солдаты радостно обступили казаков. Точно эти десять человек, прибывшие для того, чтобы первыми броситься на штурм были заколдованы от пуль. Смотрели они весело, были одеты щеголями и распоряжались разумно и удивительно спокойно. Они сняли шашки — чтобы под ногами не болтались и не мешали идти, составили их кустиком.

— **После** возьмем, когда дело кончим.

Они не сомневались в том, что это **после** будет и что они вернуться. А между тем готовились на верную смерть, потому что все понадевали чистые рубахи.

Они приготовили ручные гранаты, распределили между собою кто и что будет делать, каждый подглядел в щелку и наметил свой путь.

— Ну, пехота, только гляди не запаздывай, выручай!

И та самая пехота, которая еще час тому назад в душе решила не подниматься на штурм, весело отвечала.

— Ня бось, не подгадим. Мы тоже с усами. Тьмутараканские свое дело знают. Мы еще в Мазурских болотах учены.

— То-то, — говорил им Карпов — первый я, потом они, а следом вы, — поняли, черти?

— Ишь сам чорт, — говорил, смеясь, мрачный запасный дядя — мы-то! Еще кабы не упрядили тебя!

— Вот это офицер. Это можно сказать. С таким на штурму одно единое удовольствие.

— Истинный Бог.

— А кто ваш ротный? — спросил Карпов.

— Да Вярцинский поручик. Он ранетый. Никчемушный человек. Так звание одно, — отвечал старый дядя, вдруг почувствовавший себя рядом с казаками героем.

„Верцинский... А, тот самый. Ну, хорошо”, — подумал Карпов. „**После** мы поговорим. И пусть увидит он, что значит святая чистая любовь и на какие подвиги она толкает!”

— В щелку, гляди, подглядывай, — говорили казакам солдаты — потому он об ей не догадался никак, а в щит и думать не могли посмотреть, потому — капут. Убьет наверняка.

— Наверняка, — сказал Алпатов. — Ну это, братцы, еще ничего неизвестно. Коли храбрость имеешь, так и то пустое. Не убьет.

Не успел Карпов сказать что-либо, как Алпатов был у щита.

— Алпатов, что Бога испытываешь? грех! — сказал урядник Земсков.

Но Алпатов уже несла какая-то сила покуражиться над смертью перед пехотой. Решительным движением он откинул задвижку щита и прильнул к нему всем лицом. И сейчас же резко щелкнул выстрел по ту сторону окопа, и Алпатов упал с пробитой головой.

— Эх Алпатов, Алпатов, — сокрушенно говорили казаки, относя труп в сторону и накрывая его солдатскою шинелью — зря погиб мальчик. Мало нас, а еще меньше осталось.

И тут же уверенно сказали:

— **После** его с собою заберем, похоронять будем, как следует.

С удивлением смотрела на них пехота. Эти люди шли на верную смерть и ни минуты не думали о смерти, так были уверены, что и **после** будет.

Карпов, лежа, изучал местность. Ночь была темная, Луна еще не поднялась и ее большой красивый шар только начал краем показываться из-за горизонта, но часто светили ракеты. Неприятель чуял опасность и сыпал ими одна за другую и весь промежуток между его и нашими окопами был освещен синим, мертвым, тихо порхающим изменчивым све-

том. Всё было отчетливо видно. Те трупы, про которые говорил Саблин, разложились и распались. Видны были темно-коричневые черепа, грудные клетки и кости ног, накрытые каким-то полуистлевшим тряпьем. Рогатка стояла на них, но она была привязана к колу и отшвырнуть ее было не легко. „Но можно перепрыгнуть” — подумал Карпов и стал рассчитывать высоту ее.

О том, что он будет убит, он совсем не думал. Даже не мог себе этого представить. Подвиг рисовался ему во всей его живой, но не мёртвой красоте. „Прорыв неприятельского фронта удался, благодаря подвигу хорунжего Донского полка Карпова, — первым бросившегося на штурм с ручною гранатою”, — читал он мысленно фразу в реляции.

И она прочтет.

Он допускал, что будет ранен, даже тяжело, мучительно ранен. Это даже хорошо. Опять лазарет и... она. Но убит?.. Это не входило в его ум.

Каждый свой шаг он рассчитал заранее. В левой руке винтовка, в правой граната. Шашка подвязана за спиною. Он не хотел с нею расставаться. Ему казалось, что она принесет ему счастье. „Перепрыгну рогатку — приостановлюсь, бросаю гранату, сейчас же срываю вторую с пояса и бросаю. Передам винтовку в правую руку и вперед... И что Бог даст!”

Богу он не молился. Рот пересох. Слова молитв исчезли из памяти, ураган мыслей перебивал их. Она стояла над всем. Он видел ее, как живую. Мягкость ее теплых губ он ощущал на глазах своих. Поцелуй Царской дочери томил и прожигал его насквозь.

Карпов назначил каждому казаку, что делать, сговорился с пехотой и, лежа с часами в руках, ждал.

Уже час, как гремела, по всему фронту канонада, а он ничего не слышал. Ему казалось, что было тихо на мокром песке, за щитами. Он посмотрел подле. Молодая травка выбивалась мягкими иголками. И так травке обрадовался. Такою удивительно красивой показалась она ему при свете месса и ракет.

— Как хорош Божий мир, — подумал он и вздохнул. — Как прекрасна жизнь!

Каждым мускулом своим, каждым нервом, каждою жилкою испытывал он радость бытия. Он посмотрел на небо.

И небо было прекрасно, с серебряным кружевом туч, то медливших в тихом хороводе вокруг месяца, то вдруг удалявшихся от него и стыдливо млевших между чуть сверкающих робких звезд.

„Ах! хорошо! хорошо!“ — подумал он и вдруг тревожно посмотрел на часы.

Было без одной минуты одиннадцать.

Казачи напряженно лежали рядом. Сзади готовая стояла рота, батальонный резерв незаметно надвинулся и намечался в туманной низине длинными ровными цепями.

И вдруг стало страшно, мучительно страшно. Всё тело обмякло. Кровь перестала течь по жилам и мускулы стали дряблыми. Карпов понял, что там смерть... Смерть и больше ничего. Грязный череп и безобразная клетка рёбер на кривых позвонках.

И понял, что не пойдёт. Ни за что не пойдёт. Не может идти.

За что?

Захотел молиться. Но молиться не мог.

— Господи помилуй, — еле прошептал он побелевшими губами и впал, как бы в забытие.

— Ваше благородие... Пора!.. — тихо, но повелительно проговорил Земсков.

— Пора? — переспросил совершенно сухими белыми губами Карпов и встал.

Но идти не мог.

Тогда вдруг сорвал со своего пальца ее кольцо и со злобой кинул туда — к неприятелю и подумал: — „**после найду**“.

С белым лицом и большими, ничего не видящими, пустыми глазами Карпов ринулся через щиты вниз.

Он ничего не кричал, но за ним бросились с криком ура казаки, это ура подхватила пехота бешеным ревом и оно стало слышным далеко, на несколько верст.

И оно сказала дивизии Саблина, тревожно ожидавшей на биваках, и Лоссовскому, сидевшему в блиндаже наблюдательного пункта и прислушивавшемуся к музыке боя — треску ружей и пулеметов и частым орудийным залпам, оно, всё шире и шире разливаясь среди ночи, сказала, с неотразимою ясностью всем, — что неприятельская позиция прорвана и Тьмутараканский полк занял Костюхновку.

ХII.

— Вставать, вставать, ребята! Седлай коней! — кричали дежурные по бивакам всех трех конных дивизий.

Этот крик говорил о победе пехоты.

Большинство солдат не спало, но лишь лежало под шинелями и бурками, стараясь согреться и уйдти от холода ночи и заботных мыслей. Они вскакивали и высовывали на холод ночи свои то косматые, то шариком остриженные, то бритые головы.

Разбуженные лошади ржали на коновязях и нервно фыркали. Раздавались звуки затирания их спин пучками сена и соломы и тяжкие вздохи при накладывании седел и затягивании подпруг. От биваков отделялись взводы и шли за знаменами к землянкам командиров полков. В Донском полку адъютант со знаменным урядником развязывали тесемки чехла и открывали знамя.

При свете луны показалось на темно-синей парче бледное изображение нерукотворного Спаса и ярко заблестал с обратной стороны громадный, серебром шитый вензель Государя.

Эскадроны и сотни выстраивались, пулеметные команды, тарахтя колесами по лесным кочкам и корням, рысью заезжали за притихшие ряды солдат и казаков.

— Ваше превосходительство, — спускаясь в землянку к Саблину, сказал Семенов, — дивизия готова, прикажете выступать?

Он не сомневался, что Саблин бодрствует, что ему известно всё то, что было уже известно каждому рядовому его дивизии.

Но в землянке было тихо и ровное дыхание слышалось с койки Саблина. Семенов чиркнул спичку и зажег свечу. Саблин лежал одетый на койке и крепко спал. Он не слышал слов Семенова.

— Ваше превосходительство, — громче и настойчивее сказал Семенов, — проснитесь, пора!

Саблин открыл мутные глаза, постепенно сознание вернулось ему, и он тревожно вскочил и сел на койке.

— Ну, говорите, в чём дело? — спросил он.

— Сейчас из штаба армии передали, что прорыв у Костюховки удался. Костюховка нами занята, взято много пленных, орудия, пулеметы, неприятель бежит. Кавалерию приказано бросить в прорыв. Наша дивизия назначена в авангард.

— А что Карпов? — хотел спросить Саблин.

И не посмел спросить.

— Какой полк прикажете в головной отряд? — спросил Семенов.

Саблин, не отвечая, стал надевать шинель и амуницию. Вошедший деньщик помогал ему.

— Папиросы дай... Спички.

Семенов смотрел на него с удивлением. Он не узнавал Саблина.

— Тут всё приберешь... Повьючите... Чай под рукою, чтобы был... Коньяк приготовь. Понял?

Он поднял лицо, посмотрел прямо в глаза Семенову, прочел в его глазах смущение и вдруг сразу, как бы стряхнувшись и стал тем старым Саблиным, которого так любил Семенов.

— Идемте, — сказал он... — В авангард пойдут уланы. Командиры полков собраны?

— Ожидают.

Был третий час ночи и луна стояла высоко над лесом, когда мимо Саблина потянулись легкие ряды улан на гнедых больших лошадях. Над караковым четвертым эскадронном тихо колыхался штандарт. Солдаты проходили молчаливо и при лунном свете их лица казались бледными. Защит-

ные фуражки были глубоко надвинуты на уши и подбородные ремешки опущены. Командир полка, полковник Карпинский, стоял сзади Саблина на нервной чистокровной кобыле и ожидал, когда пройдет полк.

— Ну, с Богом, — сказал Саблин. — Я иду следом за вами.

Карпинский поскакал догонять голову своего полка, а Саблин дождался гусарского полка и пошел впереди него.

До позиции шли спокойно. Поле битвы было тихо. Ружейной стрельбы не было слышно, ракет не было видно и только где-то далеко били пушки.

Дошли до опушки леса, слезли, оправились и рысью пошли по той самой Костюхновской дороге, по которой Саблин первый раз ходил с Сониным в „Орлиное гнездо“. Они обогнали сначала длинную колонну кухонь, звенящих и горящих красными огнями топок, потом легкую батарею, тихо подвигавшуюся вперед.

„Орлиное гнездо“ оставалось вправо, Костюхновская дорога шла левее его.

Начинало светать. В бледном сумраке утра стали обрисовываться холмы неприятельской позиции, показались проволочные заграждения, в них уже были прорублены проходы, уланы поспешно забрасывали землю траншеи, чтобы идти дальше. Дорога спускалась к тому, что на плане было обозначено: Костюхновский господский дом. Он был сожжен еще прошлым летом. Густо разрослись кусты сада и из зеленой чащи торчали потемневшие трубы и каменные стены нижнего этажа. У самой дороги был устроен перевязочный пункт. Раненые солдаты, одни тихо лежали на земле, другие сидели, передавая впечатления ночи. В стороне, накрытые широким палаточным полотном лежали убитые.

И опять у Саблина не хватило духа спросить про Карпова. Он беспокойным взглядом смотрел на полотнище и, точно, хотел проникнуть, что под ним. Ему хотелось верить, что Карпов жив и он боялся узнать правду...

В полуверсте, за окопами, у неприятеля был построен целый городок. За ним сосредоточивалась наша пехота. Громадная толпа венгерцев в темно-коричневых кавалерийских

шинелях стояла здесь, окруженная нашими солдатами. Это был 6-й гонведный полк. Он был взят в плен целиком с командиром полка и со всеми офицерами. Обходная колонна зашла ему в тыл, обороняться не было возможности. В стороне от них стояли австрийские пушки и толпа любопытных разглядывала их.

Запах победы чувствовался повсюду. Он передавал людям то особенное возбужденное настроение, которое заставляет их забывать всё и делает их счастливыми.

Саблин подгонял свою дивизию. Он был недоволен. Всё дело было сделано пехотой, — они пришли, как будто бы и поздно, а между тем Карпинский с уланами перешел на шаг и, наконец, и вовсе остановился.

— Чорт его знает, чего он там? — нетерпеливо сказал Саблин и полевым галопом поскакал обгонять задние уланские эскадроны. Уланы стояли по три на дороге и весело разговаривали.

— Видал пушки ихние? Взяли.

— Наши уже ежели пойдут, всё заберут...

— А убитых стра-ась.

— Ну, наших не так много.

— Нет — ихних; окоп так и завалён им.

— Пропустите начальника дивизии.

— Дорогу начальнику дивизии! Повод права! Права повод!

Лошади заторопились и задевая ногами за ноги улан Саблин протискался к мосту, переехал через маленькую, болотистую, заросшую травой и молодым камышом, речку и выбрался на чистое.

Здесь стоял Карпинский и разговаривал с пехотным офицером. Немного впереди, по берегу реки, вправо и влево, лежала цепь.

Тыл кончался, начиналось опять то страшное пространство между **им и нами**, которое так трудно было перейти.

— В чём дело, полковник Карпинский? — спросил Саблин, стараясь быть спокойным, но чувствуя, как сердце начинает быстро колотиться и кровь приливает к лицу.

Карпинский, сухощавый блондин с бритыми усами с пенсне без оправы на носу, повернул к Саблину свое лицо и, беря руку под козырек, медленно и отчетливо произнес: — узнаю обстановку, ваше превосходительство.

Пехотный офицер быстро подошел к Саблину и стал докладывать.

XLII.

Это был высокий и худощавый человек лет тридцати пяти. У него было загорелое, тёмное, как бывает у крестьян, лицо, покрытое сетью маленьких морщин, русые усы и небольшая аккуратно подстриженная бородка. Он был весь из мускулов и теперь, освещенный лучами всходившего солнца, казался выкованным из бронзы. Почти по грудь он был мокр и шаравары и рубаха, ставшие черными от воды и ила, облепили его тело. В руках у него была винтовка, на поясе патронташ. Серые глаза внимательно, печально и равнодушно смотрели на холеную, сытую, сверкающую шелковистою шерстью Леду, на аккуратное, хорошо начищенное оголовье и чистое седло и как будто сравнивали лошадь с собою.

— Противник, ваше превосходительство, — начал пехотный капитан, — накапливается в двух верстах отсюда по опушке леса. Это **германская** пехота, — с уважением подчеркивая слово **германская**, сказал он. — Там уже около батальона. Может быть и больше. Здесь, и не больше, как в версте отсюда, вправо у деревни Летичовки еще стоит его тяжелая батарея. Очевидно не успели увезти. Ее прикрывают германцы, занявшие деревню. Батарея тоже германская. Я и говорю полковнику, что дальше ему идти нельзя, надо отойти и ждать.

— Вы говорите, — нервно, подрагивая мускулами лица, сказал Саблин: — батарея и прикрытие. Есть окопы? Проволока?

— Нет, чистое место. Батарея за домами, люди в домах.

— Накопилось около батальона?

— Да, думаю, что если и больше, то немного. Они бе-

гом пришли с железнодорожной станции. Крестьянин прибежал, докладывая.

— А там вправо и влево что?

— Не мог узнать. По словам крестьянина там всё бежит и германцы оборачивают их назад... Я думаю через час они предпримут контр-атаку и послал за подкреплением. В моей роте всего шестьдесят человек.

Лицо Саблина передернуло. Оно сейчас же и застыло в твердой окаменелой решимости.

— Уланы вперед! — крикнул он. — Дозорные галопом вправо и влево.

Карпинский чуть заметно пожал плечами и, осадив лошадь, пропустил кинувшихся исполнять приказание начальника дивизии улан, поскакавших на крутой обрывистый берег реки.

Красное солнце загорелось багровым шаром над недалёким лесом и бросило кровавые лучи на высокий столб пыли, поднявшийся над головным эскадроном. И сейчас же яркое пламя и белое облачко показалось над эскадроном и глухой удар тяжелой пушки гулким двойным звуком выстрела и разрыва прокатился по долине реки. За первым второй, третий, батарея перешла на беглый огонь, одновременно затрещали винтовки и пули стали свистать и щелкать возле поднимавшихся на берег эскадронов.

Полковник Карпинский выскочил за ними. Лицо его было болезненно бледно, глаза из-под стекол пенсне сверкали.

Саблин оставался внизу, пропуская спешившие вперед, взволнованные боем эскадроны улан. Когда последние прошли, он выехал сам и посмотрел на дорогу.

Несмотря на сильный огонь батареи и стрельбу прикрытия, несмотря на то, что уже в стороне были видны спешенные уланы, под которыми убило лошадей и там и там лежали убитые люди, Карпинский продолжал идти рысью в колонне, поднимая жестокую пыль. Эта пыль его и спасала. Противник давал перелеты, так как стрелял по пыли, а не по эскадронам.

— Что же он медлит! — воскликнул гневно Саблин, и хотел уже посылать ординарца, но в это время два средних

эскадрона — второй и третий вдруг резко повернули лицом на батарею и, рассыпаясь веером по песчаному полю, жалко запаханному и не снятому еще с прошлого лета, понеслись к деревне, откуда не переставая била батарея. За ними, так же рассыпаясь, стали готовиться к атаке остальные эскадроны, и всё поле покрылось скачущими гнедыми лошадьми. Пулеметная команда ускочила за ними.

Саблин вздохнул и остановил свою лошадь на дороге. Он был с начальником штаба, ординарцами и трубачами. По усилившейся там, куда поскакали уланы, ружейной стрельбе, смолкшему грохоту пушек, лихому, несколько жидкому против пехотного, „ура” и вдруг наступившей затем тишине, он понял, что атака удалась и, должно быть, батарея уже взята. Он хотел скакать туда, но взволнованный крик Семенова заставил его обернуться. Слева и сзади, и не так далеко, бежали к нему, рассыпаясь на бегу, германские солдаты. Отчетливо были видны их низкие каски, ранцы и короткие серые фигуры. Пули стали щелкать совсем близко и взволнованные ординарцы шарахнулись в сторону. Германцы хотели отрезать от реки Саблина и забежать в тыл уланскому полку. Но в эту минуту на краю дороги, от реки показалась рослая широкая серая кобыла командира гусарского полка барона Вебера и его холеная фигура с длинными светло-русскими усами. За ним, круто подобрав своих сытых лошадей, ехали его два трубача и адъютант.

— Гусары! — крикнул Саблин, — атакуйте пехоту.

Вебер обернулся назад, приостановил свою лошадь, вынул шашку из ножен и ожидал первые ряды.

— Первый эскадрон вправо по эшелонно, — скомандовал он. — Строй полуэскадроны! — и указал на германцев.

Адъютант поскакал с приказанием второму эскадрону пристраиваться полевым галопом левее первого.

Германцы остановились и открыли бешеный огонь по гусарам. Пули стали так часто свистать и выть, поле клубилось дымками пыли, от падавших пуль, как бы от крупного дождя, вдруг упавшего на сухую землю, что казалось, что всё погибнет в этом смертоносном свинцовом смерче. Тяжело падали серые лошади, пытались подняться и валились

снова, а подле прыгали гусары, стараясь высвободить придавленную ногу, — но масса уже шла вперед, скакали лошади, вытнув хвосты и потрясая серебряными гривами и над их головами сверкали и горели нестерпимым блеском узкие полоски стали шашек.

— Сдавайтесь! — кричали гусары. Но выстрелы не смолкали. Тяжелые палаши шашек молотили черепа и пики пронизывали груди и доходили до самых ранцев, и падали естественно согнувшись люди. Поле стихало.

Саблин стоял на том же месте, придерживая взволнованную атакой Леду, и ждал, что будет дальше.

К нему подскакал гусарский подпрапорщик. Это был brave богатырь солдат. Вся грудь его лошади была залита темно-красною кровью, по шашке густилась и текла кровь, смешавшаяся с песком. Лицо его было белое, как полотно, было счастливо. Оно горело отвагой и счастьем.

Счастлив! — Саблин отлично запомнил его лицо. Оно было счастлив. Оно горело отвагой и счастьем.

— Четырнадцать зарубил, ваше превосходительство, — салютуя окровавленной шашкой и круто останавливая свою разгоряченную лошадь, воскликнул он.

— Молодец, — сказал Саблин.

— Рад стараться, ваше превосходительство!

— А кровь это не ваша? Не ранены?

— Никак нет! **Его** это кровь, — гордо отвечал подпрапорщик, — лошадь маленько штыком царапнули. И то не беда! — И он засмеялся, и было что-то невыразимо жесткое в оскаленных под гусарскими усами зубах.

Саблин тронул лошадь и шагом поехал по полю к деревне, которую атаковали уланы. Поле было пусто. Видны были дорожки примятой прошлогодней пшеницы, низкой и серо-желтой. Деревенская улица была окопана двумя канавами с крутыми отвесными берегами. И вдоль той и другой и на самой дороге лежали убитые лошади и люди. Они еще не успели потерять своей живой красоты и их раскиданные тела в синих с белыми кантами рейтузах, их рубахи, подтянутые белыми ремнями амуниции еще не облегли помертвому их тела. Их было много. Особенно лошадей. Боль-

шие темно-гнедые тела неподвижно лежали подле канавы, выпятивши животы и откинувши черные хвосты. Саблину их почему-то стало особенно жаль.

Семенов считал тела.

— Сколько насчитали? — бледным усталым голосом спросил Саблин.

— Лошадей тридцать четыре, улан пока шестнадцать, — отвечал Семенов.

Саблин перепрыгнул канавы и выехал за деревню. В четырехстах шагах за нею толпились спешенные уланы, в резервной колонне стояло два собравшихся эскадрона и два уходили врассыпную к лесу.

Полковник Карпинский увидал Саблина и галопом поспешил к нему. Его лицо сияло.

— Ваше превосходительство, — доложил он, салютуя обнаженной шашкой, — N-ские уланы счастливы поднести вашему превосходительству четыре тяжелых пушки, с шестнадцатью лошадьми и сорок пленных германцев, взятых в конной атаке. Атаку, как изволили видеть, я вел лично, — значительно добавил он.

— Потери полка? — устало спросил Саблин.

— Пустячок! Восемнадцать убитых и девять раненых. Лошадей пятьдесят одна... Кабы не канавы, совсем потерь бы не было. Из окон домов бил по нас — сказал Карпинский довольным голосом.

— Поздравляю вас, полковник. Разведка выслана? Пошла, ваше превосходительство!

— Трубите сбор!

XLIII.

Саблин собирал дивизию у Летичовки для того, чтобы дать ей дальнейшую задачу. Он был доволен... Но прежнего всепроникающего, звенящего счастья от победы не было. Он знал, что за это дело и он, вероятно, получить большую награду, может быть, даже Георгия третьей степени, но на этот раз не было радости ожидания награды.

Кругом всё ликовало. Полки рысью съезжались на огромное поле, еще покрытое свежими трупам, сзади звенели кон-

ные батареи и все люди, до последнего рядового, были в радостно приподнятом настроении. О потерях не думали, ими, как будто гордились. Если бы не было потерь — победа потеряла бы свой вкус, стала бы вялой.

Скоро четыре квадрата — рыжий, гнедой, серый и рыже-гнедой установились на поле и Саблин поехал поздравить дивизию с победой и трофеями и поблагодарить храбрых.

Потом он вызвал командиров полков. Он указал задачу — идти дальше, искать исчезнувшего и затихшего противника и стал спрашивать о потерях.

— Потерь не было — как будто сконфуженным тоном сказал командир драгунского полка, словно сожалея об этом. — Полк в бою не участвовал.

— Убиты: ротмистр Молодник и поручик Затеплинский, ранены корнеты Фуфаевский и Лотов. Убито 18 улан и ранено 9. Лошадей 52, — доложил, щеголяя круглыми цифрами, полковник Карпинский. -- Все при атаке батареи. **Атаку я вел лично** — и он осадил свою лошадь, давая место гусарскому полковнику.

— Убиты ротмистры барон Холен и Спокойский — оба эскадронные командиры, поручики Сенцов и Юзефович, корнеты Никольский и Ротов, ранены прапорщик Ленский и подпрапорщик Лосев, гусар убито 56 и ранено 86, лошадей 112 — порублено и поколото германской пехоты более шестисот... — доложил барон Вебер.

За ним выдвинулся полковник Протопопов.

— Полк в атаке не участвовал, — спокойно сказал он. Убиты: хорунжий Карпов и 10 казаков в штурме пешком неприятельской позиции с Тьмутараканским полком, — безразличным тоном доложил он.

— Как? Убиты? — спросил Саблин.

— Хорунжий Карпов пятью пулями — две в голову, одна в живот и две в ноги — на самом гребне нашего укрепления, пять казаков у проволоки и четыре штыками в неприятельском окопе. Я заезжал, всех осматривал.

— Царство им небесное, — тихо сказал Саблин.

Пелена грусти надвигалась на него, но грустить и задумываться было нельзя. Едва начал выдвигаться головной драгунский полк, как за Саблиным приехал ординарец командира корпуса. Генерал Лоссовский вызывал его к себе. Он был по близости, в городке польских легионеров. Саблин нехотя поехал.

У просторного барака стояли автомобили и поседланные лошади. Внутри за накрытым столом, уставленном посудой и разными яствами, взятыми из польской добычи, сидели командир корпуса со штабом, начальник дивизии и командиры пехотных полков. Пили чай.

Лоссовский встал навстречу Саблину.

— Поздравляю, поздравляю, дорогой Александр Николаевич, — громко, ликующим голосом, воскликнул он, сердечно обнимая Саблина. — Вам, милый друг, мы обязаны этим прорывом и всею победою. Костюхновка себя оправдала! И подумайте — без потерь. Семен Дмитрич, что потеряла 177-ая дивизия? — обратился он к Зиновьеву.

— 6 офицеров и 165 солдат убитых и раненых.

— А, каково! Вот это дело! Одних пленных взято восемь тысяч, да еще и не все сосчитаны. Где ваши молодцы?

— Они направлены мною, согласно с задачей на Манюровку, — отвечал Саблин.

— Далеко отошли?

— Нет, тут еще.

— Пошлите остановить их. Я поеду поблагодарить. Ведь тяжелую батарею захватили. Орлы! — батюшка мой, орлы! Ну, да иначе и быть не могло!

XLIV.

Вечером того же дня Саблин, сидя в небольшом, уютно обставленном бараке венгерского полковника, занятom теперь для него и его штаба, писал письмо великой княжне Татьяне Николаевне. Он картинно и, стараясь быть понятым барышней, почти девочкой, описывал всю сложность обстановки боя, необходимость жертвы, важность и величие под-

вига хорунжего Карпова, пошедшего на верную смерть и писал:

— „Этот юноша, горя беспредельною преданностью к августейшему Родителю вашему и нежною преисполненной благодарности любовью к вам, Ваше Императорское Высочество, за ваше полное самопожертвования ухаживание за ним в лазарете Ее Величества, решил отдать жизнь свою ради вас. Посланный мною на штурм, он просил передать вам, Татьяна Николаевна, что он счастлив умереть за вас с вашим именем на устах. Он убит пятью пулями, когда первый бросился на неприятельское укрепление”...

Написавши эти слова, Саблин отбросил перо и глубоко задумался...

„По существу он убит, ничего не сделал”.

„В чем его подвиг, да и вообще, что такое — подвиг?”

„Подвиг ли в том, чтобы в пылу и опьянении боя, не помня самого себя, зарубить четырнадцать человек, как зарубил их тот восторженный подпрапорщик, который весь в крови подскочил к Саблину после конной атаки гусар?

„Или подвиг совершен этим прекрасным юношей, который поднялся, чтобы перейти страшную грань, и не перейдя ее, был сражен пятью пулями. Чувствовал ли он все пять? Или первая же свалила его замертво и он уже не чувствовал ничего?..

„Или подвиг совершил, как на том настаивает он сам, полковник Карпинский, который против своей воли, бледный и видимо сильно душевно потрясенный, кинулся позади своих эскадронов на батарею и получит за это георгиевский крест?

„Или подвиг лежит в этих муках душевных, в этом страдании за всех них, знакомых и незнакомых, милых и безразличных, которые пали сегодня по его воле, по его приказу?

„Но разве Карпов пошел и убит по его приказу? Разве в прорыв, а следовательно и в атаки на батарею и германскую пехоту войска были двинуты по его воле? Это воля командира корпуса Лоссовского, это воля командующего Армией, Российских Армий Государя Императора, и он эту волю главнокомандующего фронтом, волю Верховного Вождя

исполнил и подвиг не на нем, исполнителе, и муки, и страдания, и ответ за погибших не его, а Государевы...

„Но Государь ли виновен в этом? Разве не вынудили его обстоятельства. Необходимость спасти Францию, ослабить во что бы то ни стало атаки германцев на Верден, побудили предпринять этот прорыв во имя спасения союзника и, значит, всем руководила какая-то чужая сила обстоятельств, рок, судьба...

„То есть — Господь!

„Но — да будет воля Твоя! И воля Господня свершилась. И, результат этой воли, ряд подвигов, ряд смертей и ряд тяжких душевных и телесных страданий. Человек — это гонимая бурей песчинка, которая не знает, куда упадет.

„Пусть, сверкая хищными зубами из-под нависших усов, рассказывает гусарский подпрапорщик о том, как он зарубил четырнадцать, и пусть ужасаются одни, видя в нем страшного убийцу, и восхищаются другие, называя его героем, — он был не больше, как молния, поражающая человека в степи, или паровоз, наехавший на упавшего под рельсы. И подвиг его, и вина его — сомнительны.

„Пусть носит горделиво беленький крест полковник Карпинский и кричит всюду и везде о своей лихой конной атаке — ничего бы он не сделал, если бы не дано было ему это свыше.

„И Карпов, и я, и Лоссовский, и Государь — нет у нас ни подвига, ни страданий, ни вины, потому что воля наша несвободна и неисповедимы пути Божии”.

Саблин, то снова брался за письмо, то задумывался и долго сидел, устремив взгляд на пламя свечи, то вставал и долго ходил по полу барака, сделанному из тонких сосновых стволов. Его душа томилась смертельной мукой. Колебалась вера в Христа, в подлинность и точность того учения, в которое он так уверовал всего полтора года назад.

Он остановился у низкого, в уровень с землею окна и стал бессознательно глядеть в него, не отрываясь. Мысли текли сами по себе.

„Ну, хорошо: — вера, надежда и любовь. И любовь это главное. Я верую, что всё, что происходит, идет от Господа.

Я надеюсь на то что воля Господня помилует меня и всё будет сделано к лучшему. Но, только что значит — к лучшему? Быть сытым, возиться с женщинами, наслаждаться хорошим климатом, не знать денежных забот, чувствовать свое тело холемым и сильным? Или туманные мечты о райском житие в будущей жизни, в мире невидимых и презрение к благам мира сего. Аскетизм?”

Он отвернулся от окна.

„Тогда, в Батуме, гуляя с профессором, мы решили, что удовлетворение жизни в работе, а счастье в творчестве. Взятые дивизией тяжелые пушки, прорыв фронта у Костюховки и то, что я сижу в чьем-то чужом чужими руками построенном бараке, жгу чужие свечи и ем чужие галеты, вся эта **победа** — разве это творчество? Это разрушение, а не творчество!”

„А что такое деятельная, действующая христианская любовь к ближнему, если наша воля не свободна? Если воля не свободна — ни подвига, ни жертвы, ни вины, ни страдания, ни позора, ни муки совести, ни любви... Ни любви... Если на то не моя воля”...

Он снова начал ходить взад и вперед.

„Нет — так нельзя. Воля, но воля до известной степени. Воля свободна, но пути неисповедимы. Я хочу, но не могу. Я хочу не посылать Карпова, потому что я его полюбил и мне его жалко, но я не могу не послать его, потому что обстоятельства так сложились и я посылаю его и потом мучаюсь и страдаю и это... подвиг.

„Карпов хотел совершить подвиг, но его воля не совпала с волею Божества. Он умер, не совершив подвига. Потому что, падая на своем окопе, он не знал, что казаки и пехота ринулись вперед и довершили то, что начал он и чего они никогда без него не сделали бы. Но умер он в отчаянии. За что?”

„За что же погиб Карпов! Невинный, красивый, благородный, молодой, и телом и душою, прекрасный!”

Мука исказила лицо Саблина.

Он остановился у окна, за которым уже начинался бледный день и, глядя на лес, позлащенный косыми лучами утрен-

него солнца, он повторял: — „Господи помоги моему неверию”.

„А что, если”, весь холодея, в ужасе нестерпимом, думал он, глядя на сосны и ели густого и темного леса, — „что, если истина не во Христе... Ведь сколько народа поклоняется Будде, сколько людей стало атеистами, сколько народа считает, что истина в социализме. — Я знаю только христианство.

„Да и знаю ли?

„А если Бога нет?”

Розовый луч проник, скользя по земле, в окно низкого бревенчатого барака. Пылинки заиграли цветами радуги в нем и желто-золотые квадраты упали на пол. На окне, в деревянных ящиках были растения и тянулись к свету едва распутившиеся цветы зелено-оранжевой резеды и сочные белые и лиловые левкой. За окном, в луче солнца желтая бабочка наслаждалась, купаясь в золотых искорках. Природа просыпалась от сна. Невдалеке трубач играл утреннюю зорю и с коновязей ему отвечали проснувшиеся лошади дружным ржанием. Весь мир оживал после ночи, великолепный и сложный, мир, которого придумать нельзя никакому ученому.

Сомнения проходили. Вера возрождалась. Но тянуло заглянуть и в чуждую бездну.

„Я знаю, я слышал”, — думал Саблин, — „только веру и верующих людей. Я читал и вдумывался только в евангелие. Духа светлого я знаю... Но есть, или должен быть дух тьмы. Его учения я не знаю. Но познать истину, можно только через сопоставление христианского учения с учением враждебным, чуждым христианству, с учением социализма. Тогда надо его знать... Знать истину... Что есть истина?”

„Омут тянул. Как тянуло Зайчикова — так и меня потянуло.

„Но знать — это не сомневаться. Не сомневаться — это не мучиться”.

Мысль долго отсутствовала. Саблин был в оцепенении.

И вдруг она пришла к нему острая, жестокая, ясная и беспощадная.

„Знать нельзя. Можно только: верить”.

Саблин сел за письменный стол, перечел письмо великой княжне, написал записку сестре Валентине с просьбою передать письмо по назначению, запечатал конверт и вышел на воздух, чтобы позвать ординарца.

„Надо верить” — повторял он себе.

Встретивший его у штабного барака Семенов удивился. В темных волосах Саблина сильно пробилась седина. „Да”, подумал он, „слава и победы не даются даром”.

XLV.

— Татьяна Николаевна, вам письмо, — сказала сестра Валентина, останавливая великую княжну в той самой приемной лазарета, где Татьяна Николаевна осенью одела колечко на палец Карпова.

— От кого? — спросила Татьяна Николаевна и ее серые большие глаза с любопытством устремились в карие глаза сестры Валентины.

— От Саблина. Не ожидали?

— Да. А ведь он герой, Валентина Ивановна. Опять атаковал в конном строю и тяжелые пушки взял. Как жаль, что он теперь избегает папу и маму. Сторонится нас. И все из-за этого проклятого Григория. Давайте, прочтем вместе.

Они сели на стульях у окна, раскрытого настеж. Июньское солнце ярко светило, было тепло и радостно в это летнее утро.

— Вы знаете, — поднимая на сестру Валентину глаза, сказала великая княжна, — генерал Саблин пишет, что Карпов убит. Карпов, который лежал в нашем лазарете, умер героем за меня. Вы помните его? Мы его с сестрами „зайчиком” звали. Он так хорошо рассказывал про казаков и про войну.

— Царство ему небесное, — крестясь, тихо сказала сестра Валентина. — Как же мне его не помнить? Я выходила его... С маленькими черными усами. Он писал вам великим постом, что получил георгиевское оружие. Вы помните?

— Ну как-же. Он был такой застенчивый и милый. Я ему колечко подарила, а мама евангелие. Но, Валентина Ивановна, он был холостой и наверно у него не было детей.

— Да, конечно, холостой. Совсем еще юноша, чистый, как ребенок...

— Это хорошо, что убили его, а не кого-либо такого, у кого осталась семья. Несчастные, голодные дети. Правда, Валентина Ивановна, для государства лучше, если гибнут холостые?

— Всегда тяжело, когда убьют кого-нибудь, — с подавленным вздохом сказала сестра Валентина. — А молодых мне особенно жалко. Вся жизнь их впереди. Он так был предан вам и Государю. Такие люди, Татьяна Николаевна, особенно дороги теперь.

Татьяна Николаевна испуганно посмотрела на сестру Валентину.

Эти дни так много чувалось смутного и недоговоренного и во дворце, и в Ставке, и в лазарете.

— Вы не помните его имени, сестра Валентина, — робко спросила великая княжна, — я хочу записать его в свое поминание.

— Алексей, — сказала сестра Валентина, встала со стула и пошла из комнаты.

Татьяна Николаевна посмотрела на нее с удивлением, потом взглянула в окно и вдруг побежала из приемной. „Надо письмо показать маме и Ольге, и Марии с Настасьей. Все-таки это хорошо, что офицеры так умирают. Это показывает, что они верноподанные!“ — думала она, сбегая по лестнице в столовую, где должны были быть в эти часы Императрица и сестра Ольга.

.. .. .
.. .. .

Так кончился „роман“ молодого Алеши Карпова.

1919—1920—1922 гг.

